КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Власть говорит о советизации общества, словно сама она не советизирована. Это по-прежнему государство Платона, государство знающих как надо Михников, которые воспитывают темное и глупое общество, вместо того, чтобы создать рамки деятельности. Не такое уж оно темное, если воспротивилось коммунизму!

Чеслав Белецкий

Я не представляю себе поэзии вне века, но я хочу сказать, что все-таки поэзия не принадлежит современникам. Она смотрит дальше, в будущее. Так она устроена. Я бы сказал, что в сихах существует настоящее время глагола, но вечно-настоящее. «Выхожу один я на дорогу...» То есть когда? А – всегда. И в прошлом веке, и сегодня. Мы попада-

ем поэту в объятья в это вечное мгновение. Поэзия вообще работает с настоящим временем глагола: «Белеет парус одинокий...» А то и пропускает этот глагол: «Кавказ подо мною...» В стихах мы даже опускаем это настоящее время, настолько оно кажется нам длинным, настолько мгновенны эти ощущения!

Александр Кушнер

Мне снилось страшное кино
с самим собою в главной роли.
Раскручивался киноролик,

и я летел на полотно
экрана.
Там среди теней,
похожих тоже
на людей,
я сразу в действие
вломился
(была завязка
такова).
Свои расслышал я
слова
и речью пламенной
пленился!

Виталий Асовский

Талышевой недоставало дорожного покоя и стука колес: она успела привыкнуть к ним в поезде, как привыкла у себя в Москве отправляться на службу одним и тем же путем, обрабатывать бумаги, в обеденный перерыв покупать продукты для семьи и вечером возвращаться домой с ощущением прожитого дня..

Валерия Шубина

Тоталитарные режимы преднамеренно путают понятие культуры с понятием вежливости. Потому что диктаторы хорошо знают, что вежливость – это ключ к покорности. Вежливый человек неукоснительно исполняет требование «по газонам не ходить». Ясно, что не станет такой гражданин заниматься революцией, а уж плюнуть на портрет вождя ему и в голову не придет...

Амос Оз

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев
Николас Бетелл • Иосиф Бродский
Владимир Буковский • Армандо Вальядарес
Игорь Виноградов • Галина Вишневская
Георгий Владимов • Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский • Пауль Гома
Милован Джилас • Пьер Дэкс • Эжен Ионеско
Оливье Клеман • Роберт Конквест • Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов • Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец
Андрей Седых • Виктор Спарре • Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрем • Юлиу Эдлис

Корреспонденты «Континента»

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti
via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward D. Losansky
3001 Veazey Terrace, N.W.
Washington, D.C. 2008 USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку
по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «Континент» – © В.Е. Максимова

К

КОНТИНЕНТ - CONTINENT
Revue trimestrielle
Dates de la parution:
debut du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre
Publiee par l'Association des Amis
de la revue «Continent»
11 bis, rue Lauriston
75116 PARIS, France
Prix 60 francs

Directeur de la publication
Vladimir Maximov

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

66

Кино-издательский консорциум "АВЕРС"
Москва
1991

© Kontinent Verlag Gmbh, 1991
© Кино-издательский консорциум «АВЕРС», 1991

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Гандельсман – Стихи 7
Предисловие Иосифа Бродского
Валерия Шубина – Смоква с терновника. Рассказ 21
Дмитрий Бобышев – Стихи и переводы 41
Евгений Попов – Шуцин-Пуцин. Рассказ 46
Виталий Асовский – Стихи 52
Леонид Гиршович – Шаубетнахт (Смотри ночью)..... 60
Рассказ
Вадим Алексеев – Стихи 103
Наталья Горбаневская – На чем заложен 108
кленовый лист
Наум Ним – Звезда светлая и утренняя 111
(Окончание)
Леся Украинка – Стихи. Перевод 208
с украинского Инны Логуновой

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Владимир Запецкий – Егор Кузьмич 209
сделал свое дело...

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ
Чеслав Белецкий – Вопрос вкуса 223

ЗАПАД – ВОСТОК
Амос Оз – О времени и о себе 231

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
Виктор Каган – Воспоминания 271
о Н.В. Тимофееве-Ресовском

ИСТОКИ
Яков Айзенштат – Маленков и другие 277

ИСКУССТВО
Владимир Лемпорт – Малюта Скуратов 283
Академии художеств

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ
Наталья Кузнецова – Возлюбить врага, или Отсебятина критика Аннинского 305

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 323

НАША ПОЧТА 329

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Светлана Иванова – Хочешь яблока ночного?.. 346
Виталий Амурский – Демократия? Демократия! 349
Василий Бетаки – О высоком диалоге 354

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 357

КОРОТКО О КНИГАХ 358

НАША АНКЕТА
Интервью с **Александром Кушнером**. *Ведет* Виталий Амурский 361

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
(Материалы Римской встречи) 373

СТИХИ
Предисловие Иосифа Бродского

Дорогой В.Г., я прочел Вашу рукопись от начала до конца. Впечатление она произвела на меня значительное – во всех, включая и огорчительный, смыслах этого слова. Огорчительность относится к жизни, к тому, как она становится поперек Вашим стихотворениям – а не к самим стихотворениям; к тому, как они, стихотворения, впадают от этой «кости» в зависимость. Начиная примерно с «Одиннадцати стих-й» и до «Спящего» бытие, увы, определяет. И не столько сознание или содержание, сколько форму. Сильное ощущение стилистической инерции и зависимости от сюжета. Со «Спящим» дела, на мой взгляд, улучшаются – в знакомую нам всем сторону слегка безумной камерной музыки. Желаю Вам в этом направлении всяческих успехов, хотя я бы не злоупотреблял играми в алогичность: потому что легки и душу обкрадывают.

Самое замечательное в мною прочитанном – первая половина, стихи до 81-го года. Я догадываюсь, что подобная похвала Вам может быть неприятна. Но «старые» стихи Ваши для меня – новые. Они свидетельствуют о Вас, о Вашей индивидуальности и потенциале в большей степени, чем Вы предполагаете: в них больше Вашего будущего, смею думать, чем в «Спящем». Они, старые эти стихи, поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения. Разумеется, в них слышен Пастернак и слышен – в синтаксисе особенно – Рильке; но за ними стоит не литература, а уникальное существование. Так, по крайней мере, кажется мне. Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары), соплей, столь присущих русскому стиху, когда речь заходит о главном сентименте.

Я мало читал такого и был изумлен этой Вашей смесью любви к «предмету» с любовью к слову: в равной степени сильных и друг в друге себя узнающих. В поэзии одна из них, как правило, хромает. Как читатель поэтов я Вам благодарен; как собрат по перу и как человек вообще – испытал зависть. На мой

взгляд, эта Ваша любовь любви, любовь к любви – самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная. За открытия такого порядка человек расплачивается неспособностью их повторить впоследствии; но бояться этого нечего. Ощущение богооставленности, которое, как мне кажется, Вас донимает, ощущение временное: тяжелый искус, но разрушить Вас он, думаю, не должен. Разве что стихи могут стать похуже, но к сути вещей, к смыслу бытия Вы не ослепнете. Если я могу что-либо посоветовать, то это – писать подлиннее (в процессе многое само становится на свои места) и побольше метрического и строфического разнообразия.

Я хотел бы еще Вам заметить одну вещь насчет ранних. Не печатайте их в строку, прозой. Я понимаю, что теперь такая мода пошла; но не надо дурить читателю голову этим способом – ему со стихами и так не сладко. Загляните в этимологию слова «стих» (верс), и тогда Вам станет понятно, о чем я говорю.

Вообще же из присланного мне Вами можно составить замечательный сборник, и я бы на Вашем месте именно этим бы и занялся: в отечестве или вовне. Думаю, что от сборничка Вашего польза была бы не только лично Вам (отделаться, отделиться, взглянуть на себя *без* этих стихотворений в сознании – как опорожнить шкаф и увидеть, что надо купить новые вещи, надеть нечего), но и для нашей словесности, чтобы кто-нибудь – если не Вы сами – попробовал бы взять нотой выше. Я, во всяком случае, был бы только рад Вам в этом деле помочь, и Вы можете на меня в этом смысле рассчитывать, хотя, по-моему, лучше попытаться издать сборник дома.

Сердечно ваш,
Иосиф Бродский
3.11.1990

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о, всё, чем жив, тобой, твоим, твоими,
на всё твоё душа обречена,
не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя...

* * *

Я так тебя люблю, что ты сошла
за ту, что я люблю, ты так мала,
что помешать мне в этом не вольна,
мысль по ночам к тебе так тяжела,
как материк, как целая страна,
я больше не хочу, чтоб ты жила...

* * *

Соседка наводит печаль,
изводит, доводит до транса,
что скажешь, любезный Мистраль,
про сладкое солнце Прованса?

Всё так же свежи голоса
среди виноградников Арля,
Мирейо, босая роса,
пришпилена к форточке марля...

В Париж? Мне бы тоже в Париж
податься из этой рутины,
туда, где под шляпами крыш
живут старики Ламартины.

Мне тоже бы рифмы искать
среди авиньонских идиллий,
библейских жнецов воспевать,
как ты, провансальский Вергилий!

Петь пряху, лазурь и сады,
пока соловей не оспорит
мои золотые труды...

* * *

Если скажу: вот я свободен,
холод земли, будь он неладен,
только и годен,
к счастью, бездомен, к счастью, безроден,
путь мой отраден,

если скажу: вот я спокоен,
зависти нет, это ведь Каин
бродит, расстроен,
в мире подлунном (тоже мне, воин!)
он неприкаян,

если скажу: более года
света не видел, да и не надо –
значит, свобода –
полунеправда, полуневзгода,
полубравада...

Но иногда всё это правда,
всё, что ни есть – всё слава Богу,
больше – не надо,
я и сегодня из снегопада
вижу дорогу.

* * *

Готовься к походу,
пусть запахом йода
ударит с холодной волны,
ударит с холодной, зелёной,
и ливень нам явит наклонный,
классический профиль войны.

Здесь что-то нечисто,
здесь будет убийство,
так много цветов на плацу,
так много цветов и военных,
и на море волн белопенных,
что женщине слёзы к лицу.

Японской гуашью
военного марша
расчерчена воздуха ширь,
расчерчена воздуха ширма,
как лёгкие выкриком «смирно!»,
вольно вам орать, командир...

Не к нам ли, взгляните,
протянуты нити,
ещё оборвутся они,
ещё оборвутся от крика,
и ясность Господнего лика
затмится, а что мы одни?

* * *

Я люблю твою жизнь, что согрета теплом изнутри,
от тебя независимо, взятую всею тобою,
у окна, где дрожат осыпающиеся фонари,
и уходит трамвай к «Блохину», словно зверь к водопою.
Я тем больше люблю её, что не могу сохранить
так, чтоб ты её тоже любила, и, больше не споря,
чтоб душа твоя в силах была повторить
эту чистую линию тела, лишённую горя.
О твоём белоснежном объёме, имеющем зренье и слух,
о гордыне твоей в драгоценном сосуде,
говорю о тебе, о твоём умирающем чуде –
так смиренно создать мог не гордый, но любящий дух.

* * *

В том городе, где я тебя любил,
в том городе, где я тебя хранил,
как, может быть, хранили в прошлом веке
дурные письма – искренне и зря, –
где ввечеру над крепостью заря
всё пробует себя на человеке,

я возвращаюсь мыслями к тебе,
и странное спокойствие в судьбе
я чувствую, почти опустошенье...
Привязанность не тем ли хороша,
что ею орошается душа
и, проходя, даёт ей завершенье.

* * *

В разлуке нет высокого значенья,
и нет разлуки, сердце не избыть,
и бытие не умопомраченье,
и не свобода, и не заточенье,
но то, что не хочу определить.

В нём нет Меня, тем более разрыва.
Кого и с кем? Мы что – разлучены?
На побережье Финского залива,
где тополя стоят неторопливо,
мы всё ещё на жизнь обречены.

ДАНТЕ

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголенность слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,
то это к непосильному труду.
Я видел куст – он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слёз моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь – одно,
везде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено…

* * *

Тихопомешанному на муравьях
чайка была продолженьем ладони,
с пепельной славой на тонких крылах
и в летаргическом полунаклоне.

Он растворялся в соседних мирах.
Бледным цветком, прозябающим в скалах,
осенью в сердце селившийся страх
так и дрожал среди родственных малых.

Жизнью соринки, что слишком мала,
тихопомешанному увлечься
было всегда перед сном и улечься
с радостным риском – была не была!..

Всё продолжается – только и знал,
было движение – так он и помнил,
только и видел: соломинку поднял,
на муравьиной тропе исчезал…

* * *

Вот я иду (не зная, как назвать
те красные цветы, я называю
их цикламены), это надо счесть
естественностью (всё-таки – движенье)...
Потом тот, кто идёт, освобождён
от помысла вернуться восвояси,
и вскоре понимает: восвояси –
пустое сочетание слогов.
Цветы, цветы. Когда я рифмовал,
я говорил: в свинцовых окнах вспышки
(и локти тугодумия из недр
стола произрастали), врал безбожно.
Я говорю, что вижу холм Таким,
и этого уже не повторяю,
сначала потому, что не хочу
(поскольку понимаю: повторенье –
есть сладостная ложь, и мой восторг –
уже лишь осознание восторга),
но далее я вижу холм Таким,
не повторяя и не понимая...
Я только вижу. Вижу и иду.

* * *

Снег – на землю, душа – от земли,
вам сегодня меняться местами,
что ты медлишь, душа, утоли
этот замысел, что тебе больно

и зачем привязалась ко мне?
Наш разлад – он затеян над нами.
Ты любила кого-нибудь? Нет.
А со мной породнилась невольно.

Всё кому-нибудь принадлежит.
Снег и снег, как попытка оспорить,
исчезая, летит и летит,
так прекрасен, что боязно вторить.

Ну и всё же, скажи, мы могли
полюбить, как пришли, не владея?

* * *

В области пчёл, в рыжей стране с солнечной осью,
там, где паук плёл мои сны по древесине,
я собирал дождь золотой, или колосья,
и на веранде павлин плыл в керосине.

Книгою мне лес пламенел, набранный густо
временем игл, липкой листвой и запятыми
угольных мух, влажным камням – влажное чувство
вторило и растворялось в полуденном дыме.

Этот песок вдоль по ступням к пяткам сандалий,
гретый асфальт или залив в отмелях белых,
россыпь мальков, хрупкий хрусталь рыбьих печалей,
их позвонки, перезвон слёз тонкотелых.

Если бы мог, если бы смел я усомниться
в том, что живу, прежде не жив, или растенье
если бы смел не называть умершей птицей,
или птицу не называть ангельской тенью,

то и тогда...

* * *

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье,
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу ещё не желалось столь жадностно жить,
так дышит лягушка, когда малахит её душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости – точная бездна,
нещадная точность! но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

(1973–78гг.)

ПИСЬМА Н.

***

Без отечества по существу,
на одной из нелюбящих родин
оказавшись в значенье «живу»,
я дышу и тем самым свободен.

Я свободен, я делаю шаг,
проявление собственной воли,
зарождаясь во мраке – во мрак
переходит, не высветясь, что ли.

Так вот в комнате фары спугнут
застоявшуюся перспективу –
удлинённые тени взбегут
по стене и сбегут торопливо.

И на стыке косых плоскостей
своевольным капризом движенья
ты пронизан до самых костей,
лишний раз изменив положенье...

* * *

Если заперты рыбы, прохожий,
подо льдом чернокровной зимы,
не сошлёмся на промысел Божий –
мы виновны, что это не мы.

Не забудем холодные трубы
(после кубиков на ковре)
первых зим и цигейковой шубы
леденеющий ворс на дворе,

невозможную эту картину
чистоты, изумленья, тоски,
и ботинки, и вонь гуталина,
вечнорвущиеся шнурки.

Всё могло повернуться иначе,
если б ты не на шутку продрог,
как упорный, косой и собачий
этот бег мостовой поперёк,

и теперь, если ты не безумец,
у перил на железном мосту
ты останься без дома, без улиц,
без всего я имею в виду,

будет страшно и празднично как бы,
как на кухне в торжественный час,
где дышали зеркальные карпы,
шевеля металлический таз,

и, сочувствуя мёрзнущей твари,
ты над этой страной воспари
полосой розовеющей гари,
кровоточащей раной зари...

* * *

Скучно жить стало, в этой связи
мирры, что ли, мне привези,
перьев страусовых, милый муж,
надоело в грязи –
то дожди проливные, то сушь.

Хоть и нету тебе житья
от причуд моих и нытья,
с Пунта дальнего, милый муж,
скоро ль с глупостями ладья
завернёт в нашу глушь?

Что мечтать о полях Иалу,
милый муж, коли служишь злу,
служба – умным, нектар – для дур,
ты пахучую эту смолу
привези, да пантеровых шкур.

Пусть не вспыхнет вода огнём
под твоим, милый муж, веслом,
пусть, с твоим дыханием слит,
Шу ни ночью дыханье, ни днём
от ноздрей твоих не отвратит.

А вернёшься – податься из
этих мест хорошо бы вниз
по течению, там-то уж
ты простишь мой каприз
и тоску мою, муж.

* * *

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: Боже мой,
какая жизнь простая,

как всё проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и всё молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волочась закатом,

а там, средь серых плоскостей,
смиряются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить...

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ. В Советском Союзе печатался в «Авроре» и «Вечернем Ленинграде». На Западе – в журналах «Время и мы» и «Стрелец». Руководит литературным объединением и театром-студией «Грифон» при Финансовом институте.

СМОКВА С ТЕРНОВНИКА

В самый разгар лета в «Зеленой балке» медведица убила Валентину Талышеву.

Талышева лежала на траве – так в былые времена слушали землю: близка ли погоня, – и бесполезная кровь ее уходила к корням. Потом перевернули ее на спину, словно для того, чтобы удобней было лежать, и врач, давая выход бессилию, сказал сухонькому, полупьяному старику:

– Доигрался. Доигра-а-ался, сволочь!

Старик тоскливо сморщился и, пригибая голову, как перед ударом, потянул к себе веревку с медведицей, которая мирно сидела на траве и посасывала жидкость из отвоеванной только что бутылки. Медведица тяжело качнулась, мутно повела глазами, не найдя в себе сил ни выразить протест, ни подняться. Старик дернул веревку свирепей, желая яростью отвлечь внимание людей, заговорил часто, с сухими натужными всхлипами:

– Я и не глядел в ее сторону! На машинах и то написано: соблюдай дистанцию. А со зверем, который неуправляемый...

Медведица, разнеженная выпитым, подавала морду вперед, надеясь, что начнут кидать конфеты, но никто не шевелился. И она как будто поняла: всему виной человек, пахнущий кровью; это он мог заставить людей стоять немо, а старика больно тянуть ее за шею и мешать приблизиться к людям.

Запах крови беспокоил ее, и, если бы она не была одурманена выпитым, ей вспомнилась бы убитая мать, поляны голубики, крики чукотских чаек. Все это жило в ней так же, как стремление уцелеть, как тоска по теплоте, хотя бы одинокой, человеческой.

Медведица чувствовала, что все люди беззаботны и заняты собой настолько, что ценят в живом лишь источник своего веселья.

«Зеленая балка» отличалась от других домов отдыха разве что расположением на окраине старинного городка, обсаженного капустой, и невеликостью единственного корпуса. Его новая крыша блестела среди деревьев, как одинокое озерцо, и заставляла тосковать по незаросшим рекам, где еще можно купаться. Здесь тоже уходили в отдых с тем ощущением, с каким одинокие вкладывают себя в театральные зрелища, убежденные, что ими движет потребность в знаниях, а не забота наполнить свою жизнь видимостью счастья.

Талышева не позволила себе раскаяться в приезде. Она верила, что первое впечатление сотрется, и надеялась на силу новизны, к которой можно приспособить свою растерянность. И тогда все непривычное – люди и природа – займут мысли по необходимости и без усилий, не требуя участия, одной лишь сущностью.

Впервые войдя в свою комнату, Талышева приняла ее сумеречность, вид на сырой угол сада и тесноту, спасшую от возможной соседки. Она поставила чемодан возле кровати и успокоилась тем, что можно и не выходить отсюда. Но преждевременная неловкость перед горничными и всеми любопытными заставила ее подумать о природе, о каком-нибудь безлюдном уголке, где можно побыть в горести.

Она вышла под деревья парка и, свыкаясь с их продуманной посадкой, постигала раскиданность построек и так умеряла в себе дух бродяжнической любознательности да еще тягу к близкому неизведанному. Возле библиотеки она задержалась. На дверях с огромным замком висело объявление, сообщавшее, что лекция «Последние дни Пушкина» отменена и что вместо нее состоится встреча с психотерапевтом Бублюкиным. Талышева рассеянно прочитала, не сразу сообразив, что речь о по-

завчерашнем дне. Что-то скоморошеское почудилось и в тексте, и в листе бумаги, и в самой беспечности людей, забывших снять объявление. Да и в том, что она сама так долго вчитывалась в строки. Талышева неуверенно отошла и, пройдя несколько шагов, снова остановилась – возле фонтана.

Вода, плоско струившаяся, возникала на губах каменного мальчика и каплями осыпалась в бассейн, где цепенели красные рыбы.

Рыбы и чужой интерес к мокрому мальчику привлекли к фонтану ребенка: он подошел сбоку и в напряженном одиночестве захотел постигнуть тайну текущей воды, выражая непонимание невыговоренным вопросом: «Почему у мальчика всегда текут слюни?» Талышева не решилась заговорить с ребенком из боязни детского чутья на душевную боль. Тяготясь своей растерянностью, как голодом, она свернула в пустую аллею.

Талышевой недоставало дорожного покоя и стука колес: она успела привыкнуть к ним в поезде, как привыкла у себя в Москве отправляться на службу одним и тем же путем, обрабатывать бумаги, сходные словами и построением – они назывались техническими условиями, в обеденный перерыв покупать продукты для семьи и вечером возвращаться домой с ощущением прожитого дня. Все четырнадцать трудовых лет Талышева пробыла в одной и той же конторе, но привычка не переросла в увлеченность работой. Жажду разнообразная Талышева утоляла редким посещением художественных выставок. Она любила музеи. Правда, в них она особенно остро чувствовала себя неудачливой, хотя и жила потом надеждой на изменение своей жизни.

Перелом этот она представляла себе как преодоление разграниченности между той жизнью, в которой она пребывала, и той, какая наступит. Она ждала накопления перемен вне себя, достигнутого ходом человеческих и природных сил, чтобы войти в них, как в зону скрещения лучей, откуда немыслим возврат к бытовой зачум-

ленности: нехватке денег, взаимоотношениям с бывшим мужем, тяжбам со свекровью, безнадзорности своих детей, а также ко всему, о чем и думать не хочется.

Когда начальница наконец поняла, что работа в конторе для Талышевой не обязательное применение ума, а случайное пристанище вроде того, где пережидают непогоду, она перестала ее жалеть. Заодно и вернула себе уважение более умелых сотрудников, оградившись от талышевской благодарности. Переведя подчиненную на легкую работу, начальница надеялась, что теперь мысли Талышевой о доме не будут мешать ее службе, однако скоро поняла свою ошибку. Стоило отправить Талышеву с важной бумагой в министерство, как Талышева потеряла бумагу в пути.

Сослуживцев тронули муки Талышевой, они понукали ее вспомнить остановки по дороге к министерству и этим исчерпывали свое желание помочь, увлекаясь осуждением. Они судачили о том, какая она растеряха, какая забывчивая. Чаще всего вспоминали, как талышевские близнецы, привезенные из лагеря к конторе, до ночи катались на железных воротах, потому что мать забыла их взять домой. Смеялись над тем, что Талышева никогда точно не знает, какой размер одежды носят ее дети. Купит наобум, потом бежит в магазин сдавать, если соседка не возьмется перешить. Наверно, и сейчас Талышева забыла о министерстве, свернула в кафе, где воспользовалась важной бумагой вместо салфетки.

Бумагу нашел в телефонной будке какой-то студент и передал в контору с быстротой, спасшей Талышеву от административного взыскания. Но взыскание все равно не миновало ее. На сей раз Талышева, посланная начальницей в типографию, неправильно внесла правку: вместо второго абзаца вычеркнула первый. Без повторной проверки технические условия отпечатали с ненужным абзацем вместо необходимого и обнаружили это, едва издание разослали по заводам. Почти месяц летели при-

казы, изымался тираж, возвращались в Москву пачки неправильных технических условий, и все это время Талышева испытывала страх быть наказанной сверх той меры, за которой нарушается слаженность привычного. Она боялась не будущего, а внутренней неготовности к нему, признавая себя непригодной ко всякому отпору как ответственному действию.

Когда директор вызвал ее и сказал: «Если бы не твое тяжелое семейное положение, я бы выгнал тебя», – она поняла по его гневу, что он смирился с ее дальнейшим пребыванием, как смиряются с необходимостью отступления. И хотя она не простила директору оскорбительные слова, не простила и обращения на «ты», она вернулась к рабочему столу с облегчением, близким к радости: ведь все оставалось по-прежнему. Тогда-то начальница Инна Натановна и заметила ей: «Эх, Талышева, Талышева, что из тебя будет, когда ты вырастешь?» Выражение лица Инны Натановны предполагало отнюдь не интерес к последующим годам жизни Талышевой, а осуждение за прожитые сорок пять. Талышева положила на стол карандаш и резинку, словно открываясь в служебной непритязательности, в том, что не посягает на доверенные бумаги чернильной авторучкой. Тронутые ее карандашом бумаги начальница правила чернилами заново, пока не перепоручила контроль новой сотруднице, тоже Валентине, используя ее рвение, непричастность к общему порицанию Талышевой и стремление сразу зарекомендовать себя неутомимой труженицей.

Новая Валентина безропотно исправляла ошибки Талышевой и настолько прониклась сочувствием к бесполезной ее добросовестности, что не считала своей заслугой грамотную обработку талышевских бумаг. Сослуживцы обрадовались сердечности новой Валентины. Теперь им казалось, что и они тоже могли бы помочь Талышевой, но уже в этом нет надобности.

Привыкнув, новая Валентина не отказалась от наставничества: хваткая на работу, она больше мастерства ценила в других порядочность, думая, что мастерство

можно нажить, а порядочность дается от рождения, как цвет глаз. Она до того хвалила Талышеву за незлобивость и терпение, что Талышева реже стала называть себя «серостью» и про себя осуждала собственную неуверенность.

Инна Натановна давно поняла, что новую Валентину интересуют лишь те, кому нужно помогать, и попробовала было направить свободную энергию Валентины на молодых, перспективных, как она предполагала, людей. Талышевой же, конечно, Инна Натановна не желала при этом ничего плохого. Но никто из названных начальницей не нес в себе такое притягательного единства покорности и собственной неприемлемости, какое сложилось у Талышевой, ничье сиротство так не взывало о помощи.

В отличие от новой Валентины, Талышева определяла человеческую ценность по знаниям, а не по душевности: начитанность новой Валентины вызывала в ней самоукоряющее смятение и горечь.

– Зато вы просто хорошая женщина, – успокаивала ее Валентина.

Талышева чувствовала малость своей заслуги перед чужим умом и хотела быть поощренной в желании измениться. Валентина соглашалась приносить интересные книги, доставать билеты в театр и помогать ей в работе.

Сначала сотрудницы гадали, когда новой Валентине надоест звать Талышеву на премьеры и выставки, а в Талышевой проснется совесть, и она презрит билеты, вспомнив про детей. Но Талышева не набиралась ума, приложимого к жизни, вот сотрудницы и восприняли ее интерес к знаниям как легкомысленный, ожидая, скоро ли кончится терпение новой Валентины. Ведь Талышева, верная себе, потеряла любимую книгу Валентины, опоздала в театр, из-за чего стоявшая на морозе Валентина простудилась и заболела, а кроме того, по-прежнему плохо работала.

Однако жажда содействия, захватившая новую Валентину, не могла пройти из-за кратковременного разочарования. Валентина не представляла себе такой жизни, когда некому будет помогать, когда исчезнет необходимость в ней и наступит бесцельное существование. В благоволении Валентины к недотепе Талышевой сотрудницы искали скрытую корысть, с усмешкой называли податливость Талышевой достоинством, более подходящим для награды, чем твердость и сила духа.

Общаясь с Талышевой, Валентина все глубже уверялась, что Талышева занимается не своим делом – ей бы работать в каком-нибудь музее, где любовь к искусству, особенно изобразительному, обострит в ней постижение собственной неподозреваемой одаренности. Несмотря на то, что Валентине не хотелось расставаться с Талышевой, она приучила ее думать о другой работе, утверждая: «Лучше горше, но иное». Талышева сомневалась, что с дипломом педагога ее возьмут в музей, и вспоминала, сколько сил потратил отец, прежде чем пристроил ее в эту контору и добился инженерной ставки. Ставка и позволила ей не зависеть от заработка отставного мужа, разжалованного за пьянство из актеров и кочующего ныне с завода на завод.

Да и не только из-за одного диплома она сомневалась в себе. Увлечение искусством неожиданно дало осечку.

Однажды Валентина принесла Талышевой журнал и порекомендовала прочесть статью известного исследователя. Имя его Талышева слышала впервые, и чем больше Валентина хвалила статью, говоря про какое-то обаяние подлинности, тем сильнее завораживала Талышеву. Блеск ли глаз Валентины, ее вдохновение или сам звук незнакомого имени подействовали, только в конце концов имя исследователя стало для Талышевой чем-то магическим – символом великодушия, служения людям, чистого отношения к делу. Дома в суете она несколько раз кидала благодарный взгляд на полку, где покоился журнал, лелея в себе чувство будущего открытия. На па-

мять почему-то приходили слова: «Спи, милый прах, до радостного утра».

И вот в ближайшую субботу она положила журнал в сумку, чтобы прочесть его в электричке. Она собралась в пионерлагерь к детям, но никаких подарков не припасла заранее, и потому день начался с магазинов.

Настоявшись в очередях сначала за коробками вафель, зефира, а потом и за арбузом, она поспела на вокзал в самое пекло и была внесена в вагон толпой, бравшей штурмом этот последний перед дневным перерывом поезд. Талышевой повезло: какой-то пассажир, призванный заботливым приятелем, продрался на теневое место в другой конец вагона, и Талышевой досталось его покинутое сиденье. Она втиснулась между крепдешиновыми распаренными соседками, устроила в ногах сетку с арбузом, а сумку поставила на колени и вытащила журнал. Прежде чем раскрыть его и соприкоснуться с таинством, для которого берегла себя целую неделю, она с тихой радостью посмотрела вперед на лица сидящих, и ей стало жалко, что их не ждет такой же праздник.

Она улыбнулась и начала читать.

«Среди риторических разработок греческого "софиста" Либания (314 – ок. 393), в которых с какой-то окончательной, итоговой сгущенностью отложилась на самом пороге средневековья формальная парадигматика античной литературы... мы находим... примерную экфразу...»

Что такое?! Талышева беспомощно опустила журнал. Снова посмотрела на потные лица пассажиров, на скомканную обертку мороженого, забитую в край рамы. При чем здесь Либаний?! Какой 314-й год? Что значит «парадигматика», почему «экфраза»? Она чувствовала себя обманутой. И не только. Она чувствовала себя выдворенной. Из общества, в которое стремилась. Но, еще не желая этого признавать, она заглянула на последнюю страницу. Да, выдворена, сомнений не было: тираж двадцать пять тысяч – это вовсе не для узкого круга специалистов. Обескураженная, она домучила все-таки

статью, половины не поняла и вышла из вагона, волоча тяжеленный арбуз. Подсознательное чувство подсказывало, что исследователь тут ни при чем, виновата она сама, а с ней виновато и общее идиотское убеждение в том, что только понятное истинно, ценно и достойно внимания.

После этого слова новой Валентины о работе в каком-то там музее ничего, кроме сомнения, у Талышевой не вызывали.

О себе как об инженере Талышева была невысокого мнения, и это тоже примиряло с ней недоброжелателей: они советовали уклониться от приближающейся аттестации и даже просили Инну Натановну не заносить Талышеву в список аттестуемых. Зачем накликать на отдел гнев руководства? Все попытки Инны Натановны избавить Талышеву от аттестации оказались напрасными: слишком уж давно работала Талышева в конторе. И предстала перед комиссией полуживая от страха и выпитых таблеток элениума, и проявила отчаянное непонимание дела, которым занималась четырнадцать лет. Ей назначили переаттестацию, чтобы оттянуть понижение в должности хотя бы на несколько месяцев. Однако начальнице сделали устный выговор за попустительство, и теперь при взгляде на Талышеву она раздражалась от одного вида истонченных скул и понурой головы. Сотрудницы сочувствовали начальнице, как сочувствуют матери урода.

Пока Талышева переживала провал, новая Валентина с ожесточенным упорством выпытывала у знакомых, не нуждаются ли они в порядочном сотруднике с педагогическим образованием. Валентина искала любое место, которое могло бы вернуть Талышевой достоинство и спасти ее зарплату. Многих знакомых сдерживала спешность Валентины, мстительное чувство собственной неудачливости и неблагодарность за постоянное добро: отзывчивость Валентины со временем стали при-

равнивать к ее обязанностям, рассматривая как личное преимущество.

Нашелся крупный начальник, еще не старый, ему хотелось пощеголять силой власти перед красивой Валентиной. Он согласился принять Талышеву: ему требовалась кроткая женщина, чей ум, побежденный благодарностью, не ставил бы под сомнение правильность поступков начальника. Он обещал поощрять ее премиальными, предлагая должность делопроизводителя, оплачиваемую наравне с инженерной.

Валентина принесла в контору новость, заставив сотрудников поразиться ее напору, порадоваться за Талышеву и поразмыслить о собственной судьбе. Ведь почти все они тоже спасались в конторе от работы учителей, они тоже предпочли переквалифицироваться и называться инженерами, чтобы стареть за правкой бумаг, теша себя мыслью о сносной зарплате и ежечасно справляться, сколько времени осталось до конца трудового дня. Кое-кто пытал счастье в других учреждениях и возвращался обратно из-за неприспособленности к всепоглощающей работе или чужому распорядку.

Под диктовку Валентины воспрянувшая Талышева написала заявление с просьбой освободить ее от работы в конторе и положила его на стол Инны Натановны. Но начальница не спешила подписывать заявление... Нет, она вовсе не огорчилась, просто она не хотела создавать Талышевой трудностей, если планы ее изменятся. Все время, пока Инна Натановна держала заявление в столе, Талышева не напоминала о нем, работая с отчужденной сосредоточенностью, словно за несколько последних дней задумала постичь суть обрабатываемых бумаг, которая не давалась ей годами. Сотрудницам показалось, что Талышева скорее вознаграждала заявлением Валентину за хлопоты, чем всерьез помышляла о переходе.

Лишь за три дня до назначенного срока начальница спросила: не привязалась ли вдруг Талышева к своим бу-

магам? А может, того удивительней, переход на новое место кажется ей чем-то вроде измены?

Замешательство подчиненной выразилось в пустой улыбке, убедившей Валентину, что ссылки Талышевой на незавершенность работы – всего-навсего обыкновенный предлог, чтобы написать новое заявление об уходе и запастись еще двумя неделями для подготовки к неизбежному ответу.

Валентина молчала, когда Талышева винила начальницу: Инна Натановна медлит, вынуждает оттянуть срок ухода, уговаривает остаться. Неправда эта объяснялась верой в чью-то заинтересованность, и одернуть Талышеву ради справедливости у Валентины не поворачивался язык.

Никогда еще сотрудницы не судачили вдохновенней. Они с трудом дожидались минуты, когда Талышева уходила курить, и, преображенные, с горящими глазами наперебой обсуждали каждое ее слово. Притворно вздыхали не в силах остановиться, вновь и вновь перебирали одно и то же: и близнецов, катавшихся на воротах, и тираж, пошедший под нож, и даже недавний случай – с деньгами, пережеванный и обглоданный, как куриная кость.

Этот случай вовлекал в пересуды даже тех, кто давным-давно махнул на Талышеву рукой и не считал нужным тратить на нее ни силы, ни слова.

Шутка ли, в метро, в каком-то длинном гулком переходе, где слышался лишь топот идущих людей, наступить на пачку денег?! Неизвестно чьих, выпавших у какого-то растяпы, который даже не заметил потери. Поднять эту пачку, аккуратную, купюра к купюре, накрест скрепленную бумажными полосками, и начать приставать к людям: «Это не вы потеряли?» «Владелец» нашелся сразу. Он уверенно выхватил пачку, буркнув: «Мои!»

Сотрудницы стонали и заламывали руки, когда Талышева рассказывала эту историю. Лучше бы они ничего не знали, не расстраивались бы: надул же ее этот тип!

Надул!!! Талышева и сама чувствовала неладное, но безбожная находчивость «владельца» не вызывала у нее отчаяния – лишь растерянную улыбку: опять она сделала что-то не то, главное же – не сумела доказать, что и она может действовать без колебаний.

За две последующие недели в Талышевой не накопилось решимости, и она подала бы третье заявление, если бы начальница не уберегла себя от затяжного терзанья, а подчиненных – от траты времени на пересуды и не передала бы последнее заявление директору.

Обескураженной Талышевой без разуверений и уговоров немедленно вручили в отделе кадров обходной лист, обманув ее надежду на беседу, в которой ей предложили бы остаться.

Новая Валентина заболела, и Талышева не могла пожаловаться на безразличие начальника отдела кадров к заслуженным работникам и противопоставить озабоченность тех, кого она просила подписать обходной лист: они отговаривали ее, шептали об ожидаемом повышении зарплаты, о потерях из-за прерываемости стажа, наградах за выслугу лет, бесплатных путевках и профсоюзных льготах, невозможных на новом месте, истребляя неосведомленность и случайными словами остатки самовнушения.

По упорному молчанию Талышевой больная Валентина поняла, что Талышева предпочитает не осведомляться по телефону о ее здоровье, лишь бы не обнаруживать свою душевную смуту. Валентина звонила, увещевала, но возмущенным разочарованием не смогла оживить даже гордость Талышевой. У Валентины хватило выдержки не прибегать к последнему средству – не сравнивать поведение Талышевой с реакцией подопытной крысы, приученной бегать по игрушечному лабиринту. Лабиринт в свое время убирали, но заавтоматизированная крыса продолжала бегать прежней дорогой, как если бы ничто не изменилось.

Укоры Валентины вызвали в Талышевой враждебность обойденного сочувствием человека и уверенность во вреде всякого посягательства на ход ее жизни. Вместо «до свиданья» Талышева сказала: «Стара я для новшеств!» – впервые ощутив радость быть обвинительницей.

Позже Валентина узнала от сотрудников, что Талышева при всех порвала заполненный обходной лист и попросила Инну Натановну считать свое заявление недействительным.

Начальница пошла с новостью к директору, вернулась злая и так отыгралась за нагоняй, что, оскорбившись, Талышева снова с обреченным видом взяла обходной лист. Собирать подписи она попросила молодого сотрудника. Ему и пришлось выслушать от недавних доброжелателей колкости, предназначенные для Талышевой. Некоторые советовали доверить выбор окончательного решения электронной машине, чтобы потом не терзать ни себя, ни их.

Когда Талышевой только и оставалось забрать трудовую книжку, на память ей вдруг пришла недавняя встреча с новыми сослуживцами. Она вспомнила, как ждала своего будущего непосредственного начальника и как сотрудницы отдела – женщины с особенными, к а с т о в ы м и взглядами – спорили о цвете новой блузки. И то, что одна настаивала: «Горчичного! У меня восприятие до тончайших нюансов!», а другая, утомленная ее упрямством, прикладывала к рукаву обручальное кольцо и просила ответить, какой же тогда цвет у старого золота, – все это угнетало Талышеву и заставляло чувствовать себя уязвленной. Но едва одна из споривших посоветовала другой пойти в алмазный фонд, чтобы по образцам установить цвет старого золота, Талышева обрадовалась возможности уравняться с женщинами, сказала:

– Говорят, туда трудно попасть.

Женщины приняли слова Талышевой за попытку умалить их привилегии. Новая блузка внимательно посмотрела на Талышеву и осталась довольна тем, что взглядом загнала ее ноги в старомодных туфлях под стул и, вероятно, навела Талышеву на мысль привести в порядок ногти на руках и подобрать для мелких черт лица очки в более изящной оправе, может быть, не пластмассовой, а золоченой, в крайнем случае полиметаллической. Талышева же в это время силилась представить себе, как отреагируют эти женщины, скажи она им, что постоянно подает заявления в местком с просьбой оказать материальную помощь, что не может заставить способного сына хорошо учиться не то что в английской или французской, а в обыкновенной школе, что и на новом месте ей придется часто отпрашиваться, чтобы уговаривать педагогов перетерпеть его клоунство и безделье, не оставлять на второй год, что она не хозяйка в своем доме и занимает квартирку с проходной комнатой из милости разведенного мужа, который пока обосновался у свекрови, что из-за просиживания на работе она воспитывает детей по телефону и дети отвлекают сослуживцев частыми звонками.

Талышева вспомнила, как разочаровала пришедшего начальника робким голосом, внезапной суетливостью, сединой, как он потерял к ней остатки интереса, едва пробежал глазами принесенную анкету.

И теперь, когда на прежней службе нужно было взять трудовую книжку, Талышева зарыдала и попросила, чтобы ее оставили. Она повторяла: «Это погубит меня!» – и многие, кто видел ее сухую шею в зеленоватых венах, испугались ответственности за ее судьбу.

Отправив хмурую Инну Натановну и поразмыслив над ее докладом, начальник отдела кадров Конкретов А.Б. представил, сколько будет еще канители, пока Талышева убедится в непоправимости события и поймет, что смена работы – не игрушечная затея. Он вызвал Та-

лышеву и посоветовал морочить голову новым руководителям, поскольку здесь с ней нанянчились. Талышева снова зарыдала, и Конкретов А.Б. растерянно отметил, что не способен продолжать беседу в таких условиях.

Просьбы заступников – выискались люди, которые из жалости к Талышевой решили, что можно еще изменить директорский приказ, – Конкретов отверг во имя спокойствия в конторе, дабы пресечь всех, кто держит в мыслях, будто любая глупость исправима. Кроме того, кадровику всюду мерещились интриги, и если за Талышеву хлопотали, значит, считали его способным превысить права, стало быть, сомневались в его служебной стойкости и искали случай подловить на несоблюдении трудового кодекса. Добровольных ходатаев он отвадил, заверив, что уже оформляет на освободившееся место нового человека. В действительности мутноватые глаза этого нового человека и диплом гуманитария не понравились Конкретову – опыт показал, что лучше брать настоящих инженеров, таких, как новая Валентина, – и кадровик никогда не вспомнил бы о мутноглазом, будь на примете кто-нибудь, кого не понадобилось бы переучивать и посылать на курсы повышения квалификации.

Конкретов А.Б. уже морально настроился зачислить гуманитария, надеясь, что директор больше не повторит ему в раздражении: «Кого угодно, только не бабу!» – но тут на работу вышла Валентина и принесла в отдел кадров больничный лист. Она не стала отвечать на вопросы о здоровье, а заявила с резкой решимостью, что в талышевской беде она виноватей других. Это она, можно сказать, искушала Талышеву – подбила увольняться, но теперь готова уволиться сама, лишь бы освободить место для Талышевой. От знакомого, которому была рекомендована Талышева в делопроизводители, Валентина узнала, что свободную ставку сократили. Теперь Талышевой некуда переходить, а без работы ей и детям не на что кормиться, и те, кто этого не понимает, бездушные, жестокие люди.

Худо-бедно, но Талышева проработала в конторе четырнадцать лет, а теперь ее выставляли, даже не спрашивая, как она будет жить дальше. Правда, она подала заявление сама, но от этого было только обидней. Возможно, Талышева не приносила пользы, но разве судьба д е л а интересовала кого-нибудь?..

Прежде чем позволить себе сочувствие к подчиненной, Конкретов А.Б. потребовал у Валентины номер телефона предполагаемой службы Талышевой и тут же оперативно выяснил, что все сказанное Валентиной подтверждается ответственными людьми. Проверив, он распек Валентину за смуту талышевской души, назвал экстремисткой, которая не учитывает реальных обстоятельств, и запретил делать какие-либо выводы, вкладывая в свои слова обиду человека, задетого намеком на бездушие.

Несмотря на это, Валентина уходила от кадровика с убеждением, что досада Конкретова приобщит его к беде Талышевой.

Так и случилось: Талышеву в о с с т а н о в и л и. Чтобы вернуть ей трудовую форму – ведь она не способна была держать даже карандаш, только курила в закутках и глотала элениум сверх меры, от чего стала плохо видеть, – Талышеву снабдили полуоплаченной профсоюзной путевкой в дом отдыха и выпроводили в отпуск. У Инны Натановны хватило чутья распознать за внешней невозмутимостью Валентины душевный надрыв, и, предохранив себя от укоров совести: Талышева, мол, уже бродит по лесу и наслаждается свободой, Инна Натановна решила утешить Валентину не только в сегодняшних, но и во всех грядущих утратах...

– Смокву с терновника не соберешь, – сказала она с педагогической интонацией, – не нужно заниматься бесполезным делом. – И добавила уже как натерпевшийся администратор: – Слишком мы гуманны. Наши учреждения давно превратились в пристанище «Не бей лежачих».

Валентина спросила: «А что такое смоква?» – хотя знала, что это инжир. Начальница никогда не вдумывалась в точный смысл слова, но решила не ставить под сомнение свою правоту каким-нибудь там приблизительным ответом.

– Смоква то, что родится смоквой! – сказала она твердо.

Инна Натановна могла бы оправдаться тем, что никогда не жила на Кавказе, поэтому не знает названий субтропических растений, и даже могла бы уличить Валентину в не очень широкой осведомленности относительно среднерусских деревьев вроде ирги, но Инна Натановна не желала низводить разговор до обычной женской перемолвки и сострадать Талышевой больше, чем Валентина.

Талышева в это время шла к лесу. Он подступал к ограде и разнозеленой устремленностью вверх уводил взгляд к небу, куда поднимался и голос далекой кукушки. От ее щедрости становилось свободней, и чем дольше она куковала, тем сильнее проникалась Талышева настроением природы, изживая накопленный внутренний гнет, мешавший быть заодно с лесом в его движении к теплу.

Исчезло и неприятное чувство, оставленное скоморошеским объявлением о психотерапевте. В курортной простоте нравов, легкости перемен, в самом соединении фамилий Пушкин – Бублюкин она уже не видела ничего обидного для памяти поэта.

У ограды, за частыми кустами бузины, одолеваемой бурьяном, Талышева заметила навес и подумала, что это сторожевая постройка, – ветки мешали увидеть привязанную к столбу медведицу и прочесть надпись на табличке: «Медведица Чукча. Привезена медвежонком с Чукотки студентами-геологами. Подарена дому отдыха в знак благодарности».

Увидя наконец зверя, Талышева оторопела. Даже на цепи медведица выглядела небезопасно и не вызывала сострадания. Столб, вокруг которого она ходила, тоже не показался Талышевой достаточно надежным.

Уловив человеческую настороженность, медведица зарычала. Неокрепшее чувство свободы исчезло в Талышевой. Она пробормотала несколько искательных слов и попятилась, смущенная неожиданно возникшей зависимостью.

Когда в столовой во время ужина мятый старик-культурник объявил, что он просит тех, которые все из себя отдыхающие, принять участие в аттракционе с ручной медведицей Чукчей на фоне незагрязненной окружающей среды и приобщиться к миру дикой природы, Талышева забыла о своем страхе и пожалела пленную медведицу.

Сосед Талышевой по столу вяло усмехнулся на слова старика и принялся объяснять, что дед каждый вечер устраивает «систему йогов» возле медведицы, поэтому, чем шалеть в кино или у телевизора, лучше развлечься проверенным способом. Сосед помянул и лекцию психотерапевта, из которой даже записал одну мудреную фразу, и теперь при случае может кое-кому пустить пыль в глаза. Вынув из кармана скомканную бумажку, он, подмигнув, прочел: «Женщину следует любить не только за колорит души и тела, но и за выдающиеся интимные способности». Сосед добавил несколько игриво-туманных слов, назвал Талышеву «дамой со знаком качества», что после обильного ужина предполагало признательную подвластность, которая закрепляет любого мужчину в роли кавалера.

Талышевой, отвыкшей от расчетливой лести и мужского внимания, была приятна готовность соседа к ухаживанию, хотя она понимала, что успех ее определен скукой, непритязательностью и случайным соседством.

Она долго переодевалась, заставив застольного знакомца томиться ожиданием возле пустой скамейки; к

площадке с медведицей они подошли, когда старик-культурник уже растолковывал толпе:

– Сгодится всё. Кому что по душе: хоть чистый спирт, хоть жидкость от потливости ног.

– И ацетон?

– Ацетон я вам рекомендую пить самим. Очистите мозги от бациллы ненаводящих вопросов.

– Лови портвейн!

Старик одной рукой поймал бутылку, а другой придержал медведицу за ошейник: она мешала ему ровно стоять. Но старик был не очень пьян и помнил, что вышибать пробку лучше в стороне.

Медведица поднялась за задние лапы, с алчной просительностью вытянула морду, хотя знала, что старик медлит, чтобы освободить вино, – однажды медведица поранилась бутылкой, когда сама открывала ее.

Вокруг все хохотали, и медведица решила, что люди расщедрятся еще ради веселья, и не торопилась задобрить толпу смешными движеньями, и не для потехи вытирала мокрую морду, деловито жевала конфету, подсунутую в пасть стариком. Но люди не понимали расчета медведицы, они ждали удовольствия, поэтому не скупились.

Сосед Талышевой хлопал себя по пустым карманам, кричал:

– Ой, система йогов! Ребята, чья очередь? Я выставлял позавчера!

Пока пьяная медведица не свалилась, из толпы подавали бутылки и конфеты. Потом все разбрелись, опустошенные забавой, и Талышевой было стыдно, что с ней освоился человек, который хвалит культурника и который через каждые пять слов повторяет «система йогов».

Ей всегда казалось, что она сама оставила недостойного мужа, но присутствие рядом черствого, пустоватого мужчины наводило на огорчительную мысль, что она

способна лишь терпеть, как терпит сейчас, и не она бросила мужа, а он, пьяница и прощелыга, бросил ее.

На следующий день она не сумела поужинать раньше и избежать встречи с соседом. Он по-свойски подмигнул ей и извлек из-под пиджака бутылку шампанского, уверенный, что это воспримется как благородная щедрость. Талышевой стало неловко: она подозревала, что сосед израсходовался ради нее, и не посмела отказаться от совместной прогулки к медведице.

Талышева терпела радость толпы, всматриваясь в пасмурный лес за спиной культурника. Но мысли об уснувшей кукушке не могли отвлечь ее от любопытства к медведице, хотя она понимала, что самим своим присутствием поощряет культурника. Талышева желала конца всей этой затеи, чтобы потом осуждать себя за нее, и знала, что конец наступит тогда, когда ее сосед бросит бутылку шампанского.

Вот он отвел руку – бросил. Истомленная медведица рванулась к бутылке, чтобы опередить культурника. От неловкого хватка бутылка отлетела к краю площадки и свободно скатилась к ногам Талышевой, стоявшей впереди всех.

Талышева нагнулась и, пока какой-то лишний миг колебалась: отшвырнуть бутылку в сторону или бросить культурнику, медведица напряглась, натянув цепь, намотанную на столб, вывернула его из земли и, освободившись, ударила Талышеву нетерпеливой лапой.

Когда Талышеву перевернули на спину, лицо ее уже было значительным, словно смерть стала той возможностью, выбор которой зависел именно от нее.

ШУБИНА Валерия Семеновна дебютировала в 1975 году («Литературная Россия»). С 1978 по 1987 г. печаталась в «Литературной газете». В 1983 г. опубликовала книгу «Невинный скворец», в 1988 – «Станица золотого фазана», очерки об охоте. В Союз писателей рекомендована Юрием Домбровским в 1978 г. В 1979 г. организовала свою литературную студию, которой руководит доныне. С 1987 г. член Союза писателей.

ТРИ НОКТЮРНА

1. НОЧЬ ИЛЛИНОЙСКАЯ

Не вечер: череп дня, и месяца, и года.
Повысыпало звезд, а Сириуса нет...
Но вылез Орион. Он в яме небосвода
запястью мертвому наблещет на браслет.

На целый клад, на склеп и труп насветит
владелице нагих над нами нег,
Америке небесной, где все эти
понасорили скопом на ночлег, –

сюда сойдясь, – цари, чудовища и птицы,
намусорили – чем? – своими же костьми...
И Хартію таких, как подписи, петиций
шлют кверху, ветхие ночами и денми.

Их смерть нежна, напоминая вечность
и даже чем-то – жизнь.
Развоплотясь в лучи, расчеловечась,
взошли... А вышло: это ж низ.

В овраге воздуха – сокровища и падаль,
а вот и Сириус (как мы сумели без)
берет свое сверло, гробокопатель,
и выковыривает из бездн...

...Минтаку, Альнилама, Альнитака
(аль в списке что-нибудь не так?),
он посвящает ей, чуть выпуклее мрака,
красавице, чей светится костяк.

Ее – по рыхлой черни – оттиск торса
с хребтиной Млечного Пути
сияя судорогой, к полюсу простерся
уже неплохо за полночь, к 5-ти.

По жилам, но не кровь, – долготы льются;
в торосах – ледовитая рука;
приподнято плечо Аляской алеутской
черно-прозрачного материка.

Сосцов ее: Соединённы перлы
(верней, разъяты) в крапе звездных карт...
Их полушария с ложбиной прерий
кладоискателю и – открывать!

Он бы готов распеленать початок,
но это – Юкатан... А там, на страже тайн, –
Плеяд стожарные печати...
Хотя и узок, а закутан стан.

Стан узок – статны в тех широтах бёдра,
где слишком Южен Крест,
где самая-то Амазонка бреда:
предутренних и мутных грёз.

А ей – пускай; все это – можно...
Вот и Дракон обвил веретена
чилийских голеней. Скалиста ножка,
что трогает: студена ли волна?

Извне мерцая нам (неужто мимо?) – стелла:
земное впитывает прилипанье глаз...
Они – ее заляпывают тело.
На то и жизнь – космическая грязь!

...А встала, ясная, зарозовела
и в голубое мясо облеклась.

апр. 1989

2. ЗАТМЕНИЕ

...И днем приходит гневное, ночное,
клокочущее: – Что-то тут не так, –
неправедно, неверно учинённо!..
От человека – тень, от света – мрак.

От птицы больше остается – в Бозе,
где вьется визг и свист – широкоуст;
но здесь летун лежит в парящей позе
и в оперении, а череп выпит, пуст.

Я этого стрижа в сияньи вижу, в нимбе
вкруг мертвой голой головы.
И меркнет небо в полдень, ибо
он – весть о всех: – О горе нам, увы!

Он карликом, летучим нибелунгом
себя лучистой гибели обрек:
на солнечный пойдя осадой, лунный
свет застит свет, а льва – единорог.

Но те-то там, тотемы, зодиаки
и светочи очей, а тут, смотри:
не то чтоб гром, не то чтобы во мраке,
но нечто тихое увечится внутри.

А что и вне, в на целый Свет размахе,
в пространстве душится глухонемом, –
так это давится душонка в страче,
и ежится ее крылатый гном.

Он, видно, и лежит по-околу от окон
на белом гравии (догадкою ожгло),
что мчал от сумерек, и с гиком, и к Истоку
сверкающему, – а влетел в стекло.

сент. 1989

3. КОМЕТА

Кто световую арию поет,
как бы лучом крича, и даже резче, пуще –
кто Солнцу-льву заглядывает в рот,
о небо личико расплющив?

– Да, это та, которая, в кой век,
из галактического фарса
влетает как-то каблуками вверх,
неважно, лишь бы не сорваться.

Всей гривою огней – назад, от скул –
с какого блеска этот слепок,
которому планета, что – ау? – аул:
скопленье искр, гнилушек склепа...

– От неотмирных тех звездо-богов,
что числятся вверху под номерами, –
дошвырнутая весть, взглядо-огонь,
сестра тому, кто в камне умирает.

Он вправду гибнет, человеко-град...
О, если бы в секунду световую
миг мрачный обратить, пустить назад,
гранитному, не дать исчезнуть вскую!

Ведь мы вошли, как известь, в мысль о нем,
в те несколько фасадов, 2-3 шпиля,
взывающих: спасти. Не то – спалить огнем,
к нему весь мир пришпиля.

А тут-то грудью и в – не знаю что – кишлак,
в полуподвал, в подслеповатость Рая,
она выматывает пук светящихся кишок,
себя о сорный воздух раздирая.

И леденит извилины сквозняк,
в умах напечатляя мету,
опаснейший хвосто-крылатый знак,
зрак мрака, самопальную комету.

И вот мы ждем: с уже заумных сфер
сошедшая для дела злого,
жуть-птица, полу-Люцифер,
не свалится ль огромным словом?

Да, свето-вопль, и – тоже – пыл,
и вид, внезапно грянувший и грозный, –
пророчество о нас:
– Мы – пыль,
пыль, ставшая на время грязью.

– Все тусклые, мы перетремся в смерть,
по делу нам и почесть, да и впору...
Но будет впрок: после-последний свет,
когда орбиты рухнут в прорву.

Проглотит медленно-немотный взрыв,
и всех, и вся, и деву-взрывоносца,
пустой припухлой вечностью покрыв.
Но с надписью «конец» она вернется.

август 1989
Урбана, Иллиной

Евгений Попов

ШУЦИН-ПУЦИН

Рассказ

...и я, конечно, понимаю, что я очень виноват, и не снимаю с себя ответственности за случившееся, но прошу принять во внимание и тот ряд обстоятельств, в основе которых лежит то, что я только хотел **быть честным**. Лишь только потому, что я хотел БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, я не записался, как это некоторые у нас делают, в КНИГЕ УХОДОВ, что я после обеда уйду, допустим, в библиотеку читать свежепоступивший информационный бюллетень на английском языке со словарем, потому что я хотел БЫТЬ ЧЕСТНЫМ и считал, что управлюсь со всем случившимся в течение обеденного времени, потому что дел там было на пустяк, и я бы вполне с ними управился в обед, если бы не нижеприведенный ряд обстоятельств, не зависящих от моей воли и моей честности.

А дело в том, что я не отрицаю – да, я и пообедать успел во время обеденного перерыва, потому что мне ОДИН ЧЕЛОВЕК за пять минут до звонка занял очередь, и ровно в 13 ЧАСОВ 01 МИНУТУ я уже ел суп, а в 13 ЧАСОВ 07 МИНУТ я уже имел возможность покинуть нашу лабораторию, направившись в посудо-хозяйственный магазин «Саяны». Фамилию ТОГО ЧЕЛОВЕКА, занявшего мне очередь, я называть не хочу и не вправе, т.к. он здесь совершенно ни при чем, и я не желаю его тоже ставить под удар: достаточно того, что я сам, наверное, понесу суровое, но справедливое наказание, а тот человек совершенно ни при чем, я даже скажу условно, что он не из числа сотрудников нашей лаборатории, он СЛУЧАЙНО занял мне очередь, я не знаю, как его зовут, – и довольно с этим!

В 13 ЧАСОВ 15 МИНУТ я уже оказался в хозяйственном отделе посудо-хозяйственного магазина «Саяны», где меня подстерегало глубокое разочарование, о чем я в тот момент еще не знал, а напротив – был очень рад, увидев на витрине без продавца готовую к употреблению краску «Охра» производства местной промышленности, как раз то самое, что мне и нужно было для производства ремонта полов новополученной квартиры, которую я получил «на расширение», за что приношу глубокую благодарность нашему Местному Комитету и лично Вам, дорогой Федор Антонович, за содействие, и если Вы думаете, что я не оправдал вашего доверия, то вы увидите в конце этой объяснительной записки, что это совершенно не так почти на все 100%.

Потому что ровно в 13 ЧАСОВ 21 МИНУТУ я уже выбил в кассе две эти банки, а в 13 ЧАСОВ 23 МИНУТЫ я уже запихивал в сетку эти две банки, и если бы все шло так же четко и слаженно, как и все ранее написанное, то я бы максимум в 13 ЧАСОВ 30-32 МИНУТЫ уже оказался бы в лаборатории, где, может быть, даже и успел бы до окончания обеденного перерыва сыграть партию в шахматы, что я действительно очень люблю, но исключительно, подчеркиваю, В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, в отличие от тех людей, фамилии которых мне не хочется называть, которые Вы и сами прекрасно знаете, потому что Вы выступали по этому вопросу на ближайшем отчетно-выборном собрании и достаточно яркими красками описали тех, которые «рабочее время превращают в международный турнир в Гааге». Но дело в том, что краска оказалась НЕ ТА, потому что я, уже запихав ее в авоську, случайно бросил взгляд на серенькую, криво прилепленную бумажку и с огорчением заметил, что там написано «КРОМЕ ПОЛОВЫХ РАБОТ». Мне мгновенно представилась в мозгу яркая картина реакции моей супруги, как я крашу полы, а потом к ним прилипает палас производства ГДР за 300 рублей. Да и не в деньгах дело, я другое представил, что мне не ковер жалко,

и с Ириной мы жили душа в душу, а своего авторитета мне жалко, потому что у меня подрастает ребенок, Ваш тезка Федя, и какого он мнения будет о ВЗРОСЛОМ ОТЦЕ, если тот не может правильно сориентироваться в выборе обычной половой краски. Вы сами отец, и поэтому должны меня понять. Поэтому я пошел решительно к продавцу и стал вежливо просить, чтобы мне обменяли эту краску на настоящую. А продавец довольно грубо мне ответила, что нужно глаза не на задней части туловища иметь, но я продолжал ровно, спокойно и очень ВЕЖЛИВО настаивать на сказанном, не поддаваясь на провокацию. И она была вынуждена подписать мне обратно уже проколотый чек. После чего в 13 ЧАСОВ 31 МИНУТУ я направился в кассу, где подвергся аналогичным оскорблениям со стороны кассирши, весьма неприятной особы, повязанной крест-накрест пуховым платком и с золотыми зубами. Эта перепалка длилась около СОРОКА СЕКУНД, однако она приняла испорченный чек и уже полезла в кассу за моими деньгами, когда вдруг в магазин вошли ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ: мужчина с бородой и в длинном кожаном пальто и молодая дама с ярко накрашенными до синевы пухлыми губами. Мужчина почему-то оттеснил меня и встал передо мной в кассу, но я не успел возмутиться. Потому что эта дама подошла к кассе сбоку и задала нелепейший на первый взгляд, а на самом деле очень СО СМЫСЛОМ, как потом выяснилось, вопрос: «А ЧТО ЕЩЕ ПРОДАЮТ В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ?» Кассир от удивления свесилась вбок на нее посмотреть, и в это время бородатый мужчина сильным движением хищного зверя выхватил у ней из кассы все содержимое кассы и был таков. Я в первую секунду растерялся, но тут же хотел броситься за ним вдогонку, чтобы поймать, но тут женщина-бандит с криком, который, несмотря на его нелепость, я запомню, по-видимому, на долгие годы, эта женщина с криком «Шуцин-Пуцин!» подставила мне ножку и сама была тоже тако-

ва, а я упал лицом и головой на стеклянное стекло этого магазина «Саяны» и от приданного мне подножкой ускорения потерял сознание, после чего отчего-то оказался на улице, почему-то не получив НИ ЕДИНОЙ ЦАРАПИНЫ! А было уже 13 ЧАСОВ 38 МИНУТ. Я отчетливо сознавал, что обеденный перерыв у нас в лаборатории заканчивается в 13 ЧАСОВ 45 МИНУТ, и если я не хочу потерять свое лицо хорошего производственника и общественника, то я должен НЕМЕДЛЕННО БЕЖАТЬ назад в контору. Но, к моему величайшему сожалению, КОРЫСТЬ, это тяжелое наследие капитализма и других исторически отживших систем одержала верх над моей дисциплинированностью, и я – эх, да что уж тут и говорить! – ВОЗВРАТИЛСЯ ОБРАТНО В МАГАЗИН! Чтобы получить причитающиеся мне мои 6 руб. 42 копейки!

Но там кассирша была уже в глубоком обмороке, отпаиваемая валерьянкой, а на меня, вооружившись кто чем попало – садовыми лопатами, топором без ручки, граблями, лейками, краской, – напал весь личный состав магазина, включая редких покупателей, и загнали меня в угол, не отдавая мне моих денег, крича, что я ТОЖЕ БАНДИТ, делая угрожающие жесты самосуда. Отчего я не только безнадежно опоздал на работу, но и был приехавшими довольно быстро сотрудниками милиции ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ, у меня отобрали шнурки, ремень, и я сейчас пишу к Вам из СИЗО – следственного изолятора, где от меня следователь, т. Взглядов, требует признания, где живет дама с накрашенными губами и кто такой был мужчина в черном кожаном пальто с бахромой, а когда я искренне говорю, что я их не знаю, то он усмехается, барабанит по столу подушечками пальцев и предлагает мне папиросу «Беломорканал», хотя я, как Вы знаете, дорогой Федор Антонович, совсем не курю и не пью. Уважаемый Федор Антонович! Я понимаю, что доставляю Вам очень неприятные хлопоты, но я ВСЕМ СВЯТЫМ ЗАКЛИНАЮ ВАС, сделайте ХОТЬ ЧТО-

НИБУДЬ для меня, а то, мягко говоря, уж очень непривычно мне здесь сидеть. Ведь я женат, у меня подрастает ребенок. Адвокат Меерович говорит, что лучше, если бы Вы взяли меня на поруки, осудив на общем собрании мой антиобщественный поступок, но, сообщив специальным письмом на имя суда, что я никогда ни в чем подобном ранее не был замечен и вряд ли я являюсь преступником, я скорее всего ЖЕРТВА ПОТЕРИ БДИТЕЛЬНОСТИ И НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ И ПОЭТОМУ МОЖНО, УЧИТЫВАЯ МОЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ, ВЗЯТЬ МЕНЯ НА ПОРУКИ ИЛИ ПРИСУДИТЬ К УСЛОВНОЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ. Прошу Вас, спасите меня, дорогой Федор Антонович! Я понимаю, что Вы и так для нас много сделали. Вы дали нам с Ириной светлую благоустроенную однокомнатную квартиру, под Вашим руководством я вырос от техника-лаборанта до младшего научного сотрудника. Но и я ведь тоже послужил нашему коллективу. Я не хочу заниматься ячеством, но ведь когда я был казначеем нашей профсоюзной организации, то у меня всегда и все в срок платили профсоюзные взносы, о чем было отмечено Вами на ближайшем отчетно-выборном собрании. Да и другие дела: я не хочу быть навязчивым, но на всех субботниках, на всех воскресниках, во всех других мероприятиях я был заводилой. А как смело, невзирая на лица, я выступал на собраниях? КОЙ-КОМУ сильно доставалось от меня, и у меня, возможно, есть враги из числа разгильдяев нашей лаборатории, но я очень верю, что Вы, зная меня много лет, сумеете сплотить мнение коллектива к тому, чтобы меня взяли на поруки. Я очень верю в Вас и в СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Следователь т. Взглядов рано или поздно поймет, что построенная им схема ошибочна. Я верю в СПРАВЕДЛИВОСТЬ! И если я отсюда выберусь, то я обещаю еще с большей силой отдаться общественной работе, может быть, даже и пропаганде правовых знаний, о чем писалось непосредствен-

но перед моей посадкой в газете «Труд». Федор Антонович! Помогите мне! Не оставляйте меня в беде! Мне не хотелось бы об этом писать, но эти люди, окружающие меня... Они – не люди. Они как муравьи лезут ко мне... Отобрали копченую колбасу... Я не хочу об этом писать, я ставлю три точки, но надеюсь, что Вы понимаете, о чем я говорю... Вот у меня уже и отбирают карандаш. До свидания, дорогой Федор Антонович! До скорой, я надеюсь, встречи. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я верю, что Ирина в любом случае дождется меня... Я верю, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ рано или поздно восторжествует. И эта ве.....

Виталий Асовский

«ОГОНЕК ЗАЖИГАЛКИ СВЕТЛЕЕ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ...»

* * *

по белой бесснежной пустыне
ступаю ногами босыми
по острому белому камню
ступаю босыми ногами
ни тропки ни вех ни приметы
лишь воздуха серые груды
и белые листья по ветру
летят неизвестно откуда
маршрут до невидимой точки
я должен пройти непременно
свернуть не пытаясь ведь тотчас
уткнусь в незаметную стену
спускаюсь по лестнице дома
толкаюсь в троллейбусе тесном
целуюсь в постели укромной
до точки иду неизвестной
под топот толпы заоконной
беседуя с другом прилежно
босой без рубахи посконной
бреду по пустыне бесснежной
а белые листья мелькают
им тоже положены роли
я чувствую рядом ступают
соседка товарищ по школе
мать люльку с младенцем качает
единым дыханием дышат
а белые листья ныряют
и вновь поднимаются выше

настала весназималето
свиваются осени нити
луна переполнена светом
и солнце повисло в зените
по белой бесснежной пустыне
ступаю ногами босыми
по стертому белому камню
ступаю босыми ногами

1985

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Дует ветер с верховий Невы,
облака разгоняя над устьем,
небо высветлив до синевы,
заражая весенним безумством,
отзываясь морозцем в груди.
Погоди! Все еще впереди.

Загорелась большая игла –
восклицательный знак государства, –
утверждая незыблемый склад,
всемогущество камня и царства.
Погляди на нее и иди.
Не задерживайся! Проходи.

Я иду, и везде – синева,
полыхает небесное пламя.
Голубая открылась трава
надо мной, над тобою, над нами.
Над фуражками кариатид,
подпирающих жесткий гранит.

Небо синее впрыснуто в кровь,
и душа ощутила свободу,
разрыванием зимних оков
отзываясь на смену погоды.
Дразнит нас синева, синева,
от которой летит голова.

Пробудилась, бессмертная, вновь,
красотой возвышая над силой,
голубая бесстрашная кровь.
Что красивее алой на синем!
Мы свободны, когда мы хотим.
Впереди еще множество зим.

1979

ОТЕЦ – СЫНУ

Испаряется в небо непрочное время,
и, мелея, сужается зеркало дней.
Как в обратной клепсидре –
столетия дремлют,
а часы и минуты текут, как ручей.

Что весомо и зримо – оседает на землю,
свет роднится со светом, песчинки – с песком.
Вот живым серебром истекло и проклюнулось семя,
полегчавшее тело к земле привязало ростком.

Вот навстречу струе,
разминуясь всегда безвозвратно,
что-то тихо восходит, но с собою – возьмет ли оно?
Выцветают глаза, превращаясь в незрячие пятна,
синеве возвращая то, что было на время дано.

Спи, мой мальчик любимый, живое мое отраженье,
ты пока что открыт для небесных дождей и земных.
Все сейчас для тебя –
и светил отдаленных круженье,
и ручьи, что от губ утекать начинают моих.

И уже между нами двумя по связующим руслам
побежала к тебе – да во благо! – живая вода.
По сродству – неизбежно
радость мешается с грустью,
что с тобой разминусь, направляясь – не знаю куда.

1988

КИНО

Мне снилось страшное кино
с самим собою в главной роли.
Раскручивался киноролик,
и я летел на полотно
экрана. Там среди теней,
похожих тоже на людей,
я сразу в действие вломился
(была завязка такова).
Свои расслышал я слова
и речью пламенной пленился!

Что там творилось!
Был сюжет
закручен лихо, крепко скроен.
Я, рядовой по званью воин,
пригож собою, но примет
иных особых не несущий,
был по натуре – дьявол сущий!

Во вражий проникал я стан,
где всех сумел перехитрить,
красотку-приму соблазнить,
но в спальне примы – капитан
меня был должен застрелить.

Но это – сон.
Вы не забыли?
Сюжетец знал я наперед,
кто и когда меня убьет.
Так что же, быть мишенью в тире?

И, значит, надо разыграть
мне по-иному эту драму:
за полчаса проститься с дамой
и своевременно удрать.

Я все прекрасно рассчитал!

Когда же брюки надевал –
вдруг замер с задранной ногою,
а прима, роль свою любя,
ласкала воздух, про себя
посмеиваясь надо мною.

Я там торчал, как истукан.
Стук в дверь раздался: капитан.
Ору – но с места ни на волос.
«Ты ловок, братец, спору нет,
но писан не тобой сюжет!» –
закадровый промолвил голос.

1988

* * *

Для бездомных любовников крыша нужнее воды,
огонек зажигалки светлее Полярной звезды.

– Прикури сигарету, подай мне...
Молчанье опять.
Путь сближения тайный не надо уже повторять.

Только ветер июньский, заметный едва ветерок,
и бутылка вина, и конфетных бумажек пяток.

– Дай мне руку, не эту; смотри: поцарапал ладонь...
Уголёк сигареты проплывает дугу за дугой.

Привкус губ ощутим на стакане, одном на двоих.
Неслучайны свиданья на холмах городских.

– К нам приехали гости...
– Удача, что нету дождя...
Тихо листья березы прозрачной вверху шелестят.

Загораются в городе окна, в квартирах чужих.
Очень коротко лето, бездомное лето двоих.

1985

СЕРДЦЕ МАРШАЛА. ПОЛЬСКАЯ РАПСОДИЯ

Вспоминают, что был он грозен,
а любил ли цветы – кто знает?
Но приносят цветы на Россу*,
к сердцу маршала прижимают...

---

* На вильнюсском кладбище Россу (Расу) под одной плитой похоронено сердце Ю. Пилсудского и тело его матери. Рядом могилы польских солдат.

А еще здесь лежат жолнежи
в полевой травяной одежде,
и оплаканы, и забыты.
Покосились, осели плиты.

Он, быть может, сказал бы тоже:
– О Литво, ты – как здоровье!
Сердце маршала. Господи Боже!
Человечье сердце, сыновье.

Величаво его надгробье,
все искрится, как черная льдина.
Здесь легли, когда час их пробил,
вместе – мама и сердце сына.

Что ж наделали мы с сердцами –
или сердце делает с нами? –
наши матери плачут над нами
и ложатся в землю – с сердцами.

Храбрый маршал, суровый, строгий,
гнев ты редко менял на милость,
унесли твое тело ноги,
только сердце – не подчинилось.

Засыпает могилы снегом,
оседает на землю небо.
Не молчит под землей и снегом
сердце маршала, молит небо:

– Хоть на час, дозволь возродиться,
телу с сердцем соединиться,
проводить с Бекешовой горки
хоть одну вечернюю зорьку!

Ах какие же здесь закаты
сыплют пригоршни жара в реки!
Ах как тихо лежат солдаты –
в землю вкопанные шеренги.

Маршал, маршал, маршалек польский,
окруженный бесстрашным войском,
вы в земле, как немые в храме,
разговариваете сердцами.

А в Варшаве – сердце Шопена,
В Новогрудке – следы Адама,
а во Львове поет капелла.
Все дороги – ведите к храму!

Пусть услышит Господь молитву.
Как же любят тебя, о Литво,
жемайтийцы, и аукштайтийцы,
и дзукийцы, и сувалькийцы!

Пусть молитву Господь услышит.
Этот город крестами вышит,
во Твою он поднялся славу,
храм единый и многоглавый!

Все сердца в нем должны смириться,
повернуться друг к другу лица,
возродиться в любви и братстве,
призывая: – Живи и здравствуй!

1989

АСОВСКИЙ Виталий Алексеевич родился в 1952 году в Калининграде (бывш. Кенигсберг), жил в Риге, с 1959 г. в Вильнюсе. Окончил филологический факультет Вильнюсского университета. Был каменотесом, сотрудником заводской многотиражки, внештатным корреспондентом республиканского радио, газет, инструктором стадиона «Жальгирис», тренером по атлетической гимнастике. С 1987 г. – редактор отдела журнала «Вильнюс». Первое стихотворение напечатано в 1975 г. Публиковался в журналах «Вильнюс», «Нева», «Аврора» и др. В 1987 г. в Вильнюсе вышла книга стихов. Перевел поэму Ч. Милоша «Город без имени», стихи многих литовских поэтов XX века.

Леонид Гиршович

ШАУБЕТНАХТ
(СМОТРИ НОЧЬЮ)

Сарагосский фронт. Штаб ополчения ПОУМ. 19 июня 1937 года.

Удар в лицо был такой силы, что оказался нечувствителен. За ним ничего не последовало, предшествовало же ему девятнадцать лет, прожитых в бывшем губернском городе Лифляндской – некогда – губернии. Итак, особняк на бульваре Тотлебена, семья светила гинекологии (кажется, странная двусмысленность), жизнь текла ничем не примечательным потоком между постылым благополучием богатого еврейского дома и Лютеровской гимназией.

Муня (Самуил) Фельдман был рыжеватым юношей с резкими чертами лица, с огромным подбородком, которым имел привычку упираться в грудь – когда этаким бычком на что-нибудь смотрел (как Джордж Орвелл, собственно, и описал – читайте у него в «Памяти Каталонии», на первой же странице; между прочим, безымянный русский перевод – исключительный).

Лето семья проводила на взморье. Сам светило гинекологии, плотный, невысокий, с бородою как у Барбароссы, вульгарно потирал руки над тарелкой дымящегося bouillabaisse – под презрительным взглядом кельнера. Напротив сидела мать, на людях из себя вся нимфа, а кто бы видел, как дома бывало алчно она пересчитывала столовое серебро после банкета с наемной прислугой. И между ними сидели мы, два гадких утенка: старшую сестру звали Annette. Муня задним числом полагает, что жизнь бок о бок с неоперившейся девочкой-подростком делает в дальнейшем младшего брата циником: он невосприимчив к идеалу женственности, к очарова-

нию какой-нибудь незнакомки, повстречавшейся – на улице ли, на балу ли, увиденной ли в окошке проехавшего лимузина. Хочешь не хочешь, тут же представляешь себе подноготную этого «мимолетного виденья». А иначе почему пятнадцатилетний гимназист, без любви, лишь по бездушному влечению плоти, Муня спознался с бедной девушкой Терезой (правда, в отличие от него уже не девственной – вследствие обмана со стороны одного женатого человека, – но, с другой стороны, еще достаточно неопытной, чтобы забеременеть сходу, «не мудрствуя лукаво», от этого гимназистика).

Муня свою первую близость с женщиной переживал двояко: среди товарищей, из которых иные только на словах познали «все радости жизни», он ходил с бравым видом, но в глубине души, однако, интимная близость, не освященная любовью, вызывала брезгливое чувство – он словно был втоптан этим в физиологическую грязь. И один рассказ, который он прочитал тогда, Леонида Андреева, показался написанным почти что про него. «Почти что», к счастью, оставляло надежду на иной сюжетный исход.

Между тем, о последствиях своего адюльтера Муня выслушал по телефону. И уже снова пришел было на память сюжет леонидандреевского рассказа, как вдруг мать, тоже, оказывается, слышавшая разговор «от» и «до» – по парному телефону у себя в спальне, – спустилась вниз, властно потребовав назвать имя и адрес звонившей.

Без труда получив и то и другое, она отыскала несчастную девицу, но явилась к ней вовсе не как добрая фея на кухню к Золушке, ибо вместо бала и сказочного принца девице было предложено единовременное вспомоществование и квалифицированный аборт – доктору Фельдману случалось нарушать закон: производить эту нечестивую операцию и без соответствующих показаний.

Об этом Муне стало известно поздней, когда он уже был охвачен своими радикальными идеями (в духе 4-го

Интернационала, а не теми, псевдореволюционными, исходившими от восточного соседа, перед которым бывшая Лифляндская губерния трепетала, будто пушинка на носу у медведя – только от одного его дыхания). После эпизода с Терезой Муня почему-то ожидал, что вскоре имя девушки всплывет на каком-нибудь процессе по делу об отравлении, скажем, старого развратника в публичном доме. И свой приговор Тереза встретит не иначе как криком «не виновата я, не виновата!» И уж тогда-то он, Муня, женится на ней, чем потрясет основы буржуазной морали. Причем Тереза выглядеть будет вовсе не как реальная Тереза – она меняла свою внешность по его усмотрению: то это была Зара Гиш, то Лилиан Леандер.

Осуждавший родителей и их круг, по этой же причине Муня был резко враждебен к шедеврам советской агитки: в гостиной их дома на бульваре Тотлебена произносились самые благоприятные суждения о нынешней России, которая, оказывается, и ничего уже не имеет общего со своей кровавой предшественницей, руководимой маньяками вроде Троцкого; и ЧК если еще и сохранилась, то исключительно занята отлавливанием своих бывших активистов – всех этих убийц времен «военного коммунизма»; и на международной сцене Россия – в лице своего (между прочим, еврея) Литвинова – выступает как полноценная и зрелая держава, образумившаяся в смысле бредовых идей о коммунистическом господстве «a mari usque admare», но зато готовая дать отпор Гитлеру как ведь никто иной. «Начиная с тридцатого года, – слышался Муне голос фабриканта шоколадных конфет Грилюса, по иронии судьбы страдавшего диабетом, – начиная с тридцатых годов, – говорил Грилюс, – фашисты выигрывали все битвы. Пришло время проучить их, и неважно, кто это сделает». И в итоге всех этих комплиментов и похвал, адресуемых сытой буржуазией красной Москве, было достаточно, чтобы Муня уверовал в пра-

воту тех немногих, кто обвинял русских коммунистов в измене революции, делу мирового пролетариата и именем Ленина, Маркса, Бакунина, Прудона, Кампанеллы, Спартака не уставал клеймить коммунистов предателями – предателями всего, что только есть для революционера самого святого. Ликами перечисленных выше добрых гениев человечества, кстати, была увешана мунина комната, а с недавних пор прибавился еще большой снимок: грузовик с восставшими рабочими, пулеметом на крыше кабины и транспарантом с надписью «Partido Obrero Unificado Marxista».

Так Муня Фельдман обрел в жизни, наперекор русскому поэту, и покой, и волю, и счастье разом. Душа священно очистилась – навсегда; отчего физиологическая грязь более была и не страшна, ее пятна тут же выводились словами «Salud, Espana», «Frente Rojo». Муня взрослел – делался защищенней.

В последний день февраля невисокосного тридцать седьмого года он перешел Рубикон: вместо «Luterschule» он поехал в гавань, где в условленном месте его уже ждали. Через несколько часов по подложным документам, на имя некоего Иванса, Муня отплыл моряком на судне, направлявшемся с грузом русской пеньки (той самой, из которой делают веревку) то ли в Дувр, то ли в Гавр – что и неважно.

Adios, разноплеменный город под красно-бело-красным флагом какой-то непонятно-безликой республики, готовой гнуть спину на любого хозяина – и русского, и английского, и немецкого. Но ничего, недолго ждать осталось и тебе. Еще пройдут по твоим перепуганным улицам центурии восставших рабочих, опоясанных пулеметными лентами.

К пятичасовому чаю рассыльный принес маме Фельдман письмо – с папы Фельдмана приблизительно в это время портной на Бонд-стрит снимал мерку, и обратно гинекологическое светило ждали только к понедельнику, а потому о непосредственной его реакции на письмо

строить можно было бы только одни предположения. Что же касается до супруги его, госпожи Фельдман, то ею по лихорадочном прочтении листка, неровно вырванного из школьной тетрадки, была устроена типично дамская сцена – с заламыванием рук, закатыванием глаз, – которую Муня, пожелай он, мог бы описать так живо, словно при этом присутствовал, да он и присутствовал при подобных сценах, и не раз.

Annette, не то куда-то уходившая, не то только что вернувшаяся – она была в шубке, – подняла с пола письмо и тоже ужаснулась. Брат писал:

«Когда это мое последнее к вам письмо вы прочитаете, я уже буду в нейтральных водах, и поэтому всякая попытка отыскать меня будет напрасной. Я порываю с крохотным мирком сытых и богатых, я порываю с теми, для кого остальное человечество на девять десятых есть с к о т д о б ы в а ю щ и й , а на одну десятую есть с к о т п р и с л у ж и в а ю щ и й . Как и всякому честному человеку, такой порядок вещей в мире мне отвратителен и ненавистен, и если где-то, в какой-то точке земли мои единомышленники поднялись на борьбу во имя Революции или даже просто во имя элементарной человеческой порядочности – мое место в их рядах. Эта борьба еще только начинается, и легко угадать, что конца ее я не увижу. Но что бы меня ни ожидало, счастье мое безгранично. Нет большего счастья, чем нести свободу рабам.

И в заключение несколько слов из другой оперы, той, где поется о "презренном металле". Да, верно, я позволил себе им воспользоваться без вашего "благословения". Но поскольку я сразу же заявляю, что отказываюсь от всех своих прав на наследство, эта сумма должна выглядеть смехотворной, по сравнению с такой "жертвой", и уж, надеюсь, предметом серьезного обсуждения никак не явится.

Самуил Фельдман, солдат Революции.

P.S. Отныне я ношу другое имя».

Annette, однако, могла и притвориться, что так уж обеспокоена судьбой брата. Какая она притворщица, Муня знал хорошо – а тут как-никак выходило, что она становится единственной наследницей. Муня сколько себя помнил, столько и бранился со своей сестрой. И разделявшее их ныне расстояние ничего не меняло в его отношении к ней: молодая буржуазка, в скором времени жена и мать себе подобных.

Членом команды Муня состоял недолго и пуще того – только на бумаге. На любом торговом судне в списке экипажа всегда имеется пара «мертвых душ», воплощавшихся на короткое время то в одного, то в другого лжематроса.

Париж – первая большая остановка, если угодно, предварительный сборный пункт для многих будущих героев испанской войны. Подобно греческим воинам, прибывшим в Авлиду для совместного отплытия под Трою, съезжались антифашисты со всех уголков мира в Париж, откуда путь их лежал в Испанию. Муня жил на улице Арфы в маленькой гостинице, которую содержало семейство, говорившее по-немецки. Немецкий преобладал и среди постояльцев. Впрочем, была и группа англо-американцев, некоторые с женами. Все они, как и Муня, включая и женщин, рвались в бой. Жили они только мыслями об Испании, на каждую приходившую оттуда новость жадно набрасывались, и от нее – от какого-нибудь выступления в кортесах или от газетной заметки с фронта – зависело, были люди счастливы в этот день или глубоко несчастны. В кафе «Касабланка», за «Одеоном», по вечерам исполнялись песни об испанской войне, сложенные немецкими антифашистами. Засиживались в этом кафе далеко за полночь под звуки тревожных песен-маршей с их затяжными «полощущими» горло RRRR:

Ruhrt die Trommel! Fallt die Bajonette!
Vorwarts, marsch! Der Sieg ist unser Lohn!

Mit der roten Fahne brecht die Kette!
Auf, zum Kampf, das Thalmann-Bataillon!
Die Heimat ist weit...

У Муни в глазах стояли слезы. Когда-то Англия сотворила свою Италию – заставив в конце концов весь мир свое творение признать. Настал черед Германии, изгнанной из Германии, сотворить свою Испанию.

Die Heimat ist weit,
doch wir sind bereit.
Wir kampfen und siegen fur dich:
fur Spaniens Freiheit!

– пел певец, и Муня тут же переставал помнить, что за этим пением, этими словами, этой мелодией стоит Коминтерн – предавший Революцию; вслед за фабрикантом Грилюсом он мог бы повторить: неважно, кто их пишет, эти песни, – коль они вздымают на борьбу с фашизмом.

И вот уже поезд, вагон, последние станции с развевающимся на флагштоке триколером, город Перпиньян, горой стоящий за республиканцев, его антипод Банюльс, не скрывающий своих симпатий к фашистам по ту сторону границы – на перроне кагуляры, точней, их кагулярши, раздавали листочки, агитировавшие за Франко, с перечнем разграбленных и разрушенных церквей и с именами расстрелянных попов и монахинь во время июльских боев в Барселоне.

Барселона!.. Змеей в глазницу черепа вползает наш поезд под закопченный козырек вокзала Сантс (на, получай – ибо Барселона, усилиями какого-то сумасшедшего, сделала дословной метафору о пустых глазницах окон, не позабыв при этом снабдить их черными ресницами балконов; то, что выстроенную тем же «гением» церковь, с настоящими кеглями заместо башен, коммунистические пули в июле старательно облетали, свиде-

тельствует только о буржуазном вкусе коммунистов: тем, кому нипочем было разрушить самое величественное здание во всей Москве – Храм Иисуса Христа (или как он там?), оказалось жаль какого-то кегельбана. Анархисты или мы, поумовцы, так бы долго с этой дурой, Sagrada Familia, не чикались, но тогда ПОУМ вел бои в Гарсии, паля прямой наводкой из своих трехдюймовочек по виллам тамошних сеньоров).

Перебросив через плечо свой сак, Муня широким шагом направился записываться в бойцы Революции. Под вокзальным порталом, настоящей триумфальной аркой, только испещренной резьбой в мавританском стиле и, кажется, еще не так давно закрывавшейся чугунными воротами – видимо, Революции понадобился чугун, а на воротах было к тому же воспроизведено что-то контрреволюционное, – расположились чистильщики сапог. На пронизывавшем арку низком утреннем солнце медь на их сундучках сверкала будто с целью рекламы. Наводить глянец на чужие сапоги не дело победившего пролетария – Муня немедленно осудил про себя этот реликт буржуазного и даже колониального владычества. Разве что это было как ч и с т и л и щ е (символически – и тогда простительно), как переходная ступень к гулявшему снаружи, на площади, по эспланаде, социализму. Бульвары с дорожками для верховой езды уже с раннего утра заполнила городская беднота, повсюду мелькали синие комбинезоны, у иных схваченные армейским ремнем, немало было и женщин, одетых по-революционному: в брюках, в красных или черных косынках – и в такие же цвета украшена была Барселона, причем флаги не только торчали из высоченных железных «голеницы», привинченных на уровне первого этажа (еще, небось, для монархических торжеств), но прямо росли из земли. Ничего подобного Муня не видывал: словно кротовьи норы, были пробуравлены отверстия на стыке тротуара и стен домов, и в них вставлялись фла-

ги, черные, красные, каталонские, других революционных провинций. Таких «обсаженных» флагами домов было полно и на бульваре, своим названием так странно перекликавшемся с топонимикой бывшей Лифляндской губернии: Р а м б л а . Муня шагал по нему уже целую вечность – под песни-марши, летевшие из вторивших друг другу стоустым эхом репродукторов, – шагал и с трудом удерживался, чтобы не показывать поминутно прохожим кулак «в салюте». Зато наверняка каждые сто метров он спрашивал дорогу к Ленинским казармам, произнося при этом слово «товарищ» не реже, чем иной приказчик говорит вам «сударь».

В Ленинских казармах (до победы в июле – конногвардейских) оформление бумаг и выдача обмундирования заняли полдня. К двенадцати, к часу, Муня был уже обладателем удостоверения ПОУМ. Теперь на нем была куртка с косыми карманами, сгодившаяся бы Гаргантюа, «типичное не то» – по любимому выражению папы-гинеколога. «Типичное не то» собою представляли и вельветовые бриджи: тоже, как минимум, на два номера больше, так что походили они скорей уже, чем на бриджи, на казацкие шаровары. Еще хуже было с непривычки управляться с обмотками – в данном случае их стоило бы называть р а з м о т к а м и . Но всем этим «проискам бесенка контрреволюции» (включая и ботинки, от бесчисленных починок ставшие раза в полтора тяжелее своего первоначального веса) противостояло четкое виденье задач рабочего класса, а еще, не в последнюю очередь, легендарная кожаная пилотка, в мгновение ока преобразившая какого-то там ливонского Муню в бойца испанской революции высочайшей пробы.

Став сразу кряжистым, квадратным, Муня разглядывал штабную карту с отмеченной на ней флажками линией фронта – и вдруг, сам не понимая почему, спросил какого-то типа, долговязого, высоченного, ну, типичного англосакса:

– Italiano?

– No, ingles, – ответил тот. – Y tu?

Чтобы как-то оправдать нелепость своего вопроса, в замешательстве Муня пробормотал:

– Italiano.

К счастью, англичанин не знал по-итальянски, и их никто не слышал. Муня заторопился, они обменялись рукопожатием, причем на мунином лице выразилась решимость, вся, на какую он только был способен. (Спустя несколько месяцев случай свел их снова, это было на какой-то железнодорожной станции, кажется, в Лериде. Англичанин Муню, понятно, не узнал. Они стояли на перроне и оба не сводили глаз с проезжавших мимо платформ, груженых пушками. «А все-таки война, несмотря ни на что, – славная штука!» – прокричал наконец англичанин, наклонившись к самому мунину уху. Муня и сам глядел как зачарованный на пушки, по детской привычке считая вагоны. Действительно, прекрасен вид орудий, когда знаешь, что они т в о е г о п о л к у. «Вступив в ополчение, я дал себе слово убить одного фашиста – в конце концов, если бы каждый из нас убил по одному фашисту, то их скоро не стало бы совсем», – продолжал англичанин, стараясь перекричать грохот железнодорожного состава. Случайные встречи в сражающейся армии дело обычное – почитайте Толстого, – но все же не больше двух раз за войну.)

Ратный труд, пока их полк («колонна») находился в Барселоне, был не в тягость: они немножко маршировали на большом мощеном дворе – мощеном по-барселонски, т.е. отлично, – немножко учились обращаться с оружием, главным образом в штыковом бою, для чего в распоряжении каждой роты («секции») имелось два человекообразных чучела и несколько ружьеобразных палок – зато с настоящими, без дураков, штыками. На одном из занятий Муня был даже немножко ранен. Отрабатывался несложный прием бросания гранат во время атаки. Несколько солдат бежало с учебными винтовками в одной руке и учебными гранатами в другой – «с винтовкою

в одною и саблею в другою», приблизительно так. По команде тениенте (мл. лейтенанта) боец кидал гранату – символически вырвав зубами шпильку и развернувшись всем корпусом для хорошего замаха. Но один из ополченцев – черт его побери! – перепутал, что в какой руке держать. Уже в последний миг сообразил он, что замахивается винтовкой, а гранатой запустить может только в обратную сторону. Что, недолго думая, и делает. Граната – оловянный лимон в фунт весом. Так нежданно-негаданно Муня разделил судьбу Голиафа. В тот вечер с забинтованной головой – увенчанной пилоткой – он гулял по набережной, не то и в самом деле ловя на себе взгляды чаще обыкновенного, не то приятно на сей счет заблуждаясь.

Другое ранение было из настоящего оружия, и виноват был не кто-то, а он сам. Накануне их привезли «на позицию» – фашистские окопы располагались метрах в шестистах от наших. Когда наступила очередь Муни идти в караул, ему дали винтовку, показав, как заряжать и при этом зарядив. Муня зорко вглядывался в линию обороны врага, винтовка лежала на бруствере, как на прилавке тира. Иногда Муня брал ее в руки и прицеливался: палец на спуске, щека чувствует прохладно-влажную вытертость дерева. В окопах классового врага, казалось, было пусто – только вдруг опровержением этому высовывалась половинка человечка, говоря как бы Муне: Муня, будь бдителен. К нему подошел боец Маурисио, андалузец, и тоже стал смотреть. Вскоре половинка человечка появилась снова, но на сей раз, посновав влево-вправо, позабыла спрятаться, точно сознавала: снайперов в рабоче-крестьянской армии, по крайней мере на этом участке фронта, нет. Андалузец Маурисио показал знаками Муне, что, мол, давай, подстрели. С секунду Муне было страшно: он еще никогда ни в кого не стрелял, но медлить значило выказывать преступную слабость, а главное, заронить в душе испанца подозрение, что ты жалеешь фашистов, а то и вообще, глядишь, сам фаши-

стский шпион. В полку, который они сменили, было обнаружено сразу два шпиона. Шпионов, как правило, доставляли в штаб – находившийся неподалеку, на склоне горы, в бывшем помещичьем доме, – где после недолгого допроса расстреливали. Однако Муня слышал, что случались и недоразумения. А тут подошел другой испанец и тоже стал весьма красноречиво сгибать и разгибать указательный палец и щурить один глаз. Да и классовый враг продолжал куражиться – щеголял своей неуязвимостью. Муня, как ему и советовали, зажмурил левый глаз, указательный палец положил на курок и стал целиться. Только, надо сказать, целился он из русской шестилинейной винтовки образца 1869 года – из тех, что вредительски были присланы Москвою, о чем впоследствии московские же газеты и писали, требуя справедливого возмездия для изобличенных предателей (их именовали, по гнусной советской манере, «троцкистами», а надо б – «сталинистами»). Посему и целился Муня совершенно напрасно – сам легендарный Пандар был бы здесь бессилен. Муня взял немножко выше, потом чуть ниже, затем – волосок левее, волосок правее; когда он оптимально навел на цель – приклад упирался уже не в плечо, а в его крейсерский подбородок...

Чудо еще, что после выстрела зубы остались целы. Залитого кровью, в абсолютном нокауте, Муню унесли – в душе дивясь, что такое могло произойти с иностранцем: в глазах испанцев заграничное всегда лучше; но и по той же причине, если не радуясь, то про себя злорадствуя, ибо особого расположения к чужакам, явившимся невесть откуда, невесть по чьему приглашению, среди их испанских однополчан тоже не наблюдалось. (Потому же испанец мог обожать тебя в глаза, а за глаза поносить, делая то и другое от всего своего испанского сердца.)

В лазарете при штабе полка, куда его дотащили на носилках (расстояние 4 километра), Муня пролежал че-

тыре дня с необычным диагнозом «сотрясение челюсти». К тому времени он уже был не вполне тем Муней, которого на Ленинском плацу хлопнуло по лбу учебной гранатой. Между первым и вторым ранением накопилось много впечатлений – все они, как нетрудно догадаться, были не в пользу идеального социалистического братства. Говоря просто и прямо, Муне приходилось постоянно зажимать нос. Сказывалась не только привычка к канализации – известное мунино высокомерно-презрительное отношение к разным там «матерьяльностям» (также и помимо благоприобретенных – все понятно?), дома выразившееся в неоригинальном революционерстве барчука, имело где-то глубоко в основе своей личную брезгливость: дух брезговал плотью, и это когда кругом все обслуживают человечье мясо, молятся на него – каждый на свой лад, кто с помощью гинекологических инструментов, другие, как Annette, всю жизнь искавшая (по Муне, так с самого рождения) себе мужа. Но вот выясняется, что то же и у революционных бойцов: революция прекрасно согласовывалась с их физиологией. Последней они дорожат не меньше, чем первой; в этом они были чистыми буржуями – вместо того, чтобы очистить себя революционным парением. Муне трудно объяснить словами, но он чувствует: повсеместные нечистоты, жирная, отвратительного вкуса пища, невозможность напиться простой воды, а вместо нее хождение по кругу этой фляжки, из которой бьет винная струя такой силы, словно из коня (это была, покуда мы стояли в Барселоне, самая страшная пытка: к обеду только вино, с водой плохо), так вот, он чувствует, что не случайно все это – то, что так мучительно ему видеть, обонять, есть. Тут свой страшноватый смысл, а не – как он себя уговаривает – усугубление нарыва перед тем как прорваться и гною уйти раз и навсегда. С гноем уйдут тогда и Педро, и Рамон, и Роке, и Хаиме, и Себастьян – которые очень привязаны к своим телам. Значит, на

смену прежней гинекологии – толстых – грядет новая, хуже, потому что без антисептики. И потом, что уж совсем не лезло ни в какие ворота, – то, что революционеры друг у друга крали. Собственно, когда его обокрали – кошелек с недельным жалованьем и банку сливочных бисквитов, купленную в дорогой кондитерской, – Муня и обиделся на Революцию. Он дулся на нее несколько дней, потом простил, потом снова что-то произошло, он снова оскорбился. Да и на фронт их тоже отправляли не как прежде – в городском парке позади Plaza de Espana устраивался митинг, с цветами, с музыкой, женщины подбегали к уходившим строем ополченцам, суя каждому что-то «на дорожку». Нет, их увезли ночью, тайно – как гроб с Пушкиным. Причины столь унизительной конспирации были яснее ясного: городские власти теперь старались потрафить не рабочим дружинам, а недавно созданной буржуазной Народной армии. В результате был недополучен заряд-другой революционного воодушевления, который поддержал бы Муню в тряском, тоскливом, а главное, безводном – по вагону гулял все тот же «паррон» с вином – пути на фронт.

Политические новости из тыла на театр военных действий поступали с опозданием, а то и вовсе не поступали – это всегда было и будет, какой-нибудь Оглы Мирзаевич будет бежать с криком «Уррра!», а в ту самую минуту его жену, детей и весь его родной аул сажают на грузовики, и Москва кует за указом указ. Конечно, Сарагосский фронт был не так далек от Барселоны, как Кенигсберг от какой-нибудь Халды-Балды, тем не менее ни Муня, выписываясь из лазарета, ни его соратники в окопах не знали, что в этот день в Барселоне, после недели спорадических перестрелок, сопровождавшихся расковыриванием брусчатки, ПОУМ был объявлен вне закона, а его сторонники разоружены и арестованы. По-прежнему над их позицией, когда Муня возвращался, ре-

яло красное знамя с буквами П.О.У.М. Андалузец, осмотрев мунину челюсть, отмеченную следами мастерского удара, решил сделать товарищу приятное. «Тот фашист после твоего выстрела уже больше не показывался, – сказал он. И прибавил, подумав (о том, наверное, что доставленное товарищу удовольствие все же следует приправить дегтем): – Надеюсь, что пуля прошла достаточно близко, чтобы фашист подскочил».

Прошло еще недели три сидения в окопах. Солнце жарило, воды не было – только вино из этого кошмарного «паррона». Тут же за мешками с песком смердели отбросы пищи во всех ее ипостасях. Никаких потерь рота не несла – ни убитыми, ни ранеными, ни пропавшими без вести (в Народной армии дезертиров расстреливали на месте, но в отрядах ПОУМ, состоявших из добровольцев, их просто-напросто не было). Фашистские аэропланы, если и пролетали, никогда их укреппункт не бомбили: отдельные снаряды, которыми время от времени противник в них стрелял, ближе чем в пятидесяти метрах еще ни разу не взрывались. Муня воевал исключительно с жарой, вонью, грязью; со своим подавленным состоянием. О том, что враг может представлять лично для него какую-то опасность, он даже думать забыл.

Наступило 19 июня. Прибывший в четыре утра вестовой из штаба сказал, что предстоит передислокация, их перебрасывают в Уэску, где готовится наступление. Уэску наконец собираются взять, а пока восьмерых из них, и в том числе бойца Иванса, с полной выкладкой вызывают в штаб. Радостно-возбужденный, Муня скатал одеяло. Его ждали перемены: бой, атака. Прочь из тупой бессмысленной темницы, зовущейся окопом! И вообще, что бы ни произошло, это будет лучше, чем когда ничего не происходит – изо дня в день одно и то же ни-че-го.

«Смотри!» – изумился Хаиме, когда они уже подходили к штабу. Действительно, над ним развевался республиканский красно-желто-пурпурный флаг, часовой

же был в коричневом комбинезоне солдата Народной армии. Очевидно, переброска отрядов ПОУМ уже началась. Когда они хотели войти (пароль был cultura, отзыв progreso), к ним подошел человек в гражданском, лучше сказать, человечек – хилый, маленького росточка. «Ага, вы уже здесь, отлично, – в них невозможно было не признать ополченцев. – Иванс». – «Я», – отозвался Муня. «Пойдемте со мной, остальным немного надо подождать». Он говорил с каким-то акцентом, но, во-первых, в республиканской армии с иностранным акцентом говорила уйма народу, во-вторых, Муню куда больше занимало оказываемое ему предпочтение перед остальными – он не знал, должно было это ему льстить или наоборот.

Странно, они входили – Муня, лежавший в здешнем лазарете, узнал больничную каптерку...

И тут все полетело кубарем: тускло горевшая при свете летнего дня лампочка над входом, дверной косяк, рванувшийся к тебе... Был ли это снаряд? Было ли это прямым попаданием авиабомбы? Мысль, что ты погибаешь... нет, мысль просто не поспела. Удар в лицо был такой силы, что оказался нечувствителен. За ним ничего не последовало, а то, что предшествовало ему – девятнадцать земных лет, – забылось под навалившимся на дыхание грузом... счастья...

* * *

Долго ли, коротко они летели, но волк и говорит Иван-царевичу: «Душа моя. Тряпичкин, шлафен, ich will schlafen, шлафен...» Они снижаются, сладко кружа над белым полем, белое ширится, как боль, как тупая боль от шлема на голове. Поле широкое, круги все шире, почему же шлем тесный – есть же место... Хорошо, что поле снежное и снежная пыль. А волк во рту – грузный, тяжелый, еле ворочается. «Шлафен... schlafen», – шепчет Муня по-немецки.

Сухой закон джунглей во рту. Некто, еще не названный, пробует облизнуть сухие губы сухим языком, растущим из пересохшего колодца. Из «паррона» струя могла быть послана с любого расстояния любым и каждым тебе в рот. «Паррон» – первый образ на пути к пониманию. А понять надобно было, что это т ы ; что ты лежишь на спине и соединил большой палец с указательным. Пока что все. Он поймал себя в этой точке: ощущение двух соприкасающихся пальцев. Дальше, после того, как первый следок самого себя был обнаружен, все остальное, ч е р н о т а п у с т о т ы возвращала легко, без препятствий. Как катушка, покатившаяся по склону, мысль разматывалась скорей и скорей, пока не обрисовала собою все тело, не смея приблизиться только к источнику своему – к голове. Ноги, руки, суставы, живот, потом грудь, выше – с опаской уже – плечи, ключицы, шея – пока что все здорово.

Ночь, темно. Пальцы нерешительно карабкаются на подбородок – крутой уступ, но они альпинисты. Дальше продвигаться страшно, уже что-то начинает чувствоваться. Вот два помертвелых лепестка губ, никогда еще никто с такой нежностью к ним не прикасался. Трепетным насекомым взбирается палец по краю ноздри. Запах пальца. Запахи убили революцию, с запахами у нас всегда было н е п р о с т о , говоря словами тех, кто со сменой политического курса уж и не знает, как примирить черное с белым...

А-а! Палец перестал ощущать кожу лица, сразу за кончиком носа начиналась... Мне жутко! Мысль уже вполне сделалась здравой: ранение, тело цело и невредимо – голова. Только ею и не осмеливаешься качнуть. Палец полз по бесчувственной шершавой круче бинта, очевидно, толстой горой обматывавшего середину лица: щеки, нос, брови. На лбу снова обозначилось щекотание пальцев. Ах, вот оно что... Панически рука ощупала уши, затылок, провела по макушке. То, что стряслось, –

стряслось по обе стороны переносицы. И сие не сон. Обеими ладонями закрыл раненый лицо... убедился: вместо глаз выпучены бинты. Выпучены так, что никакой возможности нет понять, уцелело ли что-то под ними. Оставалось лишь слушать боль. Исследовать ее, ухватить за ниточку, проследить, откуда тянется. Боль была переливающейся, головной – в сущности, хорошо знакомой. Ее нельзя было локализовать, это обнадеживало. Во всяком случае, к глазницам она не заострялась. Нет-нет, под бинтами ничего не болит, ничего не чешется, никакого жжения... или... может, именно немножко жжет? Да Боже мой, не всякая же повязка означает слепоту. Только бы узнать скорее правду.

Муня не решался стоном или словом призвать на помощь незримый медперсонал. Своеобразная гордость мешала это сделать – звать неведомо кого, авось, услышат. Это ведь то же самое, что кричать «караул!» посреди темной улицы. Муня скорей позволит себя зарезать, чем закричит «караул!». С другой стороны, если глаза забинтованы, то как же они узнают, что я пришел в чувство. Он нашел способ дать им об этом знать, не унизив себя. Вполголоса запел он:

Una resolucion,
Luchar hast'al fin!

«Заткнись», – раздалось из-за муниной правой ноги – довольно далеко. Наверное, это был какой-то тяжелораненый, от физических страданий разочаровавшийся в Революции. Снова стало тихо. Муня прислушивался, он ч у я л людей около себя, таких же, как он, безмолвнонапряженных. «Заткнись» донеслось издалека, а весь промежуток мог быть выложен другими ранеными, посдержанней.

А лежал-то Муня не в помещении, а прямо на земле: незабинтованные лоб, подбородок, губы были подстав-

лены жаркому, как из пустыни, ветру. Под рукой травка, камни, комья, что-то укололо в ладонь – осколок стекла? Осторожно. Голова низко, едва ли не запрокинута.

Муня смутно припоминает, что это уже когда-то было: санитары спешат с носилками, окровавленные, перевязанные наскоро раненые – кто сидит, кто полулежит, а кому совсем плохо. С завязанной головой седоусый ветеран удивленно смотрит перед собой, а молоденькому солдатику – тому совсем плохо. Вдали тенями проезжают главнокомандующий со свитой на лошадях. Один офицер обернулся в сторону раненых, но внимание остальных поглощено происходящим в долине сражением. Вопрос: что это и где ты это видел? Опрометчиво Муня загадал: вспомнишь – все уладится...

Но мысль не клюнула. Гнездо, где роятся мысли, гудело болью – мысли ее, эту боль, истолковывали: где она расположена, непосредственно ли под повязкой? Но так как это была не единственная боль, не один голос – их была разноголосица, – то задача казалась непосильной. Нельзя, чтобы все сразу бросились ловить всех – надо разделиться: одни заняты поимкою одного, другие – другого. В стратегическом отношении план идеальный, но Муня опрометчиво – миллион раз опрометчиво – загадал: если вспомню, все будет в порядке с глазами... (Речь о полевом лазарете: седой воин обиженно таращится п е р е д с о б о й, раненые – на траве, продолжавшейся объемно до самых муниных ладоней... Ну, где же ты это уже когда-то видел?)

Опрометчиво – ставить условия своей памяти, никогда она их не примет, только с ума сведет. То были танталовы муки чистой воды: безымянное воспоминание бывало почти что узнано, когда ускользало в последний момент. Оставалось искать по квадратам, другого способа нет. Надо свою жизнь разделить на квадраты... Извиняюсь, а что если такой же метод использовать в поисках болевой точки в голове? Тоже разлиновать ее как гло-

бус... Это голову-то? Голову, да. И квадрат за квадратом идти. Голову не получится, Муня.

Головная боль, между тем, если не очень привередничать, даже убывала. И как со всяким обмелением остаются на суше разные вещи, так и с обмелением боли явственно сохранилось жжение (резь) в глазах, чувство бы вполне переносимое, кабы не ужас, который оно внушало, – ровное, ни на миг не отпускающее жжение. И, конечно, благоухало все – что тоже типично, после того, как вода сбыла. Обоняние будто бы лишилось каких-то фильтров, предохранительных колпачков, в душном ветре вихрились мириады запахов, тончайших, оттенки оттенков.

«Ох, глазоньки мои, глазоньки...» – заохал кто-то совсем близко, с той бесхитростной меткостью человка из простонародья, на какую не способен ни один рефлексирующий интеллигент. Для последних меткость эта и оскорбительна и благотворна – как оплеуха против истерики (это относится и к хождению в народ).

Это относилось к нему или говоривший имел в виду себя – Муня так и не понял. Возникло чувство, что о н и всё знают, только он – ничего. Однако они не столько ему противостоят (подтрунивая над неловким барчуком, как, мнительному, тому кажется), сколько отрезвляюще дают барчуку понять: он не один, поэтому попроще надо, попроще.

Муня молчал, вместо того чтобы окликнуть соседей, расспросить – о себе, о них. Первая ласточка из внешнего мира его и отвлекла, и насторожила: а если т о т – о своих глазах, о которых ему уже что-то доподлинно известно? Это ведь не означает, что и с мунины-ми глазами обстоит точно так же. А есть здесь, наверное, баловни судьбы – всего лишь с рукой на перевязи или с простреленной ногой...

Муки неведенья продолжались недолго, ужасная правда открылась быстро. «Здесь собраны раненые бойцы...» – прогромыхал над головой голос – говорившего

явно в рупор (к какому же числу людей он обращался в таком случае!). «Здесь собраны раненые бойцы со всех участков фронта, потерявшие зрение. Положение трудное. Фашисты прорвали линию обороны под Фрагой и пытаются окружить 29-ю дивизию. Санитарных машин очень мало, и они перевозят только тех, кто не может самостоятельно двигаться, – бойцов с ампутированными конечностями или другими тяжелыми ранениями. Вам предстоит выходить из окружения своими силами. Каждый получит необходимый запас питья и продовольствия, а поведет вас собака-поводырь Люцифер, знающая дорогу. Вы будете держать ее за поводок – он такой длины, что его хватит на всех. Но запомните, кто хоть на миг выпустит поводок из рук, тот пропал. Каждые три часа по звонку будильника, подвешенного к ошейнику, собака останавливается. Как только снова зазвенел звонок, она идет дальше. В конце пути вас будут ждать и о вас позаботятся».

Голос, хоть и гулкий, показался бы Муне в иных обстоятельствах знакомым; впрочем – может быть, лишь акцент, делающий все голоса «на одно лицо». В любом случае, сейчас ему было не до этого.

Пространство – воспринимаемое на слух – сразу наполнилось шумом (горестных междометий?), а тот же голос то же повторял уже в отдалении, для других: «Здесь собраны раненые бойцы со всех участков фронта, потерявшие зрение...»

Потерявшие зрение. Приговор обжалованию не подлежит.

Он сделался слепым.

Это было так огромно, необъятно, постижимо лишь в крошечной своей части, что даже не пугало. Вообще о слепых: до сих пор слепых Муня просто не замечал. Лично он не знал из них ни одного – и, наверное, по малодушию знакомиться бы не захотел. В отдаленной перспективе, конечно, наука будет вправлять ослепшим новые глаза, но пока, пока это неосуществимо... Сло-

вом, здесь даже вот такая фантасмагория: если б в некой безвыходной ситуации городу потребовалось откупиться от дракона десятью жизнями, бургомистр Муня предпочел бы все десять отнять у слепых: все равно слепые – это почти то же, что мертвые, их окружает та же черная пустота, смерть им, верно, и не страшна. Сейчас Муне представилась возможность на собственном опыте убедиться, верно ли это. Верно ли, что человек прежде всего в и д и т?

Уже одно удивило бы прежнего Муню – в самом себе, теперешнем, слепом: никакой апатии. В связи с «крестовым походом слепых» (другого названия не подберешь) он оживился, словно перемена мест все еще сулила ему яркие впечатления. Казалось бы, яркие... цветные... картины мира – все, прощай! А он тем не менее оживился. В минуту позабыта и резь в глазах – или на месте глаз? – которой он до того почтительнейше внимал. А что! В рассуждении его величества организма что глаз, что зуб – даром зрячий готов всеми органами пожертвовать и физически себя как угодно обкарнать, только б этот, «равноценный» зубу или ногтю, орган сохранить. (Вот Карабас дает Буратино червонцы – что он при этом говорит: береги пуще глаза там что-то. «Золотой ключик» гр. А. Толстого им с Annette читала некая Ольга Артуровна, душившаяся со своим мужем одним и тем же немецким одеколоном, которым от мужа пахло вперемешку с потом – хаузмейстер Козловс приходил иногда что-то приладить, ввинтить лампочку. Неожиданно вспомнился и этот неприятный и путаный запах, а заодно уж и как противно сердится Annette, которую Муня щиплет, покуда читался «Золотой ключик».)

Он стремительно приподнялся на локте – поскорее бы отправиться уже. Будущее сохранило свои свойства в а к у у м а: оно влекло – но измерялось отныне минутной, ну, часовой стрелкой. Мудрец и слепой далеко не заглядывают – гласит какая-то там мудрость, а так как де-

вятнадцатилетний тоже и, следовательно, Муня выбивал «два» из «трех возможных», – то уж, надо полагать, он не имел причин задумываться, ч е м на деле является экспедиция слепых с собакой-поводырем во главе. (Ну чем не разновидность Крестового похода детей – «Крестовый поход слепых»: горы, камни, война идет... Чей это был безумный план?)

В кулаке поводок. В памяти предостережение: «Кто хоть на миг выпустит поводок из рук, тот пропал». Это был очень прочный ременный жгут, убегавший вперед. Чтобы за ним следовать во всех смыслах слепо, надобно было побороть в себе инстинктивную осторожность двигающихся на ощупь, а для этого требуется абсолютное доверие к проводнику.

Началось с того, что на тебя – на тело, на лицо, куда попало – шлепнулось... Муня прижал это к себе – то был жгут. «Не выпускать, не выпускать», – раздавался голос, один и тот же, то там, то сям – будто с тобой играли в жмурки. Одновременно на живот легла торба: рука нащупала в ней флягу и кой-какой провиант.

«Всем встать, лицом против ветра... Всем встать, лицом против ветра...» Муня почувствовал, как ожил жгут. Он поспешил повесить торбу через плечо и стал на ноги. Еще качало. Повернулся в одну сторону, в другую, в лицо задуло явственней. Поводок натянулся, Муня вцепился в него мертвой хваткой – и как подал сигнал: почти мгновенно оказался перед необходимостью перебирать ногами землю.

Это состояние – человека, которого волокут, – держало в таком напряжении с непривычки, что душевных сил просто не оставалось на то, чтобы, скажем, ужаснуться. Каково было ступать всякий раз в пустоту – под ногою лишь в последнюю секунду чувствуя опору, и то не шире следа от собственной подошвы, словно это тебе подставляет руки умонепостигаемая с и л а .

Муня никогда не страдал высотобоязнью, зато сохранил из своих детских фобий одну, которую психоло-

ги определяют как сугубо возрастную: этакий инфантильный солипсизм – за гранью видимого нет ничего. С и л ы , которые тебя морочат, могут имитировать и шаги горничной, и голоса родителей, и аннетин – все равно по ту сторону (чаще всего это означало ту сторону двери «ватера», где Муня как раз засел) пропасть.

Отныне такого рода фантазиям было где разгулять-ся – аж до спазмы, именуемой акрофобией; отныне лицо (недавно еще цветная открытка) чернело провалом, слившимся с бездною под ногами, – а что идешь все же, ступаешь по чему-то, так это какой-то джин, какой-то вихрь адских исчадий подставлял (из своих неведомых адских побуждений) ладошку за ладошкой – но никакой уверенности не было, что в следующий миг нога не провалится... Оттого так Муня вцепился в жгут – словно был готов на нем в случае чего повиснуть.

Уж сколько времени он мучился жаждой – потом забывал об этом: не было сил отвлечь свое внимание, достать одной рукой фляжку. Ляп-ляп-ляп изнутри (издаваемое разлипавшимися губами, отлипавшим от неба языком) было неотличимо от такого же шлепанья снаружи: якобы по Арагонскому нагорью, опаленному, обветренному, плелась слепотысяченожка... Или чудища, и всякие демоны, и все ужасы, впрямь сгрудившиеся позади г о л у б о й ф а н е р ы (давеча сгоревшей), только звукоподражают, а на самом деле никого нет, он, Муня, один?

Чтобы рассудку не сорваться с карниза, он вытянул перед собой руку – проверить: кто впереди, чья спина – или перепончатое крыло? Или ладонь будет хватать одну пустоту? Только не успел, стальные клещи стиснули ему плечо.

– Mamita mia!

В затылок полыхнуло стоном облегчения – передававшегося и ему.

Чары как сдуло.

Простейшая мысль: а зачем так держишь – будто упадет? Это относилось к поводку. Левая рука теперь без усилий лежала на уже досконально изученной горбушке ременного жгута. Стало возможным даже касаться его кончиками пальцев, а то и совсем на секунду отдернуть их и тут же назад («как будто летать учился»), или опуститься на соседнюю кожаную горбушку – но не дальше, на далекие полеты рука еще не осмеливалась. Муне и так уже раз «утешительно» отдавили пятку.

Тем не менее прогресс был очевиден, и от этого становилось легко на сердце, как «от песни веселой». Настроение было отличным, на память приходили разные события, следуя неисповедимыми путями ассоциаций. А когда душевная бодрость сообщилась телу, да так, что уже и голод пробился сквозь жажду, как росток в пустыне, и пришлось свободной рукой нащупывать флягу в торбе – чтоб росток голода полить, тогда-то все движение и прекратилось; ремень повис – Муня чуть его не выронил. Значит, они уже три часа как шли, и собака Люцифер остановилась по будильнику... по одному из своих будильников, которые, небось, болтались на ней призовыми медалями.

Садясь – и придерживая поводок – Муня наткнулся на... странное чувство – ощущать в кромешной тьме торс в натуральную величину. «Эй, ты кто?» – его тут же окликнули, но он не захотел говорить ничего, не хотел слышать звук собственного голоса. Он был не прочь послушать, о чем говорят вокруг – люди, чьи тела можно было теперь только лепить из мрака, – но те тоже друг друга словно «избегали». Слышались шорохи, звуки, даже реплики – и ни одного диалога, никакой переброски фразами.

Устыдились. Своего общего позора, скромники. А какие скоты были, какие безмозглые животные!.. Так теперь Муня думал о революционерах. Не о революционерах, конечно, – в праве так зваться он им давно отказывал, много чести. Это была роковая ошибка: револю-

ция должна была начаться в другой стране, не такой отсталой, как Испания (кому приятно сознавать, бедный слепой Муня, свое банкротство).

«Свинство!» В гневе Муня вскричал это по-испански, на языке адресата – во фляжке была не вода, а вино – теплое, недостаточно жидкое. И ничего не попишешь – придется пить.

В сердцах сминая в пальцах хлебный мякиш и давя вареную фасоль – добытые в торбе, – Муня подносил рот к горсти, как к корытцу, разве что не хрюкал при этом; нельзя однозначно объяснить, почему он так ел, кому на зло. А теперь глоток из фляги и – Viva Espana, как кричали фашисты из своих окопов.

И всегда предстоит есть вслепую – всегда-всегда. Только этому «всегда» быть-то осталось недолго – нужно правде смотреть в ее выбитые глаза. Фашисты больше не кричат «Вива Эспанья!» из окопов, они кричат это на бегу, штыками добивая раненых. Черный гной из прорванного фронта вытекает на юг – слепые для отступающей, для окруженной армии обуза. Да и к тому же слепые, они – что мертвые, им терять нечего, я ведь знаю, как в массе думают: тут самим бы успеть. Бросили слепых, это ясно. Как Хензеля и Гретель, сейчас уведет их в чащу собачка-поводырь... когда это было? Они с Annette сидели в театре, на сцене дровосек в синей блузе боится глянуть в глаза своим детям:

– Ihr setzt euch hierher, haltet euch warm, ich sammele Holz und kehre zu euch zuruck.

В зале полно детей, «Хензель и Гретель» дается только перед Рождеством. «Ну, как там "Хрензель"?» – весело спрашивает отец, повстречавшийся в дверях дома, – и пальцами из-под своей рыжей бороды делает Бабу-Ягу.

Вот Муня и заглянул правде в ее выбитые глаза: тут и здоровым-то, и зрячим не успеть из окружения выйти. Так что же о них, беспомощных и слепых, говорить... На аппетит, впрочем, это не влияло – или, точнее, на ту

жадность, с которой Муня, уже вовсе не голодный, набивал и набивал рот.

«Что есть, в сущности, трапеза слепого?» – рассуждал он респектабельным баском – про себя, уже снова переставляя послушно ноги и держась за сворку; не только мысль скакала блохой с каленой иглы на каленую, внутренний голос тоже ломался и менялся поминутно: то рассудительно-бархатный, что твои бриджи в первый барселонский вечер, то вдруг как завизжит драными подштанниками – и опять тут же, как ни в чем не бывало: барин, бархат, Барселона. Что есть в сущности трапеза слепого? Слепого гурмана – я имею в виду. Хотя не быть гурманом слепой не может. Один на один с ароматом и вкусом – он-то и есть великий дегустатор. Ни предубеждений, ни пристрастий не родится у него при виде накрытого стола. Его не подкупишь саксонским сервизом. Любой декоратор от кулинарии бессилен ему угодить. Вкус и только он – вот мера вкушаемой пищи. А лучшей сервировкой слепому служит запах. Традиционные названия блюд – тоже пережиток. Их отменить, вместо них создав нумерацию вкусов – просто чтобы по номерам шли. Ароматы ж, которые суть герольды вкуса, обозначать, скажем, буквами. Русская буквица сулит большее богатство ароматической гаммы, чем кухня латинского алфавита, – на сколько литер?.. Кухня же императорского Китая, где пять тысяч иероглифов, у-ух...

Боже, какая дичь развелась в мозгу... Мыслью надо уметь управлять, этому надо учиться. Это важно, поскольку мысль приобрела для тебя иное значение – она уже не гарнир, она уже не с краю тарелки... все хочется заесть эту гадость, чем-то заесть и запить. Продолжаю: для слепого, большая часть желаний которого может быть исполнена только мысленно, мысль – это прямое выражение воли. Поэтому слепому за мысли воздастся как за дела. («За блуд лишь мыслен-

ный – мне жаль тебя», – читает Муня, а в гостиной кто-то разыгрывает «Танец Анитры».)

«Все это со мной как будто уже было», – подумал Муня. Где, когда – Бог весть. Даже и не пытайся вспомнить: не сможешь, и только останется чувство подавленности, н е р а з р е ш е н н о с т и. Так оно всегда при тщетных розысках в памяти – например, того же лазарета на траве, где Муня лежал как минимум дважды.

Но одно ощущение, тоже отбрасывавшее куда-то тень (первоначально – в необитаемое сознанием прошлое), узналось: бьющие в нос запахи – без «чехольчиков» – были точно как после операции аппендицита. Тогда на несколько часов больничная стерильность – под воздействием эфира, как ему объяснили, – обрела свойство пахнуть «всеми цветами радуги». Потом это прошло, сменившись заурядным нюхательным «дальтонизмом», ну, может быть, чуть меньшим, чем у других.

Вывод: была проведена операция? Наркоз!? (Обожгло Муню, обожгло – потому что на сей раз г о р я ч о.) Вывод, от которого Муня сник. Представилось, как под скоропалительным ножом хирурга в полевых условиях было принято окончательное решение по вопросу о муниных очах: чик-чик, очищено, продезинфицировано, завязано – следующий! Выходит, он все еще на что-то надеялся – а раз уж был наркоз... и нож... в палатке... При этом, подхалимски поддакивая, снова защипало и засвербило под бинтами, хотя уж унялось, казалось.

Он гнал от себя навязчивое натуралистическое видение того, к а к там, сейчас, после всего. Налетел бы ветер и сорвал с него повязки – что б увидел идущий навстречу крестьянин с дикой розой за ухом? (В Латгалии или в Семгалии попробуй, вообрази себе крестьянина с розой за ухом! А здесь мужики ходят.) Что б он увидел?

От груди, от сердца поднялось кверху... Муня испугался: можно ли теперь плакать, не сделается ли т а м от острых слез больно. Даже с т р а х боли (как т е н ь Мессии) – серьезный довод в пользу чего угодно.

По красной нитке, некогда связывавшей отчикнутый глаз с сердцем, ползет дрессированная отныне блоха. Она больше не скачет, теперь она медленно ползет – потому что дрессированная, потому что Муня стремится покончить с анархией мыслей. Нитка – провод, на конце провода повис молочно-белый шар, таких – три пары, заполненных электрическим светом, под кремовой лепниной потолка. В «Городском кафе» на Рамблас под одним из шаров, за соседним от Муни столиком, происходил такой диалог (Муня внимательно слушал немецкую речь, для него, в отличие от обоих споривших, фактически родную; впрочем, тот, что был в форме, говорил неплохо – с тем варварским произношением, которое выдает жителя бывших австрийских колоний, составляющих нынче весь этот автократический гадюшник на юге Европы; второй был праздный нордический турист, как показалось Муне, капитулянт и, судя по некоторой шепелявости, датчанин):

В т о р о й . Надо только представить себе со всеми натуралистическими подробностями, как тобою – подчеркиваю, т о б о ю – посланный металл вторгается в плоть, дробит кость (он продекламировал) «Еще немного, и – вдали отсюда зарыдают». Ты это должен постоянно видеть перед собой – за сценой все происходит только у Еврипида. Вот, точно как эти плафоны, повисли на ниточках глазные яблоки. И это твоя лепта – если граната брошена удачно. Это следует осознавать по-дикарски конкретно...

П е р в ы й . Готтентот, исповедующий Нагорную проповедь, – фальшивый идеал. Настоящего готтентота Нагорной проповедью не проймешь. А вырядившийся дикарем выпускник Кембриджа напрасно полагает, что это лучший способ избавляться от пороков буржуазной цивилизации. Современный мир и без того полон лицемеров как никогда еще.

В т о р о й . Лицемерие – этим словом низшая ступень определяет свое отношение к высшей, в сфере нравов, поведения, искусства. Для кого-то ты лицемер – раз

Торвальдсену предпочитаешь Генри Мура. Ну, а для кого-то – раз сморкаешься не в руку, а в платок.

П е р в ы й . Есть что-то дамское в пацифистах – сказал один великий поэт.

В т о р о й . Если б он был действительно великим – он бы этого не сказал. Это не Оскар Уайльд случайно?

П е р в ы й . Вы пытаетесь воздействовать на меня зрелищем боли, страданий, причиною которых я лично являюсь. Но есть какая-то последовательность, какой-то порядок – что за чем идет. Я не причина, я следствие – тех же повисших на ниточке глаз, каши из костей и мяса, вытекшего мозга. Ваши же полкило натурализма – можете их взять обратно. Бомбардировка Мадрида была раньше – потом уже моя граната. Нет! И в страдании – и в страдании тоже – существуют временны́е приоритеты. Морально боль не равна боли, смерть – смерти, даже если это смерть ребенка.

В т о р о й . Именно этого-то вы и не понимаете: что человек, как сотворенный по образу и подобию Божию, существует в вечности – значит, только в настоящем времени. Всякий миг суверенен и самоценен, включая и миг страдания. Но нужно преодолеть земное притяжение, чтобы это понять...

П е р в ы й (насмешливо). Равно как и то, что прошедшее и будущее – это фикция, это грамматические формы, а причинно-следственная связь – всего лишь бусы из халкидских гробниц...

В т о р о й . Это ты говоришь, игемон.

Перед Муней стояла тарелка с маленькими, как мидии, пирожными. Назывались они «эстрелла», это была здешняя специальность: янтарного цвета дольки с облитым глазурью гребешком и тончайшей, как засушенный лепесток, корочкой по краям, внутри заварной крем и чуть-чуть персикового варенья. Муня был не в силах остановиться (он был ужасным сладкоежкой), двумя пальцами он подносил ко рту «эстреллу», надкусывал кончик и слизывал первую капельку выступившего из тре-

щины крема. Он лакомился вызывающе: слегка запрокинув голову, наблюдая из-под опущенных век, как медленно исчезает «эстрелла», наконец, к липким губам прикасаются такие же липкие пальцы, – после чего брал следующую.

Но уши – внимали чужим разговорам; это были трубы, ведущие непосредственно в мозг. «Слышимость важнее видимости», – подумал Муня... подумалось Муне, у него все еще не хватало воли всецело управлять своей мыслью – думать исключительно о том, о чем хочешь (не путать со свободой мысли: что хочу, то и думаю). В его положении это было даже утешительно – так себя уговаривать: мол, одно-единственное слово часто на всю жизнь западает в душу, а сказавшего – назавтра можешь уже не узнать.

За соседним столиком сменилась пара. Он – немолодой толстяк, она – девчонка. Муня, у которого сентавос в кармане оставалось не больше, чем «эстрелл» в тарелке, про себя обозвал девушку скверным словом, а мужчину и вовсе погнал штыком через линию фронта к фашистам. В итоге получилось все наоборот: до кого фашистам рукой подать – до него; толстяк, небось, благоденствует себе в Барселоне, а эту девушку – и не подозревающую, что есть такой Муня, революционер, – он бы мог теперь узнать только своими, якобы зрячими пальцами – так вроде говорят о слепых (общество позволяет им это, девушки терпят). Сценка «Слепой и девушка» возможна исключительно как пантомима, в роли слепого республиканца – Жан-Луи Барро.

В пункте «Пища наша» Муня, наверное, все-таки перебрал. Не в смысле обжорства, а что и сейчас бы своими зрячими пальцами любовался «эстреллой»: ел бы и осязал – не то, что... Как раз был очередной привал, он снова «выжирал» фасоль из горсти. Хорошо, что еще не прямо мордой в торбу, словно там овес, а он – известное животное. Вокруг стоял (или пора переучиться: «в ушах стоял»?) привычный шум – шум присутствия, а

не общения. Таким по природе своей является птичий гомон – к слову сказать, никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивавших ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним наши солдаты, – правда, Муня бы не поручился, что так оно в действительности и было. Он сам говорил про птиц с чужих слов, повторял как попугай.

Но что было бесспорно, так это полдневная жара – в ночи-то кромешной. Они пошли дальше. Муня с оттенком бреда размышлял, что легче: жара при ослепительном свете дня или – мнимой ночью? Он вообразил такую игру – для себя и для своих товарищей по несчастью. Пейзаж в духе этого, с расстроенной психикой – ну, этого, Сальвадора Дали: редкие, но тенистые деревья на каменистом плато, по плато мечутся фигурки людей, им надо эти деревья отыскать, чтобы спрятаться в их тени. Это как на детском бильярде: никелированный шарик мечется, один угодит в лунку, а другой, зигзагами, так и промчится – в пекло.

А согласился бы Муня победить Франко ценой потери обоих глаз? А ценой потери ног? (С каждым вопросом планка понижалась, следовательно, ответ всякий раз был... какой?)

Страшного в слепоте, как ты понимаешь, ничего нет. Это только покуда видишь – боишься ослепнуть, а когда уже не видишь, то понимаешь, что это не самое главное. Муня порадовался за себя – не сильно, но все же: голова – подумал он – зато голова начинает работать лучше, нет отвлекающих факторов, мысль собирается, концентрируется в точку, которая вот-вот закатится под тенистое дерево; а если б мозги оставались прежними, разве был бы он в состоянии состязаться с никелированными шариками остальных?

Но им, конечно, хуже, чем ему. Слепой – это прежде всего homo sapiens, один сплошной клубок мыслей. Кому-то, таким, как Муня, это в радость, но простые люди – чьи радости иного свойства, – как они это переносят? Муня злорадно ставил их перед дилеммой: ранение как теперь или же хорошенькое ранение в пах? Выбирай, парень, выбирайте, Педро, Рамон, Мануэль, Хаиме.

Мысль потекла в новом русле: не видеть предмет своей похоти – это то же, что сразу гасить свет, без всяких прелюдий, – ну, взять и сразу повалить на диван. Сам Муня так и поступал: всегда находились какие-нибудь терезы – молоденькие работницы, уныло зарабатывающие свое унылое жалованье. Боже упаси от мысли, что он им платил, как какой-нибудь буржуйский сынок, – мог, конечно, сводить в угловую кондитерскую или заплатить за билет в кино. Но их приманивали разве деньги? Запах денег, исходивший от него, то, что он проживал на бульваре Тотлебена в особняке. Если уж на то пошло, платить приходилось «лаской *после*» – так трудно дававшейся ему «постлюдией», в продолжение которой душа рвалась прочь, подальше от этой мерзости (как мог отец избрать себе такую профессию – не понимаю...).

Муня не верил в любовь и противоположный пол презирал. А может ли слепой влюбиться (сам он был влюблен лишь в раннем-раннем детстве: девочку звали Марта, и она играла в саду, куда ходил и он, тогда под присмотром некой болезненно тучной Марфы – звавшейся так словно в насмешку над его чувством), и если может влюбиться (повторяем, слепой), то как, во ч т о? Этот, несколько смущенный, интерес к любви – вдруг! – был сродни интересу к коитусу – еще не изведавшей его, но уже вполне, так сказать, на выданье девицы.

...Новая грань мысли, острая, как кинжал под плащом: идеальная месть Нарциссу – выколоть ему глаза... этой мысли не суждено было продолжение. Кончик носа, крепкий как кость (по самоощущению), сплющило

от ударившей в него вони – происхождения совершенно однозначного. Бывают запахи, которыми можно дубы корчевать: шедший перед ним обделался на ходу, как лошадь. Вся эта сволочь в окопах гадила прямо под ногами. От отвращения Муня... вздохнул. Он подумал с горечью, что фронт прорван. Но почему нет канонады? В страхе: а если мы в фашистском тылу? Что с нами сделают? Он помнил страшные рассказы: пленным перерезали горло, и после – бег, кто сколько шагов пробежит (приз получает за победителя его семья). Слышал и о более страшных надругательствах – язык не поворачивается выговорить, каких. А вот что сделают с Люцифером, собакой, переучат для себя или она разделит их судьбу – будет казнена? Канонады не слышно – плохо, очень плохо. А какую бы смерть уготовили Нарциссу греческие боги, будь они фашистами?

Опять, похоже, в своей одиночной камере черневшее мунино «я» затевало самосуд. Нарцисс – звучало все отчетливей обвинение. Миф о Нарциссе, перенесенный в пустыню: он утопился, любуясь своим отражением в луже собственной мочи. Еще пару глотков из фляги... Нет, это пить невозможно... Лучше вылить себе на голову, все до конца – нечего беречь!

Действительно, страшно напекло голову – но после душа стало полегче. Он отшвырнул пустую фляжку: лишний вес – за борт! «Это уже конец, – подумал Муня, – когда выкидывают...» Как вдруг оборвалось все внутри: звука падения не последовало. Пустота за бортом.

Пустота за лицом. Обе слились – всколыхнув полузабытый ужас: что над головой, то и под ногами – да ременный жгут в сжатом намертво кулаке. Вот-вот потеряешь сознание. Уже невозможно заставлять себя дальше отрывать ноги от последней тверди. Страх пропасти сильнее всякого благоразумия.

Ну, молись!..

Нет, никогда! Бог – значит, я ничтожен, это имя человеческого позора. Я не тростник! Я готов ослепнуть

еще сколько хочешь раз, вечно навзничь падать в бездну, это дрожащее тело, эти собачьи нервы, пусть они сдаются, молят: «Бог!» Слышишь, Бог, я никогда не сдамся на милость твою. Обещай мне, что хочешь, – я не боюсь. Я сам могу все. Революция! Восстание! Святейшие! Революция океана униженных против горстки земных богов – это только еще первая проба сил. Революция Революций еще впереди. Телу грозишь? Смотри, мне не нужно это тело. Оно – грязь, и грязь, и грязь! Занимайся своей гинекологией – я сам отпускаю...

«Да здравствует революция! Фашисты бабы!» («Viva la revolucion! Fascistas – maricones!») – заорал Муня что было сил, чувствуя с упоением, как срывает голос. И – скрестил руки. Его крепко толкнуло что-то в спину, он посторонился.

Попробуйте решительным шагом пятиться. Не оглядываясь.

Двадцать шагов прошел Муня, в преодоление инстинкта сцепив за спиной пальцы, и на двадцать первом оступился, споткнувшись о... камень? валун? Он нащупал его рукой, на руку положил голову и лег умирать. В тени (сказал он себе) это было бы приятней, зато быстрее так. Лежа и всем телом под собою ощущая земную поверхность, он даже не очень страдал.

Мне не мешает слепота, я уже привык, даже иначе, может, не хочу – только интересно взглянуть, как это: собака... ведет столько людей – на минутку взглянуть, чтобы понять, как это со стороны. (Чего захотел! Этого-то и не дано никому.)

Мысли и густели и растворялись разом, в обоих этих состояниях он их почти уже не видел – и не обижался: как выросшие дети, они уже жили своей собственной жизнью.

Некогда, в особо героические минуты, будущий солдат Революции Самуил Фельдман представлял себя плененным фашистами, представлял по-разному, и в том числе так: он стоит под дулами дюжины нацеленных на

него винтовок. Ему хотели завязать глаза, но он не позволил. («Прочь! Не завязывать глаз!» – как Старый Капрал.)

Развязать... глаза...

Медленными пальцами он находит узел, стягивавший бинт. Начинает его распутывать. Нескончаемый процесс разматывания... виток за витком, бинт не желает кончаться.

Все. Вспомнил: битва при Иссе. План битвы при Иссе в историческом кабинете, у них в гимназии. Такие планы бывали обычно подклеены старыми, еще довоенными газетами, а на этом сзади картинка, тоже откуда-то выдранная, перемазанная мелом, чернилами: полевой госпиталь, на траве лежат раненые – и полководец со свитой, которому не до них, он поглощен сражением, разыгравшимся вдали.

Бинт, кажется, кончается. Вот уже ватные подушки, пропитанные какой-то едкой дрянью. Муня приподымает их, одну, другую, чувствуя, как темнота меняет окраску: он видит, мозгом – чем же еще – розовую пустоту глазниц. Как – серая дымка ресниц?! Они дрогнули... И Муня привычно зажмурился от яркого света.

Мгновение спустя он смотрел на холмы, бессчетными подковами разбросанные по всему пространству и на горизонте переходившие в пепельную сьерру, что терялась в тусклом зное. (Где та высокая ветреная лазурь с проносящимися по ней рваными облаками? Эль Греко жил в другой Испании.) Где-то в этой стороне, должно быть, штаб, их позиция – на том склоне, что ли... хотя, вероятно, уже не их – вероятно, там уже орудуют фашисты. Кусочек дороги, связывавшей Сан-Мигель с Сьетамо. Она пуста, как всегда. Грузовики днем ездить не отваживаются, только ночью... оживала ночью. А что теперь? Что... что с его глазами?

Муня несколько раз зажмурился: веки горят. Что это все значило? Глаза были абсолютно зрячи.

Взгляд упал на валявшийся бинт, на брошенные куски ваты. Муня осмотрел вату: она была чем-то пропитана и – как странно!.. – если присмотреться, то сплошь поблескивала крошкой – слюды? металла? стекла?

«Что же это такое делается?» – проговорил он вслух. А точнее, астматически прошипел – голосом, безнадежно сорванным – купринского дьякона, что напоследок проревел «многую лету» б о л я р и н у Толстому, помните?

Солнцепек, пересохшая глотка, отсутствие воды и тени – все позабыто, по крайней мере, отодвинулось на второй план. Он был готов теперь пить хоть морскую воду, пожалуйста – все на второй план. Главное – понять, что же это означает (да и где они все?).

При том, что местность дальше, чем на 300-400 метров не просматривалась, одинаковые пригорки, выглядывая друг из-за друга, сливались между собой в относительно ровную поверхность, покрытую вперемешку «вереском, карликовым кустарником, белыми костями известняка». Где пролегла тропа, Муня не видел, в каком направлении они вообще шли – не знал. Он озирается (ох, глазоньки мои, глазоньки). Тропа мимикрировала – а ведь была в двух шагах. Где: слева, справа, сзади, спереди? Изумрудных лужаек не было, среди которых бы ее протоптали до суглинка десятки ног.

Что-то вроде сверкнуло – или показалось? Нет, не показалось сорочьему глазу. Чуть повертев головой, он установил, где блестит, а подойдя ближе, увидал свою фляжку. Точней: увидал не с в о ю – своей счел, когда снял с куста, усмехаясь еще ощущению под пальцами: сопоставимо ли?

Здесь же и тропинка. Очень далеко они по ней уйти не могли. Шли... Муня тогда отшвырнул фляжку вправо – значит, туда шли. Самое смешное, что во фляжке еще оставалась капля, – которую он в себя влил.

За первым же откосом открывалось зрелище, достойное кисти Гойи, Брейгеля, а еще того третьего, ко-

торого не дано, в смысле – что еще не родился. Ландшафт известен: те же безмолвные корчи известняка – одним мазком, до горизонта, и среди них змеилась очередь в земной рай – еще не души, уже не люди. Не звучал их приглушенный хор, хотя просилось что-то из Верди – да и слова было нетрудно предположить: хоровые тексты большой выдумкой не отличаются. И, как в ритуальном действе, один объединяющий всех жест: отставлена левая рука – строй рук на собачьем поводке.

Были ли они, в отличие от Муни, действительно слепы? Был ли он сам жертвой недоразумения? И что за непонятная вата? Муня стал припоминать, как это случилось. Иванса, то есть его, персонально вызвали, велели куда-то идти... какая-то дверь... Провал. Может быть, светилась точка счастья, на которую летели будущие бабочки. Глупости все, он ничего не помнил. Выяснить бы (и это самое существенное): они – зрячие или слепые. Пока их ведет пес, это не представлялось возможным. Надо еще взглянуть, что это за собака такая.

Муня видел только спину замыкающего, с дальнейшим отслоением рук, плеч, обрывавшихся за ближайшим косогором. Подойти ближе, даже поравняться с ними Муне мешало чувство, близкое к стыду, – грубо говоря, за них, за их скотскую покорность, этих «антифашистов» (но это – грубо говоря).

Но чувство стыда сменилось чувством «преодоленного стыда» – с таким как раз пускаются во все тяжкие, недаром одно известное Муне заведение называлось «Преодоленная стыдливость». Вскоре он уже в упор разглядывал б. бойцов – одинаково оборванных, с одинаково белевшими на лицах повязками (тоже униформа, своего рода). Их безучастность, словно брели манекены, провоцировала таковых в них и видеть – а если еще недавно ты сам был такой же... ну, тут уж, знаете, торжество превосходства переходит всякие границы.

Муня решил добраться до «впередсмотрящего», что весело виляет хвостом во главе отряда. Ему это показа-

лось глубоко символичным, он только поморщился, вообразив этакую собаку Баскервилей – изрыгающего пламень Цербера. Зато бесстрашно усмехнулся при мысли о колобком катившейся болонке. Фантазируя, он постепенно добрался до иллюстраций к старинному изданию «Рейнеке-Лиса»: комически-чинно шествующий на задних лапах зверь. Но каких бы кровей пес на самом деле ни оказался, Муня предпочел все же занять безопасную позицию: если еще не факт, что он будет покусан, то облаян уж он будет точно.

Цепляясь за скудную растительность – «грузоподъемностью», к счастью, превышавшую его вес, – он начал карабкаться по склону вверх. Тропа огибала холм. Как бы ни растянулась двигавшаяся по ней процессия, Муня надеялся заглянуть в ее морду. Неожиданно оказалось, что с другой стороны дорожка проходит выше – если карабкался он на четвертый этаж, допустим, то спускаться бы ему пришлось со второго.

Идут! Показались первые фигуры. Собаки нет. Как же тогда?.. Тут он увидел, что возглавляет шествие не собака, а человек. Муня его узнал: коротышка в гражданском, тот же, что повстречался им в штабе, – приказавший Муне идти за ним. Он единственный был без повязки на глазах, и если что-то сближало его в мунином представлении (нынешнем) с собакой, то это висевший на груди... будильник. С о б а к а с б у д и л ь н и к о м – это стало уже как к у р н о с а я с к о с о й или к о с о й с м о р к о в ь ю – во всяком случае, собака, бежавшая здесь поводырем, никак не мыслилась без будильника. И вот-те раз, будильник есть, собаки нет. За его плечами – этого человечка – что-то типа постромка, за который все держались.

Этому не было никакого разумного объяснения. Окликнув вожатого, Муня собрался полускатиться, полусбежать, полусъехать – как уж там получится, – но случилось еще более невероятное. Человечек хватается за пистолет, как сумасшедший, – причем в смятении неописуемом – и открывает по Муне пальбу.

«ПОУМ! Двадцать девятая дивизия! – кричит Муня. – Cultura!». Человечек продолжает стрелять; у него нет возможности остановиться, чтобы метче прицелиться, – он идет и на ходу стреляет. «Я Иванс! Иванс! Cultura!». Снова выстрел. Не Вильгельм Тель. Муня тем не менее пригнулся, хотя явно – это был пустой расход патронов.

Когда тот расстрелял всю обойму, Муня стремглав бросается на него. Человечек, высвободившись из постромков, пускается наутек (предоставив всей ведомой им цепочке сбиваться в кучу, валиться, барахтаться, а под конец напряженно оцепенеть в ожидании дальнейшей своей участи). Тщетно пытался он на бегу перезарядить пистолет, Муня в несколько прыжков настиг его и обезоружил. Их силы были слишком неравны, сопротивление было бесполезным. От удара рукояткой у того по лицу побежала алая струйка.

«У меня приказ», – проговорил он, рукой заслонившись от нового удара.

«Приказ – революцию предать?» – так вот что это был за акцент, теоретически Муня с таким же мог говорить – неясно, почему в иностранных языках у него появлялся немецкий акцент.

– Приказ – революцию предать? – повторил Муня по-русски.

Агент ГПУ перешел на русский без тени удивления, словно русская речь звучала здесь повсеместно (может быть, в Мадриде так и было, но не на Сарагосском фронте и не в Каталонии):

– Приказ конвоировать с минимальными затратами большие партии задержанных. Пойдя таким путем, сотни бойцов-конвоиров мы сбережем для фронта. Я изобрел этот метод. Овладев моим методом, один конвоир будет справляться там, где сегодня их нужны сотни. Один человек сможет сопровождать на марше практически неограниченное число арестованных.

Муня сдерживал клокотавшую в нем ярость – ему хотелось знать все.

– Это очень легко: внезапно хлороформировать и наложить щелочной компресс с примесью наждака. При налаженной процедуре два санитара успевают смело усыпить и перебинтовать в час до тридцати человек. Я знаю точно, что вы чувствовали, придя в сознание. Характерное недомогание после наркоза. Вы обнаружили, что глаза забинтованы. Там резь. Вас охватила паника. И тут вам подтверждают, что вы действительно ослепли. В таком состоянии вы сделаете все, что вам скажут, скажут встать и идти – встанете и пойдете, скажут остановиться – остановитесь. Главное – что вы один. Вас десять, сто, тысяча – все равно вы один. Годы вынашивал я эту идею, доказывал, убеждал. В порядке эксперимента – сказали мне. Сейчас на фронте идет дезинтеграция отрядов ПОУМ...

Историческая справка. ПОУМ – расшифровывается как Объединенная партия рабочих-марксистов – сравнительно немногочисленная леворадикальная партия, находившаяся в левой оппозиции к советским коммунистам и к правительству Кабальеро. Вместе с ФАИ (Федерация анархистов Иберии) и «большевиками-ленинцами» (троцкистами) активно участвовала в боевых действиях на стороне республики, формировала собственные рабочие отряды, которые составили «дивизию ПОУМ» – поздней 29-я дивизия. Свой главный политический капитал ПОУМ приобрела в июльские дни 1936 года, эстетически идеально вписавшись в общую картину происходящего; не зря кто-то заметил, что если б Делакруа посвятил свое известное полотно уличным боям в Барселоне, то у его Свободы было бы лицо Андреаса Нина. В споре с коммунистами ПОУМ отстаивала чистоту марксистского учения: курс на мировую революцию – в целом, в частности же сохранение и укрепление институтов диктатуры пролетариата, прежде всего рабочего ополчения, вместо которого правительство провозгласило создание регулярной Народ-

ной армии. Когда год спустя, в мае 1937 года, в Барселоне вспыхнул анархистский мятеж, подавленный спешно переброшенными из Валенсии отрядами штурмовых гвардейцев, ПОУМ в числе других близких к 4-му Интернационалу группировок была объявлена вне закона. Начались повальные аресты – сперва в тылу, потом на фронте. Сам Нин был арестован по обвинению в сговоре с ген. Франко и, кажется, даже расстрелян – как фашистский шпион. Та же участь постигла многих иностранцев, не только членов партии, но и просто воевавших в составе 29-й дивизии – как они объясняли, «во имя всеобщей порядочности». Некоторым все же посчастливилось бежать, и среди них Эрику Блейру, который в памяти человечества останется под именем Джорджа Орвелла.

«...Целую дивизию предстоит арестовать прямо на линии огня. Кто это будет делать? Я! Я один, с двумя санитарами. Мой метод позволяет это. Не понимаю, почему я потерпел неудачу, я все рассчитал».

Он покорно лежал на спине. Рядом на коленях стоял Муня, касаясь ладонью его груди. Кончив, тот закрыл глаза и отвернулся. Муня тоже отвернулся.

Грянул выстрел, тело дернулось, обшлаг рукава и кисть облило – если, как Муня, не смотреть, то вроде бы горячим супом. Пистолет он сунул в карман – достался бесплатно (в свое время в Барселоне один знакомый анархист предлагал ему такой же, но стоил он баснословных денег – на них можно было купить, наверное, сто «эстрелл»).

Вытерев руку о брюки сзади – о поясницу, – Муня перевел взгляд на толпу: повставали, даже построились, держа по-прежнему свой полукилометровый поводок (если все вместе, то «держа», если каждый порознь, то «держась»), и мучаются, небось, вопросом, болезные: что же с н а р у ж и ?

Это его слова: нет большего счастья, чем нести свободу рабам. Как никогда он близок к вожделенному мигу – к тому, чтобы прошептать: остановись, мгновенье, ты – прекрасно! Сейчас он сорвет бинты с одного, с другого. Окрестные холмы огласятся ликующими возгласами. Прозрев сами, люди несут радостную весть тем, кто о ней еще не знает: «Эй, Хаиме (Мануэль, Рамон, Педро)! Что ты стоишь как чурбан – долой повязку с глаз! Это неправда, мы не слепые!» Они сдирали с себя бинты, жмурились, вопили не своими голосами... Но что, какие слова? «Да здравствует зрение»? Может быть, «Слава Муне»?

В этом взрыве чувств мунина персона затеряется, он сделается одним из них – слепыми они его не видели и, прозревши, не узнают. Стой. Снова зачехленных глаз уже не будет.

Подумай прежде.

Вот они – пока еще такие, какие они есть. Потом вспять не повернешь. А ведь их надо вывести отсюда. Да, это бесспорно. С п е р в а и х н а д о в ы в е с т и о т с ю д а .

Он набрасывает на плечи ремень – а кажется уже, что взвалил на спину всех – всех-всех, сколько б их ни было здесь, этих несчастных рабов, которых предстояло ему повести за собой.

(...Ich unglückseliger Atlas...
...die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen...
ich trage Unertragliches..)

Груз тяжкий, спору нет, но и Атлантом осознавать себя – чувство ни с чем не сравнимое.

Прежде чем тронуться, Муня замечает что-то под ногами: будильник... Он поднял его. Повертел, поколебался – и повесил себе на шею.

Вадим Алексеев

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ЛУНА

Я так хотел когда-нибудь,
Устав от шума городского
И мельтешения людского,
Закрыть глаза и сверить путь

По звездным, внутренним часам,
По галактическим курантам,
И чтоб единственным гарантом
Их высшей правды был я сам.

Но с наступленьем тишины,
Закрыв глаза, в изнеможенье,
Я ощущаю притяженье
Замшелой, каменной Луны.

* * *

Как свет игольчатой звезды,
Дробясь о брызги в гулком гроте,
Совьется в жгут в круговороте
Увеличительной воды,
Так и от кончиков ногтей,
Ползя мурашками по коже,
Меня восторг сквозь приступ дрожи
Как ток пронзил бы до костей.
Когда б я вовремя постиг
В то ускользавшее мгновенье
Свое немое откровенье.

Отныне – тьма. Упущен миг.
Вот почему мне ненавистен
Манящий свет бездушных истин.

ЦВЕТЫ

Сон и солнце – превращенья.
Мак чернел, алели зерна.
В зеркалах – все иллюзорно
В этом странном освещенье.

А цветы – их здесь забыли.
Я хотел бы вникнуть в это...
В зеркалах под толщей пыли
Пышно меркло солнце света.

КАМЕНЬ

Под водою прозрачной
Среди прочих на дне
Тихий камень невзрачный
Заприметится мне

Связан тысячью нитей
С ним быть может и я
Бытием без событий
Моего бытия

* * *

Тогда, в сиянии луны,
Мне нравилось следить часами,
Как у реки под небесами
Лежат большие валуны.

И я смотрел на них в упор.
Так, в неком меркнущем сиянье,
На непонятном расстоянье
Я вижу их и до сих пор.

МЕСТО

Там, среди траурных скал,
Каменной солнечной ночью,
Там я увидел воочью
То, что так долго искал –

Место молчания. Где
Взгляд мой остался незримый,
Твердый и нерастворимый
В черной прозрачной воде.

* * *

Я
ощущенье бытия
пространство
время
вечность
Я

ОДИНОЧЕСТВО

Сяду в кресло, выпью чаю,
Прикурю от легкой спички...
Я нисколько не скучаю,
Я люблю свои привычки.

Посмотри, как бесприютно
В новом доме новоселам –
Лучше жить сиюминутно
В одиночестве весёлом!

Просто жить и безыскусно,
Вечно слыть за домоседа...
Лишь порой немножко грустно
Не зависеть от соседа.

ТЕНЬ

И всякий раз, когда с рассветом
В свои права вступает день,
Ночь отступает, но при этом
За нами оставляет Тень.

И Тень, которая не спорит,
Она приставлена ко мне!
Порою так меня повторит,
Что аж мурашки по спине.

Я никогда уже не смою
Её зловещего пятна –
С моей душой глухонемою
Порой беседует она.

Тень все сочтет и подытожит,
Тень так пристрастна к мелочам!
Но даже Тень затмить не сможет
То, что нам светит по ночам.

ПРОЗРЕНИЕ

Я, всклоченный небритый человек,
Дешевые курящий папиросы,
Ищу ответ на русские вопросы,
И близится к концу двадцатый век.

На праздничном заблеванном столе
Останки плесневеющего хлеба,
И звездное уродливое небо
Шевелится в разверзнувшейся мгле.

Спаси, Господь, задувшего свечу.
А на душе то весело, то гадко!
Но зреет в мыслях грозная догадка,
Целящему подобная мечу –

Я буду поражен, когда однажды
В себе открою то, что знает каждый.

АЛЕКСЕЕВ Вадим Викторович родился в 1957 году. Кандидат филологических наук. Руководитель независимого литературно-издательского агентства «Интекст» при Одесской миссии Фонда народной дипломатии. Живет в Одессе.

Наталья Горбаневская

НА ЧЕМ ЗАЛОЖЕН КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

1.

Я заблудилась, как овца,
потерянная в небе звездном,
где за сиянием морозным
мерещится лицо Отца.

Что знает Он о человеке?
Что – дуновение. Что день –
как уклонившаяся тень,
струна, запутанная в ветке,

зыбкая тина под ногой
и тех глубоких вод пучина,
где нет спасенья, если Сына
заносит выснеженной мгой.

2.

Падут нечестивые в сети свои,
а ты – перейдешь.
И в гусли ударишь, и скажешь: «Смотри,
как мир хорош».

И в гусли ударишь, в тимпаны забьешь,
и воспоешь: «Хвали».
И тут-то под сердцем таящийся еж
расправит колючки свои.

3.

Гора опустела, и ходят по ней лисицы.
А раньше здесь, помнишь, варили и красили ситцы,
И девушки косы плели, и вода из колодца,
Которая нынче за серебро продается.

Лисицы ходят и рыжим косятся взглядом.
А раньше здесь, помнишь, все было близко и рядом,
И девушки шли в лесок на краю деревеньки,
А нынче нам наши дрова достаются за деньги.

Лисицы ходят, но скоро и их не станет.
И хлеба, в пустыне добытого, всем не достанет,
И девушки сгложут сучки на последней вербе,
И высохнет плач: «Обнови наши дни, как древле».

4.

Кто протягивал вервь по земле,
когда тверди от хлябей делились?
Кто вола привязал к борозде
и велел, чтоб коровы телились?

Кто прокладывал молнии путь,
чтобы дождь, и пшеница, и тесто?
Кто велел охватить и стряхнуть
и заре указал ее место?

Кто и море замкнул взаперти,
когда выторглось как бы из чрева?
Кто нам вдунул из глины взойти
и ослушаться Божьего гнева?

5.

Не сплю и сижу,
как одинокая птица на кровле.
И пепел пожру,
как хлеб гоненья и скорби.
Но – о, не восхить
меня в моих дней половине.
Тебя же хвалить
других не найдется в пустыне.

6.

От лености обвиснет потолок,
и паутина, пылью обрастая,
засушит прошлогодних мертвых мух,
и голову повесит молоток,
гвоздей невбитых разбежится стая,
но, главное, ни в мыслях и ни вслух

не вспоминай, как был когда-то звонок
труд поутру, как был когда-то склян
лед на пруду, прорезанный коньками,
не говори, как сказочный ребенок,
что кто-то гол, мохнат и обезьян,
ведь все равно и ловкими руками

не выпрямить, что сделал Он кривым,
и, значит, опускаем руки, мудро
твердя: «Все это суета сует
и всяческая...» – и пока твердим,
сидим впотьмах, хотя настало утро,
хотя в окне зажегся белый свет.

ЗВЕЗДА СВЕТЛАЯ И УТРЕННЯЯ

Короткий путь до кабинета Слепухин пытался подгадать так, чтобы количество шагов оказалось кратным трем и, просеменив последними двумя, подгадал.

– Слепухин. Статья 147 УК РСФСР, часть...

– Присаживайтесь, молодой человек, присаживайтесь.

Через стол от Слепухина расположился вполне симпатичный мужик лет сорока, какого-то чуть пижонистого даже вида. Удивительно, но форменный прокурорский китель нисколько не размазывал своим синим цветом пижонистости удобно сидящего внутри человека.

– Ну, как жизнь, гражданин Слепухин?

Нет, правда – вполне приличный мужик и улыбается сочувственно... с пониманием улыбается.

– Да какая же здесь жизнь, гражданин прокурор?!

– Не надо унывать, молодой человек – у вас еще почти вся жизнь впереди.

– Так что здесь творят! Вот сегодня – отшмонали считай всю одежду, обувь, книги даже – разве можно так?

– Не надо горячиться... По закону, гражданин Слепухин, каждый осужденный имеет право на установленное законом имущество: одна телогрейка и шапка, одна пара сапог, одна пара тапочек, один х/б костюм, одна х/б спецовка.

Больше всего поразило Слепухина это вот выражение «х/б костюм» – люди так не говорят, так только специальные роботы могут говорить из кошмаров фантастических... Даже хозяевы псы, мало на людей похожие, не могли бы выговорить этого... Может, он не живой вовсе?..

– Это же глупо, – загорячился Слепухин. – Одна телогрейка, значит, она грязная... вот, как у меня – смотрите. А в бараке телогрейкой еще и укрыться надо – грязь ведь будет... свинарник...

– Укрываться надо специально выданным одеялом.

– Холодно же! зверски холодно!

– Надо утеплять жилище, гражданин Слепухин. Руки у вас есть – кто же за вас это сделает? В стране идет всенародная экономия энергоресурсов, а вы тут разбазариваете тепло...

– Ну, а книги – они же в ларьке куплены...

– По закону вы имеете право хранить не более пяти книг, включая журналы...

– Но ведь куплены в ларьке – на свои деньги...

– Лишнее вы можете сдать в библиотеку – всем польза будет. Закон, гражданин Слепухин, обязателен для всех, поймите это и не пытайтесь обмануть закон – вы уже пробовали один раз и оказались здесь... и здесь пытаетесь, а это может очень плохо кончиться.

– Где я пытаюсь? Где?

– Вот возьмем, например, вашу работу. Закон для вас – выполнение производственных заданий. Вас сюда направили для искупления своей вины перед государством... для трудового искупления, и потому главная ваша обязанность перед законом...

– Да их же нельзя выполнить! Нас по две смены пахать заставляют, чтобы сделать невозможное!

– Все нормы справедливо обоснованы технической и технологической документацией. И потом, кто вас заставлял работать две смены?

– Как это – кто?

– Вот видите – никто вас не заставлял. Вам разъяснили, что несмотря на ваше, например, лично злостное невыполнение заданий администрация исключительно в ваших интересах согласна не применять наказаний, если вы в нерабочее время добровольно дадите стране недоданную вами продукцию. Так?

– Ну, не разъяснили, а кричали и угрожали.

– Дело не в интонациях, а в фактах. Так стоял вопрос или иначе?.. Вот вы и молчите... и сказать вам нечего... Поймите наконец, что, не выполняя норму на производстве, вы совершаете очередное преступное действие по отношению к своей стране и своему народу. Наше государство проявляет исключительную заботу даже о таких, как вы. Несмотря на то, что вы совершили тяжкое преступление, – вы продолжаете оставаться гражданином нашей страны, вас не лишили заботы, которую проявляет государство о своих гражданах, хотя в любом другом обществе...

Слепухин увидел вокруг себя те же непробиваемые стены, что и всегда. Он пытался докричаться своей правдой до этого си-

него пса, но тот выставил бетонной стеной другую правду, слепухинская – жалкая и худосочная, смешно даже, как прыгает на эту стену, бьется об нее своим хилым тельцем – и никакого толку... Может, и нету никакой слепухинской правды? Может, только и правда, что перед ним – железобетонная? несокрушимая в уверенности своей? и своей силе?.. Измотанный гладкими и совершенно не запоминающимися словами, против которых и возразить-то нечего, Слепухин только моргал да сглатывал, выискивая щелочку, чтобы просунуть туда свое несогласие, но щелочки не было. Прокурорская стена вздымалась ровно и мощно.

– ...особенно важное значение приобретает сейчас, когда партия преодолевает последние искажения ленинизма. В то время, когда в жизнь страны вернулись ленинские нормы демократии, мы все с особой ответственностью должны относиться к перевоспитанию преступников. Мы не можем позволить себе заразить очищенное общество преступными элементами. Мы будем безжалостно отсекать не желающих стать на путь перевоспитания и исправления. Им не место в светлой жизни страны, преодолевшей застойные явления и неуклонно развивающей экономику, демократию и идейную сознательность...

Совсем изнемог Слепухин в карусельной правильности ничего не говорящих слов, изнемог и осел на стуле, готовый согласиться со всем и готовый взреветь, протестуя по любому поводу.

– ...что же вы молчите? Я к вам обращаюсь, гражданин Слепухин.

– Простите... задумался.

– Вот это хорошо. Вам надо очень серьезно задуматься... Ответьте мне, в чем же у вас могут быть претензии к администрации, которая защищает интересы государства и, значит, ваши интересы, хотя вы этого еще и не осознали? В чем?

А и действительно – какие у него претензии? Заставили пахать в две смены? – так могли сразу врезать в морду буром. Отшмонали что-то там? – так этот питух говорит, что законно все... Какие претензии?

– Вот отрядник у нас в Фонд мира собирал – так выколачивал силой.

– Опять вы не понимаете: вам оказывают огромное доверие тем, что не отталкивают вас от общественной жизни. Вы гордиться должны, что своими вкладами способствуете...

– А еще вот – один хотел в фонд милосердия сдать, верующий он, так отрядник ему в зубы, чтобы не высовывался куда не просят...

– По закону, гражданин Слепухин, осужденный имеет право на перевод денег со своего лицевого счета только близким родственникам...

– Так не разрешают тоже, если хоть одно нарушение...

– А каково родственникам сознавать, что они живут на деньги нарушителя? то есть неисправившегося преступника? – об этом вы не подумали? И прекратите эти свои штучки – «у одного!»... «у другого!»... Прекратите! По закону вы имеете право говорить только о себе. Я повторно вас спрашиваю – какие у вас могут быть претензии к администрации?.. Молчите? Значит, не может быть претензий?.. Вот и хорошо – вот вам лист бумаги и напишите.

– Что написать?

– Правду и напишите, что претензий у вас нет.

Слепухин взял лист.

– Вот вам карандаш.

– А ручки нет?.. или шарикового?

– Нет.

– А кому писать?

– Пишите на имя начальника учреждения.

Слепухин сопел, скорчившись над столом, сломал карандаш, вырисовывая шапку этой бумаги... Прокурор дал ему другой из стаканчика. Слепухин написал слово «Заявление», прокурор попросил исправить, и Слепухин послушно приписал ниже «Объяснительная», потом написалась строка: «претензий к администрации не имею», и Слепухин задумался...

– Ну, что вы тянете? Давайте! Дату и роспись!

– Могу я подумать? – Слепухин начал заводиться и по тому, как лицо напротив разгладилось радушно, понял, что прокурор тоже углядел его вскипание. – Так могу или нет? Имею хоть на это право?!

– Имеете, имеете, – успокоил прокурор. – Просто поздно уже, и я, честное слово, устал.

– Я – больше устал, – буркнул Слепухин.

– Понимаю, вполне понимаю, – перед Слепухиным на минуту появился прежний пижонистый мужик. – Идемте сюда.

Прокурор завел Слепухина в смежную комнатку и предложил присесть за столик в углу. Только сейчас сообразилось, что

вся эта тягомотина и тянется в замполитовом кабинете, а эта вот комнатушка – кабинетик его приблудка-лейтенанта.

– Здесь вам будет удобно думать.

Прокурор вышел, закрыв тонкую дверь, а Слепухин все не мог заставить себя расписаться на листочке, все казалось, что надо еще добавить что-то... (Хорошо хоть про Павлуху базар не зашел... хоть Квадратово условие выполнено).

– Вызывали?

Слепухин узнал голос Максима.

– Фамилия?

– Долотов, 191-я...

– Присаживайтесь, гражданин Долотов.

Зашелестели бумаги, и Слепухин, оставив свою писанину, вытянулся слухом туда, к столу, где устроился прокурор.

– У нас к вам, гражданин Долотов, весьма серьезные претензии... серье-езные, и мне вот заодно поручили побеседовать с вами. Видите, сколько скопилось у нас всего? Это ваши кляузы, которые вы рассылали по инстанциям...

– Я рассылал заявления, а не кляузы...

– А я вам говорю – это кляузы. Все они спущены нам с указанием разобраться на месте, и после обстоятельного расследования мы пришли к единодушному мнению: все это кляузы, и ни одно ваше обвинение не подтвердилось. Более того – это клевета, а если вам интересно знать – за клевету предусмотрено наказание. Как вообще вы решились отвлекать нас от нашей работы на копание с вашими кляузными бумажками?? Или вы думаете – у нас других дел нет??

– А разве у вас есть другое дело, кроме соблюдения законности? Мои заявления уведомляют о нарушениях...

– Ваши заявления – все сплошь клевета, и, кроме того, сами эти писульки ваши – злостное нарушение установленных законом правил... Все они отправлены нелегально и тем самым являются попыткой установить недозволенные контакты... Мы обязаны решительно пресекать всякие нарушения законов и законных требований...

– Я вынужден был на нарушение правил действиями администрации лагеря...

– Какого лагеря?

– Как это какого? Этого.

– У нас в стране нет никаких лагерей... Вы сами разоблачаете себя и свои злобные вылазки, оскорбляя работников учреждения...

– Какая разница? Пусть – учреждение... Главное – отсюда не отправляют заявления, сколько их в ящик ни бросай. Вот и приходится решаться на нарушение. Но нарушение это вынужденно и поэтому...

– Никаких «поэтому»... Закон для всех один, и каждый несет наказание за свои нарушения. Если бы ваши обвинения против администрации подтвердились – администрация была бы наказана за несоблюдение правил пересылки жалоб, а вы – за нарушение правил подачи жалоб... Но проверка установила, что обвинения эти по сути своей – клевета. Вы ведь каждую кляузу начинаете обвинением, что ваши заявления не отсылаются администрацией... Нам пришлось именно с этого и начать свое расследование... Действия администрации соответствуют закону, и, стало быть, нарушение только у вас, значит, и наказаны должны быть только вы...

– Интересно, как это вы установили, что все жалобы отсылаются по назначению?

– Я мог бы не отвечать вам, гражданин Долотов. Здесь вопросы задаю я, а не вы. Но я вам отвечу, чтобы вы не тратили больше силы на свою очернительную писанину... чтобы, значит, не оставить у вас никаких иллюзий. Вот видите: целая папка бумаг. Это по вашей милости работники учреждения давали объяснения по каждому пункту каждой вашей кляузы. Потом работники прокуратуры выверяли все это по документации учреждения... Вы понимаете, сколько человеко-часов вы съели?..

– Ну и что таким престранным методом можно выяснить?

– Напрасно вы иронизируете тут!.. Может, вы не знаете, так я вам поясню: все жалобы проходят регистрацию, и легко проверить после этого, отправлены они по назначению или нет.

– А если их и не зарегистрировали?

– Как это? Поясню вторично: по установленному правилу все жалобы регистрируются.

– Вот я и сообщаю вам о нарушении установленных правил – жалобы не регистрируют.

– Сначала вы, значит, клеветали, что жалобы не отсылают, то есть что нарушают правила пересылки жалоб, теперь вы пытаетесь клеветать, что жалобы не регистрируют...

– Но это же – один черт: если не регистрируют, то и не отсылают.

– Это совершенно разные правила, и никто никогда не поверит вам, что работники учреждения сознательно идут на нарушение одного правила за другим... Ну, сами подумайте: порядок такой – регистрируют, потом знакомятся, потом отправляют вместе с необходимыми документами. Так установлено законом. Вы понимаете меня?

– Я только о том и говорю – нарушается закон...

– С вами невозможно разговаривать... Ну скажите – почему не регистрируются жалобы?

– Читают и видят, что вскрываются беззакония лагеря.

– Учреждения.

– ...учреждения, черт возьми... видя это, не регистрируют...

– Ну вот вы и запутались: я же пояснил вам, что сначала регистрируют, а потом – читают, а вы говорите: читают и не регистрируют... Поняли свою ошибку?

– Да кто же им помешает сначала прочитать? ведь ящик этот местный опер самолично по утрам выгребает – кто помешает ему!

– Во-первых, я категорически предупреждаю вас, что за употребление жаргона, оскорбляющего достоинство работников учреждения, вы можете быть подвергнуты серьезному взысканию, а во-вторых, по существу заданного вами вопроса отвечу: жалобы, адресованные в прокурорские инстанции, могут быть запечатаны, в отличие от остальных. Так что вы могли писать нам и сами заклеивать конверт.

– Писал и заклеивал. Все равно – как в воду...

– Вот вы и сами себе противоречите: никто же не мог в этом случае прочесть вашу жалобу перед тем, как зарегистрировать.

– Почему не мог?

– Да вы ведь сами показали секунду назад, что запечатывали конверт.

– Ну и что?

– Может, здешние работники научились уже читать сквозь запечатанный конверт?.. Ха-хм, простите – я пошутил. Вы сами не хотите признать, что окончательно запутались в своих злобных попытках очернить...

– Да кто может помешать вскрыть этот чертов конверт?

– Это уже из шпионских фильмов что-то... Больше им делать нечего, как над паром ваши конверты распечатывать.

– Какой пар, Господи? Взрезал – и всех делов. Ведь понятно, что если в прокуратуру да еще заклеен, то – про них... понятно, что не пропустят уже...

– Поясняю еще раз: по существующим правилам жалобы, адресованные в прокуратуру, пересылаются в запечатанном виде и незамедлительно. Ни один работник никогда не решится нарушить это правило, так как последнее грозит серьезным замечанием...

– Да как же может обнаружиться «последнее» это?

– Все жалобы, в том числе и в прокуратуру, регистрируются в установленном порядке...

– Всё! Приплыл!... Никаких иллюзий – абсолютно никаких... Я думаю, наш разговор бесплоден, можете уже переходить к наказаниям.

– Сядьте, гражданин... мг-гм, вот: гражданин Долотов, и не паясничайте. Мне поручено дать вам обстоятельный ответ по всем пунктам ваших так называемых заявлений... чтобы никогда впредь... вы понимаете меня? Никогда!

– Что никогда?

– Никогда впредь! Вы понимаете?

– Что? Что – понимаете? Впредь – что?

– Я думал – вы умнее, гражданин Долотов. Я надеялся – мы найдем общий язык. Или, может, вы решили дурачком прикинуться?

– Я тоже надеялся найти общий язык. Давайте уже кончать с этим... Что там у вас ко мне еще?

– Ну что ж... Вот вы возводите напраслину на всех скопом работников учреждения в том, что они якобы избивают осужденных...

– Не напраслина... будьте покойны – бьют и будь здоров как...

– Кто? Когда? Кого? При каких обстоятельствах?

– Легче бы указать, кто не бьет и кого не били... вот этих, чтобы ни разу не приложился кто, – не найти, пожалуй...

– Вам известно, что категорически запрещается осужденным подавать жалобы за других лиц? Категорически! Это – еще одно грубое нарушение установленных правил, и даже если вам это правило почему-то неизвестно – это не снимает с вам ответственности...

– Что же вы спрашиваете – кого?!

– Вас били?

– Прикладывались и ко мне.

– Кто?

– Например, отрядник мой – лейтенант Клевицкий Борис Борисович.

– Чем можете доказать? Где следы побоев? Где медицинский документ о снятии побоев?

– Интересно вы все это представляете... Кто же справку-то даст?.. Ну и кстати: если без следов – так, вы считаете, можно? Без следов – пусть бьют?

– Вы же взрослый человек, гражданин Долотов, а рассуждаете, значит, как ребенок... Так ведь можно бездоказательную напраслину на любого возвести. Подобные бездоказательные обвинения советское право квалифицирует как грубую клевету...

– Когда меня судили за противодействие милиции, мне всучили заодно и побои сержанта, так сержанту тому поверили без справки и без следов, хоть и был он вдвое здоровей...

– Если вы не согласны с решением суда, гуманное советское право позволяет вам обратиться с соответствующей жалобой.

– Скажите, а эти ваши регалии в петлицах – они что означают? Кто вы, собственно говоря? Как-то вы забыли представиться.

– Советник юстиции Дробов.

– Хорошо.

– Что хорошо?

– Звучно...

– Вы опять паясничаете? Мы, собственно, по вашему делу беседуем – извольте вести себя соответственно...

– Разве по моему?.. Надоела бодяга эта. Кончайте скорей...

– Нам ваша, как вы выразились, бодяга тоже давно надоела...

– Давайте на этом и точку, а?

– То есть вы удовлетворены беседой?

– Сверх меры. Трудно было и вообразить такое удовольствие.

– Прекратите ваньку валять и отвечайте по существу: вы отказываетесь от своих наветов?

– Ни в едином пункте... Беседа с вами абсолютно ничего не прояснила.

– Тогда я вынужден продолжить по остальным пунктам. Вы указываете, что работники учреждения постоянно унижают человеческое достоинство осужденных, и ссылаетесь на какую-то там конвенцию... Что вы молчите?

– А что вы спрашиваете?

– Вы продолжаете упорствовать в этом?

– В конвенции? Есть такая конвенция, и с большим воодушевлением подписана руководством партии, и...

– Конвенция не по нашему профилю, вы продолжаете утверждать, что ваше достоинство унижают?

– Не только мое...

– Напоминаю, говорите за себя.

– Постоянно.

– Каким образом?

– Всеми мыслимыми.

– Вас оскорбляют нецензурно?

– Это, по-вашему, единственный образ?

– А как можно еще унизить?

– Вот, например, здесь всех называют мразями...

– Говорите за себя.

– Меня постоянно называют мразью...

– Кто?

– Все.

– Конкретно?

– Начнем с хозяина... Начальник здешний...

– Ну, это он не всерьез... Это у него такое, знаете, бывает... слово-паразит... Смешно даже обижаться...

– А я и не обижаюсь.

– Зачем же вы жалуетесь?

– Здесь унижают человеческое достоинство людей...

– Ваше?

– И мое тоже.

– Вас оскорбляют нецензурно?

– Ну... вы – скала...

– Оскорбляют или нет?

– Да на каждом шагу...

– Кто?

– Любой прапор, к примеру... Поговорите с ними – они кроме как нецензурно вообще не разговаривают...

– Вот видите... Вы же грамотный человек – должны понимать... ну, какое у них развитие? Что с них спрашивать? Все это – честно вам скажу – наша главная беда: мало идет к нам грамотных и сознательных ребят. Так что к этому временному явлению нам с вами надо подходить с пониманием и быть снисходительными...

– Почему же за наши нарушения с нас – полной мерой?.. Почему к их нарушениям надо снисходительно, а зеку...

– Осужденному.

– ...а зеку! наказание – и весьма чувствительное?

– Потому что осужденные своими нарушениями не только замахиваются на закон, но и развращающе воздействуют на младший воспитательный состав – отсюда и бескультурье, и низкая сознательность, на которую вы жалуетесь.

– То есть – с нас берут пример?

– Разумеется.

– А народ считает, что каков поп... что – наоборот все.

– Вы народ не трогайте! Это возмутительно, как вы готовы все очернить...

– Ну, ладно... надоело... Что у вас с этим?

– С чем?

– Что вы расследовали по этому пункту?

– Наконец вы включились в беседу... Вот смотрите: целая стопка объяснительных и большая часть из них – от осужденных... Ни осужденные, ни работники учреждения никаких унижений не подтверждают... Эй! руки!

– Вы же сами сказали – смотрите...

– Я имел в виду – смотрите, как много.

– А-а... Я бы на вашем месте и больше собрал.

– Тем самым вы признаете свою неправоту.

– Чем?

– Тем, что собрали бы больше...

– Ничего я не признаю...

– Ваше признание меня не интересует... Главное – вы подтвердили факт, а факт...

– Ну, вы меня достали... кончайте быстрей.

– Так вы отказываетесь от поклепов?

– Гоните дальше – ни от чего я не отказываюсь.

– Хочу вас предупредить, что ваше поведение на этой беседе вынудит меня в конце концов составить рапорт начальнику колонии для наложения взыскания.

– Так вы еще не составили?

– За что?

– Хотя бы за письма по инстанциям?

– Я информировал руководство учреждения об имеющихся систематических злостных нарушениях...

– Вполне достаточно.

– Наша беседа будет более всего влиять на решение руководства о мере взыскания по изложенным мной фактам...

– Козе понятно.

– Что? Опять жаргон?

– Это не жаргон, а поговорка... народная мудрость... короче – понятно же всё.

– Тогда продолжим... Самая возмутительная ваша ложь – в утверждениях о якобы имевшем место принуждении работать по две смены подряд.

– Это – не якобы... Это имело место и, если вы не вмешаетесь, уверен, будет иметь место – и в две смены, и в выходные, и когда начальству захочется...

– Да понимаете ли вы, что подтвердись только этот факт – на следующий день начальник учреждения был бы отстранен...

– Всего-то?

– Этого мало?

– Судить надо...

– Я не перестаю удивляться вашей озлобленности. Наши гуманные законы...

– Ладно, отстраняйте.

– Кого?

– Начальника. Вы же сами сказали...

– Но я для того именно сказал, чтобы на наглядном примере показать вам, что никогда начальник не решится на такое...

– Наш отряд и, в частности, 26-я бригада целую неделю работали в две смены. За отказ от каторжной работы в две смены шесть человек попало в ШИЗО, двое из них переведены в БУР...

– В ПКТ.

– Вот вы сами, оказывается, в курсе... именно – в ПКТ. Один, а именно Семенов Павел, в ШИЗО был доведен издевательствами до самоубийства...

– Семенов осуществил суицидальную попытку...

– Попытку только?

– ...успешно осуществил суицидальную попытку в приступе шизофрении. Здесь у меня заключение экспертизы. Игнатьев и

Кротов переведены в ПКТ за злостное уклонение от выполнения производственного задания и с правильностью наказания согласны – тут вот их объяснительные... Еще трое были водворены в ШИЗО за разные нарушения режима содержания и с наказанием тоже согласны, более того: никаких претензий к администрации не имеют – объяснительные их здесь же... Поймите же, наконец, гражданин Долотов, по этому пункту я сам сегодня проводил расследование и опросил всю 26-ю бригаду поголовно, отряд – выборочно и других осужденных – по их просьбе. Здесь вот у меня все объяснительные, и никто – понимаете, ник-то – не подтверждает ваши измышления... Сознательные люди исключительно добровольно работали сверхурочно по 2 часа, а не вторую смену... по два часа, чтобы выполнить установленную норму, не выполненную почему-либо в основную смену.

– Интересно, почему невыполненную? Может, нормы велики?

– Нормы технологически обоснованы – я смотрел документацию.

– Ладно... Ну ее – документацию... Все, значит, добровольно?

– Все.

– Тут вы преуспели... И все же – правда то, что я говорю, а не то, что в испуге у вас там написано.

– Вы, значит, один – в ногу?

– Значит, один.

– Ну, тогда и говорить не о чем.

– Я давно предлагал.

– Хорошо, представим только на минуту, что вы правы... Почему вас не водворили в ШИЗО?

– А я вышел работать в две смены.

– Добровольно вышли на сверхурочную работу для выполнения задания?.. Ну вот и хорошо.

– Не на сверхурочную, а полностью на всю вторую смену, и не добровольно, а по принуждению...

– Почему же вы не отказались?

– Вас хотел дождаться.

– Чтобы рассказывать мне сказки...

– Чтобы добиться от вас установления законности.

– Я не имею права верить одному вам и не верить всем остальным.

– Права вы действительно не имеете...

– Вот и здесь вы согласились... Ну, а последний пункт ваших кляуз – это утверждения о незаконных водворениях в ШИЗО... Мной лично проверены все постановления на осужденных вашего отряда, все законно. В частности, все ваши водворения, а их у вас чересчур много, очень даже много, и пора сделать выводы из этого... все – в соответствии с законом. Вот возьмите последнее... вот – «за злостную поломку оборудования»... Я считаю, что вы счастливо отделались. Это ведь вредительство, это уже преступление, и в Уголовном кодексе...

– Штамп сам сломался.

– Не смешите людей, Долотов. Этот штамп столько лет работает, а у вас – сломался вдруг.

– Вот именно – столько лет... Знаете, есть такое понятие – «усталость металла», даже металла... а тут – механизм все же.

– Ну, уморили, честное слово... ну, вы – артист... Это же надо придумать – устал металл!.. Нет, Долотов, с вами не соскучишься... Это же надо придумать только!.. У меня – всё. А вам я советую сделать правильные выводы – у вас еще есть время.

– Я могу идти?

– Распишитесь только и идите.

– Зачем это?

– Распишитесь, что вам даны разъяснения по поводу всех ваших заявлений.

– Меня не устраивают ваши разъяснения.

– Это неважно. Вы расписываетесь не в том, что вас устраивает, а в том, что – даны.

– Не буду я ничего подписывать.

– Тогда я вынужден буду вызвать двух работников учреждения, чтобы они подписали, и составить рапорт...

– А что они подпишут?

– Что вы отказались от подписи.

– От подписи в чем?

– Вам не удастся вывести меня из равновесия и спровоцировать необходимый вам скандал... От подписи в том, что вам даны разъяснения.

– А откуда они будут знать, что мне даны разъяснения?

– А зачем им знать?

– Так они же подписывают, что я отказался от подписи в том, что мне даны разъяснения.

– Они подписывают не то, что вам даны разъяснения, а то, что вы отказались от подписи в том, что вам даны разъяснения.

– Вот теперь ясно. Тем самым вы согласны, что их подписи кто-то может расценить как ваше уклонение от дачи мне разъяснений?

– Как это?

– А вы, может, со мной и не беседовали? Вы, может, сразу вызвали двоих работников, и они подписали, что я отказался от подписи в якобы данных мне разъяснениях. Ведь кто-то может так подумать? Особенно если не знает вашей лично добросовестности?

– Что вы хотите?

– Чтобы все было законно: два работника должны выслушать, что мне даны разъяснения, а потом только подписать, что я отказался от подписи в том, что мне даны разъяснения.

– Не будем формалистами.

– Это вы мне говорите? Ну, а если приедет еще кто-то расследовать по другим моим заявлениям и этот кто-то окажется в данном вопросе большим формалистом?..

– Не волнуйтесь. Все ваши заявления ко мне придут, но, я надеюсь, мы это ваше творчество прекратим.

– А вдруг вас уже... того?

– Меня?

– Я когда шел сюда, видел, как зеки машину, считай, наново собирают... Не ваша машина у ворот? Темно-синий «Жигуль»?..

– Никто ничего не собирает... Помыли машину только – я и сам мог.

– И новый двигатель... и четыре колеса нулевых...

– Вы мне угрожаете?

– Я обращаю ваше внимание, что руководство, преследуя свои цели, заставляет осужденных делать капитальный ремонт вашей машины...

– Нет, вы мне угрожаете.

– Нет, вы на меня клевещете.

– Вам это даром не пройдет.

– Вы мне угрожаете?

– Я не угрожаю вам, а ставлю в известность, что ваши действия...

– Нет, вы мне угрожаете, что несовместимо с вашим положе...

– Нет, я вам не угрожаю, а ставлю вас в известность...

– Очень приятно с вами беседовать, честное слово... Разрешите вопрос?

– Хоть мне с вами беседовать и неприятно, все-таки разрешаю. Спрашивайте.

– Советник юстиции по табели о рангах – это выше, к примеру, капитана первого ранга или не выше?

– А зачем вам?

– А это что – военная тайна?

– Нет, ну зачем вам?

– Да просто интересно – сможет капитан поставить вас «смирно» или не сможет?

– Какой капитан?

– Капитан первого ранга.

– Кто этот капитан? На кого вы намекаете?..

Слепухин услышал тяжелые шаги по коридору, властный толчок в дверь и сразу же неожиданно-добродушный хозяйский говорок, оборвавший облегченно-радостное мгыканье прокурора.

– Беседуете, значит?.. Так-так... А ты что это – не встаешь? Опять нарушаешь, Долотов?.. Вот – давно бы так... Ну – как беседа?..

– Упорствует он, Васильевич... злостно упорствует. Думаю – пора принимать меры. Нарушений у него предостаточно, и есть все основания в возбуждении дела по 188-й за злостное противодействие администрации...

– Слышишь, что прокурор говорит?.. Что думаешь, Долотов?..

– Думаю – правильно говорит. Иначе мне про вас всех и не докричаться никуда... А там – следствие... там – мои родные уже с адвокатом договорились – я их успел предупредить... Так что правильно говорит прокурор. Надеюсь, на суде мы встретимся и, может быть, даже местами поменяемся.

– Вот чешет, вот чешет... Видал, прокурор, какие у меня орлы? Эх, Долотов, Долотов... здоровый уже лоб, а послушаешь тебя – тьфу и растереть... У тебя вон был уже суд, и что?..

– Время изменилось чуток, гражданин начальник, и у меня теперь опыт какой-никакой, а знаний про делишки ваши – на не-

сколько томов... Знаете, кто у меня адвокат будет? Тот самый, что в «Литературке» уже начал пощипывать ваше ведомство. И не за прошлое – это все щипают наперегонки... за сегодняшнее... Ему мое дело – подарок просто...

– Ну брешешь же?.. Сам знаешь, что брешешь, а – брешешь... Жалко мне тебя, Долотов, сам себя в яму толкаешь... Умный ведь парень... И брось ты эти свои намеки – «ведомство», «щипают»... Вот ведь, прокурор, что бывает, когда разные безответственные писаки начинают смущать неокрепшие умы... Ты пойми, Долотов, вся эта писачья возня – временный шум, необходимое партии в сложный момент тактическое отступление... А по поводу прошлого я тебе скажу надежнее всех этих писак – я ведь работал тогда уже в органах... Я начинал свою службу в МГБ...

– У Берии?

– Какой Берия? Замусорили тебе мозги – смотреть прямо жалко. Всеми нами непосредственно руководил товарищ Сталин.

– Тоже хорош.

– Ты своим поганым языком Сталина не трожь... Я тебе прощаю, потому что ты с чужого голоса поешь, но поверь мне... вот, положа руку на сердце...

– Сердце выше.

– Не перебивай, мразь!.. Стряхни наконец с себя все эти вражеские происки и стань советским человеком... Вот так, а то расставил костыли – никакой выправки... Так вот, за все годы моей работы в МГБ я не видел ни одного – клянусь – ни одного нарушения. Веришь мне?

– Охотно... Помните, когда я пришел этапом. Вы сказали, что таких мразей расстреливать надо?..

– Не понял.

– Если по сей день – расстреливать надо, то и тогда – никаких нарушений...

– Про расстреливать я у тебя что-то не пойму, но рад, что ты согласился... С тобой, оказывается, можно договориться... Знаешь, наверное, и моя вина есть – упустил я тебя... Но ты же мог ко мне сам... на прием... И не надо было всей этой писанины... зачем тебе за какого-то там, как его?.. Прокурор, как этого куренка звали?..

– Семенов.

– Вот... зачем тебе за какого-то Семенова себя и нас изводить?.. Он получил что хотел... Если бы выжил – мы бы его судили со всей строгостью. За членовредительство. Ты же посмотри, за кого ты заступаешься – все же насквозь прожженные мрази, преступники. Гниль, одним словом. Ты представь, что будет, выпусти их скопом на людей. Это же звери... Их далеко от колонии отпускать незачем – почти все назад придут... И ты – грамотный и культурный парень – глотку рвешь за это зверье. Представь, как они в твой дом нагрянут... Жену твою как они? Представил? То-то же...

– Если даже добродушнейшую дворнягу посадить на цепь и измываться – волком станет.

– Так ты думаешь – мы их волками сделали?.. Вот как у тебя мозги набекрень перекручены. Все – наоборот. Мы обчищаем от этих волков здоровое тело... гниль обчищаем, а ты не понимаешь... Вот возьми, к примеру, война: они все в мародеры и в дезертиры пойдут, а нам с тобой Родину защищать... Ты чего ухмыляешься?!

– А мне рассказывал один тут... как вы дословно почти убеждали его, что случись война – вам с ним в одном окопе, а Долотов в полицаи подастся...

– И подашься, если не станешь насквозь нашим человеком. Я же чую – нутро у тебя наше, советское, только вокруг – гнили много... Так ты соскребай, соскребай – а мы поможем... И кончай писанину свою, кончай, значит, связи недозволенные устанавливать... Ты много еще наотправлял жалоб своих?

– Много.

– Куда?

– Да куда только не посылал... И копии все – адвокату своему, в его архив... он сам просил. Вот вчера только отослал ему предсмертную записку Семенова из ШИЗО...

– Опять брешешь... Ну ведь брешешь – по глазам вижу.

– Так вы и раньше не верили... всё – как это у вас? – все «крылья обламывали», а что заявы посылаю – не верили. Вот и сегодня и прокурор с ответами пришел... Убедились?

– Ну и что тебе ответы те?

– А ничего... Я так скоро и не рассчитывал. Сегодня прокурор с ваших коллег объяснения брал, а завтра – сам давать будет, и все о том, как он здесь объяснительные писать диктовал.

– Слышишь, прокурор? Не страшно?.. Гляди, Долотов, – не страшно ему... Понимаешь или нет?

– Я вроде бы – понимаю.

– Ладно, если так... Вот скажи – чего ты хочешь добиться?..

– Там все написано.

– Там столько написано – не разгрести... Ты внятно сообщи, чего тебе лично надо?..

– Чтоб по закону все было... чтоб...

– Все по закону! Все исключительно по закону!

– Не мешай, прокурор, пусть говорит.

– По закону и по справедливости...

– Вот видишь, Долотов, – мы одинакового хотим. А преступники, за которых ты надрываешься, совсем другого хотят. Им бы никогда не работать – вот как прогнили они... им бы только чифиря вволю – и балдеть... паразитами жить. Ты спроси у них – хотят они по закону? Не хотят! Понял, наконец? Мы с тобой должны быть заодно, потому что мы всосали с молоком: паразиты никогда! Так ты и помогай нам, помогай... А ты воровские правила в отряде насаждаешь – нам все известно... Вот как тебя перекосило... Но не поздно еще – помогай нам избавляться от воровских обычаев... Мы все равно пригнем эту нечисть, и тебе решать, с кем ты, гражданин Долотов?..

– Помогать вам сооружать «красную зону»?

– Именно так – красную! И ничего в этом названии плохого нет... Это цвет нашего знамени...

– Так на красных зонах еще хуже...

– Мразям – хуже, не развернуться... а советскому человеку – лучше.

– Если бы там надо всеми: над зеками и над подчиненными вашими, и над вами – надо всеми одинаково – были закон и справедливость – тогда, может, и лучше... Но вместо этого на зонах таких только ваше понимание закона и только по вашему образцу справедливость, и это – хуже некуда.

– Ишь, расфилософствовался тут... Мой закон – это и есть советский закон... У меня другого закона нет...

– Помните, было как-то в шестидесятых: милиции выдали дубинки и разрешили пользоваться ими в соответствии с законом? Они тогда так лихо показали свое понимание закона и справедливости, что пришлось срочно отменять дубинки те...

– Опять брешешь... Отменили потому, что пропала надобность, усмирили хулиганье...

– То-то сейчас каждый второй здесь по 206-й сидит...

– Нет, ты все-таки мра-азь – все по-своему выгнуть пытаешься. Мы ему одно, а он – опять по-своему...

– Так гласность же, гражданин начальник...

– И гласность ты навыверт извернуть пытаешься для своей выгоды... Понимаешь, прокурор, куда он метит? чем прикрывается?

– Я-то понимаю, а гражданин Долотов никак понять не может.

– Так объясни ему, объясни.

– В нашей стране, гражданин Долотов, права нерасторжимо связаны с обязанностями, с высокой ответственностью. Если партия дала право свободно говорить, то это совсем не значит, что кому-то позволят говорить не то, что нужно. Это значит, что каждый должен сознавать ответственность за свои слова...

– Ты понял, Долотов?.. Дошло до тебя? А то ведь что получается: им разрешили самим думать даже, а они думают не так, как мы?..

– Вам бы в ту же «Литературку» писать, на 16-ю полосу, – озолотились бы...

– Ах ты, мразь вонючая! В петушиной блевотине больше понятия, чем в твоем пердильном котелке!.. Мы, значит, два заслуженных человека, с ним – по-дружески, а он, паук смердячий, все уколоть норовит.

– Это у вас – по-дружески? Самим развалиться, выставить навытяжку и тыкать – то просто, то взахлеб?

– Стыдитесь, гражданин Долотов, – вам полковник в отцы годится...

– Ну уж нет... в отцы он мне – не годится. И ты никуда мне не годишься... В отцы?.. Ишь ты – родственнички...

– Ма-алчать, мразь!!!

– Не напрягайся – соплей захлебнешься, отец хренов... Да я бы тебя и петухом своим не взял, долбить побрезгал бы... но отдолбят... отдолбят...

– Авввва-авввааагзззза-аууууббль-яаааа-зи-ааабль-яяааа...

Ужавшийся Слепухин, как ни отгораживался, долго еще слышал не складывающиеся в слова звуки, возню и шумное дыхание, затухающую спираль вертлявого топотания по коридору со все возрастающим по мере удаления количеством ног и голосов...

На столике жалко съежился углами тот же листок с прежним текстом: никак не мог Слепухин текст этот подписать, все

внутри вздыбливалось иголками, и лихорадочно искал исхлестанный услышанным слепухинский ум приемлемого выхода.

Слепухин замазал строку на листке, будто вымарал ее заодно из своей памяти, и написал наново: «В настоящее время претензий к администрации не имею»; его особенно обрадовало это вот умненько вставленное «в настоящее время» – любой догадается, что это значит, и действительно: именно сейчас, 31-го января (Слепухин поставил число), никаких претензий у него нет, что совсем не значит, будто их не было вчера или не будет завтра... Обнаглев от собственной ловкой изворотливости, помогшей ему с таким вот прозрачным намеком вывернуть требуемое начальству совсем в другую сторону... осмелев при этом, Слепухин уже ниже даты быстро написал: «А нормы питания надо заново пересмотреть и баню надо – совсем мыться негде». Не перечитывая вторично, чтобы не утонуть среди соображений – как все же лучше написать? надо ли так или умнее без этого вот? – Слепухин быстро расчеркнул свой красивый автограф и сложил лист вдвое...

– А-а, это ты здесь? – в открытой двери стоял прокурор и морщился, морщился, не переставая. – Я про тебя что-то совсем забыл... Ну ладно – написал? Давай.

Слепухин переминался, готовый сорваться с места по первому же взморгу прокурора и исчезнуть отсюда, а прокурор все выше вздымал брови, читая объяснительную.

Увидев эти ползущие по лбу брови, Слепухин ухнул в яму... Теперь все, теперь закроют, сволочи... Но тут же всколыхнулись, суматошно крутясь, сожаления вперемешку с надеждами, не давая успокоиться хотя бы на осознании, что все уже неважно, что все – в подвал теперь... Эх, надо было, если так, врезать им похлеще... Но, может, и обойдется еще... может, и ничего еще по сравнению с тем, что Максим намел тут?..

Прокурор укладывал бумажки и напяливал шинель, закончив, по-видимому, свою работу совсем, а Слепухин все маялся, все перекручивался, пытаясь угадать свою судьбу... Так он и кипел, пока шел впереди прокурора в дежурную часть, ничего почти не замечая вокруг, отхватывая от окружающего случайные огрызочки да и отбрасывая даже их напрочь, если никак не касались они его колготения.

Успел махнуть рукой Славику, выбегавшему вдогонку остальным из столовой (значит, сразу же узнает Квадрат и подо-

греет его на киче... а может, еще и в отряд отпустят? Лишат ларька и – отпустят? Нет, ларька уже лишен... Тогда свидания или посылки... черт, тоже ведь лишен уже... Тогда – просто посмеются и отпустят...) Конечно же, Слепухин определил, что стемнело давно и съем прошел без него, и вот даже ужин прошел, но только и осознал, что остался без ужина и если теперь еще на кичу – совсем худо... Но не может быть, чтобы так вот подряд на него повалила вдруг непруха... И упущенный ужин представлялся уже залогом того, что дальше все наладится...

Таким вдрызг раздерганным в кипении предположений и опасений он и был доставлен прокурором в дежурную часть и остался там стоять, пока все вокруг занимались своей суетой и своими заботами. От всей крутящейся рядом суматохи опять же отхватывалось то только, что могло иметь отношение непосредственно к нему, а так как мало что имело к нему отношение, он снова возгорался надеждами, тесня в дальние закоулки предусмотрительные сигналы, которые, как их ни тесни, продолжали вспыхивать, взывая к Слепухину...

Исхитриться бы, сигареты распотрошить незаметно... только все равно вытряхнут... если бы табачок в торпеду заделать... нет, здесь не выйдет – караулят, волки, и глаз уже не спустят...

Вошел отрядник, и этот точно уже по его душу... это он только вид делает, что занят чем-то, а сам-то глазом косит, псина... Придется перетерпеть его кретинские речи, главное – не хмыкнуть ненароком... что же долго так! быстрее бы!.. а может, и лучше, что долго... хозяин уйдет, а без него кто же постановление подпишет на кичу?.. Ерунда – посадят по временному до понедельника, а утречком – к хозяину, он в таких делах никогда не отказывает, подпишет не глядя... а временную постановуху ДПНК подмахнет – и всех делов... Зачем надо было приписывать про столовую и про баню?.. Тогда лучше бы – выговорить им сразу все, что на душе..

В дежурке стало тихо, и Слепухин собрался сразу же в тугой узел, но тишина, оказывается, никак к нему не касалась – ДПНК передавал по рации гору цифр и из-за плохой связи то и дело начинал переходить на имена, передавая цифры... Невольно Слепухин усмехнулся идиотской игре в секретность: именами передавать цифры, которыми передавалась сводка за прошедший день... любой придурок знает, что цифры эти обозначают,

но вот ведь – играются в свои игрушки... Слепухин мимолетно сожалнул, что не расслышал, сколько на сегодняшний день сидит в ШИЗО, и тут же забыл, отфутболился от сводки этой, осознав, что уже ведь пересменка прошла, уже и осталось вот столько же потерпеть и – отбой... если не вспомнят до отбоя, точно отпустят...

Дежурка снова опустела – только Боря пыхтел за столом... Вот сейчас бы начал Боря с ним разбираться – все бы и уладилось без свидетелей, заговорил бы его. Это он мне, бледво? Ну, метла поганая... впрочем, сейчас лучше не залупаться. «Я не бледво», – буркнул Слепухин. Заявился режимник и приволок петуха какого-то... От этого лучше подальше, лучше бы стебанутый дедушка не заметил, не отвлекся от своего петуха на Слепухина... С режимником только свяжись – моргнуть не успеешь, как в подвале, даже если и просто случайно столкнулся нос к носу, а тут, уже приведенному в дежурку... тут ловить нечего, если упрется в тебя, если не загорится чем-нибудь поинтересней... Что-то долго они с петухом разбираются... Эх, петушок – попал к дедушке, считай, откукарекался... Да они его со жратвой поймали, вон сколько жареных ушей выгребли... а что это еще там? неужто кабанячьи причиндалы? похоже на то... теперь петуху хана, теперь его надолго умнут. Отпустили!.. Ну, может, у дедушки день рождения сегодня? Может, и Слепухина отпустит... что он, псина, вячет там?.. ишь, пузыри выплескиваются... Что это он мне сует? Да он мне охмырки эти кабаньи сует! Он мне зашквариться предлагает петушачьей хавкой, да еще не ушами даже, а этой гадостной кишкой?! Отпусти он, видишь ли, потом... Потом уже не надо – ничего не надо... Ах ты, псина!.. Вот этот невесть чей охмырок пососать в его удовольствие?!

– Возьми сам у меня пососи, оглобля червивая... На, почамкай – понравится ведь... ты ж – питух прирожденный!..

Ничего больше Слепухин сказать не успел и теперь только уворачивался от замахов со всех сторон набежавших собак. Прикладывались слегка только, а все больше махали, пугая, не решаясь и сами здесь на глазах друг у друга... На глазах было непривычно, и тогда только захватывало сладостно, если из начальства кто подавал пример, а так вот по своей инициативе, да под начальственным приглядом, не увлекался никто.

Слепухин уже не бурлил, не изводил себя попыткой обмануть свою долю, и сразу же пропало изнеможение его, до кото-

рого он себя же и довел в сумасшедших круговых верчениях по карусели: жаль – надо бы – жаль – надо бы... И подвал не вселял дрожь, став абсолютно неотвратимым и поэтому вполне годящимся поворотом жизни... (Славик видел, Квадрат подогреет – пробьемся...) Даже удивительно, как он еще несколько минут назад отбивал от себя одну только мысль о подвале, зажмуриваясь как дитё, готовый поверить в любое немыслимое чудо быстрее, чем смириться с неизбежным и как следует к неизбежному подготовиться... (ведь мог бы как-нибудь затариться табачком...).

Его вели уже двое солдат по вечерне обезлюдевшей зоне к грубо оштукатуренному высокому зданию, именовавшемуся, несмотря на свою высоту, подвалом, потому что подвалом оно и было (хозяевы псы из-за высоты постройки нарекли ее спортзалом). Слепухин хоть и пытался унять дрожь, но это уже не было дрожью страха, а вполне естественная реакция на холод, только сейчас наново замеченный, и на схлынувшее возбуждение, под которым он уже столько времени промучился на вздерге весь...

Впереди поскрипывал ДПНК, покручивая на пальце здоровенный ключ, которому вполне подошло бы с его размерами играть роль золотого ключика в одноименном спектакле... Слепухин ухмылялся и умудрился даже выискать замечательный повод для абсолютного довольства собой: хорошо, что не горбатился он вчера на стирку... вот обидно бы было сейчас сознавать, что столько сил – коту под хвост... Удача, стало быть, ничуть не оставила его...

Вслед за ДПНК, опережая солдат, Слепухин пригнулся, проходя в низковатый, но зато очень толстый проем открытой двери (запоры, как на сейфе). Потом вереницей прошли они по длинному коридору или даже железному прямоугольному желобу (прямая кишка подвала), еще одна дверь – решетчатая, десять ступеней вниз, и перед Слепухиным вывернул коридор с дверями камер друг против друга – на сколько хватало глаз, все чернели впереди пятна дверей на серой штукатурке льнущих одна к другой стен.

Первая дверь налево, и Слепухин вместе с сопровождающими его лицами оказался в дежурке подвала, хотя сама-то дверь угрожала схватить их безысходностью камеры. Две хаты самых крайних были переделаны из камер в дежурку и в комнату местных шнырей (почему-то проектировщики спортзала этих важных объектов не предусмотрели). Хоть и прошло много време-

ни от виртуозного залета Слепухина сюда, сразу по этапу, но все вспоминалось незамедлительно, вровень с каждым здесь шагом, и Слепухин осматривался хозяйски даже, будто после долгой отлучки завернул случайно домой... А может, так и есть? Все верчения там за порогом этого мощного строения – не попытка ли это во что бы то ни стало обмануть судьбу? извернуться, исхитриться и ускользнуть в чужую жизнь? Сейчас Слепухину было стыдно за те свои извивы у прокурора, и за те, что внутри, которые никто, кроме самого Слепухина, не видел, за то, что каждое ускользание требовало от него так много подлости... да-да, при всей разумности и, может, полезности изворотов этих – никогда они не обходились без подлости, без гниловатой лжи, без истаптывания себя же во всех этих изворотах... Сейчас все скользенькое и лишнее разбилось о толстенные стены лагерной тюрьмы, и очищенный, Слепухин был полностью готов ко встрече со своим домом и своей судьбой... Настолько готов, что даже снизошел скользнуть иронически снисходительной мыслью по оставшемуся за порогом человечеству, посочувствовав им всем, до сих пор извивающимся, обманывающим себя и пляшущим изгибами своими на потеху разномастным псам... посожалел всем, не определившимся еще к своему дому...

Именно в этот момент цельное его существо начали издергивать и разделывать во имя исполнения какой-то там инструкции, детально регламентирующий порядок водворения в штрафной изолятор каждой попавшей сюда мрази.

Однако все участники этой важной операции упомянутую инструкцию знали только в общих чертах и зияющие пробелы наполняли собственным разумением, более всего спеша побыстрее разделаться с лишней докукой. Тормозил их единственно этот доходяга, которого требовалось принять, оформить и определить к месту, а главное – заставить шевелиться побыстрее. Завертелся такой же, как и всюду, размолот, и снова приходилось угадывать, схватчиво оберегаясь от лишних напастей. Опять надо было крутиться в извивах, и начавшаяся только что заново жизнь снова взблескивала знакомыми уже гранями.

Но одновременно с каждым мгновением захватывало Слепухина и новенькое ощущение. Сквозным продувом подергивало каждую жилочку, невесомостью страшноватой свободы, напором разрушительной независимости ото всех и от всего. Не надо больше цепляться последними силами жизни за ломкие и ко-

варные соломинки, не надо карабкаться по ним к разным глупым мечтаниям, не надо в цепляниях этих выворачивать пальцы и душу, не надо больше ничего. Нет ничего, за что стоило бы болеть душой и колготиться в страхе навредить. Ни гроша не стоят привязанности, желания и стремления, если они оказались бессильными удержать Слепухина в своей паутине. Он ухнул камнем – и лучше грохнется в распос, чем подвиснет опять на плевочной паутинке какой-нибудь надежды. Не надо больше ублажать своенравную судьбу (взбалмошную паскуду, капризную фортуну, слепую дуру) – не глянулся ей Слепухин, и к черту ее. Хуже не будет! Хуже не бывает, и поэтому Слепухин свободен наконец от любых долгов и любых обязанностей. Не надо испытывать благодарности к рыжему прапору, подогнавшему как-то плиту чая, и можно весело порыкивать на него. И ни черта они ему не сделают. Нечем его уже ущемить или обделить. Убьют? Так и это не страшно, и даже лихо было бы глянуть на такую потеху. Пусть только тронет кто – достаточно любому глотку перекусить, так остальные сами уделаются от страха. Они еще карабкаются, каждый к своему кусочку, им еще много хочется разных крошечек, им много надо еще, а Слепухину не надо ничего. Самой жизни не надо, потому что какая же здесь жизнь? А вздергиваться на манок укутанного в неразличимый туман будущего! – ищите дураков! прободаешь туман этот башкой и – новая каменная стена упрется в лоб... Слепухин ухнул камнем и, не отвлекаясь воплями, летел свободно и грозно, заставляя псов увертывать бережливо свои головы. Никакой приманкой нельзя было его уже подсечь, и воющий свободный продув выбивался наружу подрагиванием пальцев и веселой злобой ничем не передавленной гортани.

– Ты, псина, замахнешься сейчас у меня! Я и под вышак пойду, но кадык тебе выкушу, вонючка поганая. А ты там, Дэпэнка, что за холуями своими не следишь? Службу не знаешь?! Что ты мне можешь сделать!?

Слепухин стоял голышом на бетонном полу и лаялся заливисто, поторапливая шмонающих его одежду солдат.

– А вот приседать я перед вами не обязан. Раздеться обязан, а приседать – обротетесь. Вам надо у меня в заднице пошмонать – шмонайте, а сам я для вас ее выворачивать не обязан.

Ничего удивительного не было в том, что звериную собранность зека перед прыжком почувствовали все здесь. Ничем не

могли они прищемить Слепухина, и не потому вовсе, что не было ничего такого, что похуже нынешнего его положения, чем нельзя было бы пугануть, добиваясь необходимого послушания, – много еще есть разного у живого человека, требующего защиты и обережения, за многое еще можно потянуть и покрутить, выворачивая в покорного червя. Однако для этого как минимум требуется, чтобы и сам человек знал об этом, и сам чувствовал незащищенное, болея им и боясь за него. Слепухин же, упустив себя в ошалелый разброс, не видел мутными глазами ничего стоящего защиты и сохранения, и, значит, так все сразу выворачивалось, что ничего такого и не оказывалось, за что могли бы притянуть его в былую покорность. А не имея таких поводьев, псы посматривали на доходягу с робостью и даже с почтением. Главное – согласиться подохнуть! всерьез согласиться, без блефа, и тогда – лети свободно страшным камнем, лети в разнос!

А порядки в подвале изменились неузнаваемо. Теперь здесь из своего оставляли только трусы да носки, и то если носки нетеплые. Сверху выдавали драный комбинезон из тонюсенькой тряпки и деревянные шлепанцы. Слепухин пособачился еще за теплое белье, которое именно сейчас уворачивал шнырь вместе с остальными сдернутыми с тела шмотками в грязную телогрейку. Пособачился, чтобы только не молчать в овечьей покорности и безответности.

– Эй, Дэпэнка, заставь обезьян своих сверток надписать – потом концов не сыщешь. Думаешь, не знаю, зачем сдернули все? Знаю – себе барахлишко присмотрели. Вы же чертеней всех чертей зоны, вам не скрысить хоть что – все равно что не жить. Теплухи всегда на киче отдавались. Вас за эту самодеятельность отдолбят еще всех, питухи конченые...

Слепухин все еще стоял голышом, ожидая, пока прапор из подвального наряда вернет трусы.

– Ты их пожуй еще, ищейка куцая... Эй, псина, щупать щупай себе, а рвать не смей... Что ты можешь, недоношенный?.. Рапорт нарисовать? Рисуй... Можешь вдобавок и отсосать... Попробуй, одень только наручники свои! В браслеты заковывают с ведома хозяина, а хозяин уже дома водку хлещет...

Напрасно вскручивал себя Слепухин в пружинный прыжок – не зацепилась звериная ярость ничем и клокотала нерастраченно длинным переходом к двери камеры. 0-6... шестерка... поганая цифра... неважно...

Отгрохнулась тяжелая дверь, и в ярком свете за второй решетчатой дверью качнулись к выходу не менее десяти лиц, вроде бы смазанных в одинаковую неотличимость друг от друга голубоватой пеленой разлагающего безумия.

– Подай назад! Назад, мрази! – загавкал прапор, тарабаня тяжелым ключом по решетчатой двери.

Пятна лиц подались назад, прапор приоткрыл решетку, и тут же загремели засовы одной и другой двери за переступившим порог камеры Слепухиным.

Как удивился было Слепухин в первый раз, попав сюда, так же и сейчас с той же непривычностью ощупывал он глазами несуразную постройку. Хата более всего напоминала длинную узкую щель в ширину двери, а из-за непостижимой высоты казалась щелью между двумя высоченными домами. На уровне потолка коридора сверху камеры ажурным пледом паутинился решетчатый потолок из железных прутьев, а метра на три выше поблескивали инеем на стыках бетонные перекрытия. Коридорный потолок был одновременно полом галереи, на которой прохаживались укутанные в тулупы солдаты, поглядывая через мутные витринные стекла и решетчатый потолок вниз в камеру. По длине камера-щель была не более четырех метров, и как здесь существовало 11 человек, было непостижимо. Откинутые на ночь нары (значит, отбой прошел уже) почти полностью перегораживали камеру по ширине, оставляя свободным пятачок двери с вонючим толканом сбоку. Сами нары могли дать пристанище восьмерым, и то если лежать по два, оставшимся троим и Слепухину предстояло ютиться то ли под нарами, то ли сбоку от них, то ли у толкана самого, если не на нем.

– Покурить хочешь? – перед Слепухиным приплясывал оголоблистый мужик, высовываясь желтыми мослами из рукавов и штанов комбинезона. – На, покури. – Он протягивал в лицо Слепухину плотно сжатые отдельно от стиснутого кулака средний и указательный пальцы...

– Сам кури, – отстранил от себя желтую клешню Слепухин. Мужик подмигнул, дернулся, приложил пальцы к губам и сильно втянул воздух, закатывая глаза до выворачивания белков, потом выдохнул парком над собой.

– Ты Квадратов новый семейник? – оттолкнул курильщика нахохленный кавказец. – Иди сюда, на нары...

Слепухин пробрался к дальней стене, подернутой клином серебристой наледи от высоко угнездившегося окошка чуть ли не до самого пола. Вокруг шевелились, вздыхали, шептали проклятия, устраивались, затихая, и снова погружались в оцепенелое движение угрюмые сокамерники. Однако все шевеления и все проклятия ни на децибел не нарушали звонкой тишины, сразу же облепившей Слепухина зябким охватом.

– Будем спать? – спросил Слепухин кавказца, с трудом вспоминая его лицо, мелькавшее где-то в соседней локалке.

– Спать, наверное, не получится – опять отопление выключили. Десять минут лежишь и двадцать крутишься по хате, отогреваясь, – так и ночь проживешь. Утром, после подъема и до прихода наряда со шмоном, часа на два вон ту трубу подогреют слегка. Вот на ней сидя, с утра, может, и повезет незаметно покемарить... (По стене с окном внизу тянулась ржавая труба, просверливая своим ходом насквозь все камеры подряд).

Слепухин без особого любопытства поглядывал с нар на пятна лиц, плывущие вокруг в бесполезных поисках удобного места. Со своего отряда никого не оказалось, а из знакомых углядел одного молоденького баптиста, чье лицо покачивалось голубоватым пятном – раскачивалось шевелящимися губами.

Кавказец выкарабкался из закутка и среди чуть потеснившихся призраков начал быстро приседать, выборматывая гортанные звуки, которые лопались пузырями у него на губах и вокруг, и по этим пузырям можно было догадаться, какими словами нужно переводить на русский язык чужую речь.

Склепяная стылость ухватила Слепухина в немеющее объятие, пробираясь вглубь, поцапывая уже мерзлыми пальцами за самое сердце, и на эти прикосновения тело отзывалось дрожью вдоль всей спинь: до ломкой боли в затылке. Слепухин пробовал вспенить замерзшую ярость, разогнать жилами горячую злость, но напрасно выдавливал боль стиснутыми зубами – недавний еще, всего его сжигающий тугой огонь не вздувался из замороченной стылью души – только похрустывало льдинками на висках и покалывало в позвоночнике холодным же ужасом: здесь пятнашку не выжить... да какая там пятнашка? – ночь эту пережить немыслимо...

Хоть бы не было этих железных полос, скрепляющих поперек истертые доски нар... Пристроиться так, чтобы стылое железо не вламывалось в тело, не получалось никак, а именно из

тех мест, где слепухинские кости болюче втыкались в металл, и начинала вибрировать волна дрожи, расползаясь по всем направлениям. Впрочем, может, дрожь жила в самом металле?.. в самом слове «металл»?.. Хоть бы не выламывало кости об это железье!.. Как ни повернись, железные полосы опять принимаются выгибать кости внутрь, стараясь ими же пропороть дрожащее уже непрерывно тело.

Потом были и приседания, и кручение, и даже прыжки были испробованы, но это упражнение оказалось попросту не под силу. Слепухин замороченно торкался на маленьком кусочке свободного пространства, налетал плечом на стену или на нары и после этого несколько оживал, если, конечно, острое ощущение невозможности жить можно назвать оживанием... Он быстро изнемог и временами осознавал, что вроде бы даже спит, по крайней мере, на какое-то мгновенье исчезали уродливые стены и появлялись снова, ощутимо врезаясь в плечо. Неожиданно волна дрожи, поднявшись от коленей к затылку, оказалась последней – не была настигнута следующей волной, и Слепухин замер у стены. Слабые его колени подогнулись, и он сполз по стене спиной, сложившись между своих же колен, приникнув грудью к ногам и упрятывая мерзнущую макушку под широкие ладони. Почему так мерзнет голова? чему там мерзнуть? Наверное, для этого и стригут наголо...

Потом опять приседания, возвращающая в мерзлую явь боль в плече и снова мгновенное провальное затишье на корточках с напрасными усилиями ладоней разогнать ломкую боль в голове, стянутой мерзлым обручем кожи.

Главное – дотянуть до утра, до подъема. Если и не включат отопление, то уж шлюмка кипятка точно будет и можно будет отогреть ладони, а потом теплыми ладонями разморозить голову. Квадрат должен к утру раскрутиться и подогнать курева... Только до утра дожить, а там отдышимся. Не может быть такого, чтобы здесь каждую ночь подобный беспредел учиняли. Видимо, это специально для него, для Слепухина – обозлились, волки, вот и крутят его...

Удивительным образом последнее соображение подействовало успокаивающе и чуть ли не радостно. Довел он все-таки этих псов, не согнулся покорно – вот они и мнут его, вот и выдумывают для него мучение. Главное – выдержать, показать себя, не распластаться, не заканючить жалобно им на радость – тогда

и отступят... Узнать бы: сколько осталось до подъема – тогда можно бы занять себя счетом. Впрочем, можно и так – один, два, три – только не спешить – семь, восемь – до трех тысяч с половиной досчитал, и час прошел – семнадцать, восемнадцать – нет, на час надо три тысячи шестьсот...

Слепухин сбился и начал наново, потом еще сбился и еще...

Так вот и кончишься здесь, а все равно – все у них будет по закону. Этого бы козляру-прокурора сюда засадить – он бы сходу допер, что такое его закон. Придумали себе, сучары, забор с надписью «закон» и щелкают вокруг бичами, а то, что за забором этим холодильник фурычит, где людей вымораживают в безжизненные туши, – им и дела нет. Того даже не понимают, что заглот холодильника этого ненасытен – ему только дай, ему лишь бы не вхолостую леденить. Иногда и за забор лютостью дохнет, так они там досочки подправлять и подкрашивать начинают и все шамкают, козлы вонючие: «закон-закон», а додуматься сломать к чертям морозильник этот никак не решатся, сами понимают, что он уже ими не управляем, что уже он главное, а они все только прислужниками его... Самих уже изредка глотает, и тогда все одно шаманят, глазки закатывая, скребутся тихонечко: «разрешите-извините мне лично, говнючку такому-то наружу выйти» – у-у, пидерюги! Хватило бы и забора одного, за глаза хватило бы – зачем же внутри такое еще соорудилось?!

Слепухин представил, что он не просто мучается здесь, а выполняет задание особой важности. Ему специально придумали все его дело и запустили внутрь чудовищной молотилки, чтобы он все здесь разузнал и рассказал потом правду об этом уродливом мире. Он без труда перенесся в то будущее, когда, выполнив опасное задание, он в силе своего опыта и знания вступит в единоборство с механизированным взбесившимся чудищем. Без труда Слепухин отыскал фальшивый фасад с громадными колоннами и парящим вверху гербом. По высоким ступеням поднимался сплошной поток людей, исчезая в распахе мощных дверей. Ниже, перед ступенями, колыхалась толпа, не особенно сознавая, что именно из нее и питается неиссякаемая лента тел, ползущая по ступеням между колоннами. «Закон превыше всего», – прошамкал дряхлый старикашка, ловко уворачивая в сторону от водоворотного верчения рядом. Именно этим верчением и начиналась людская река к ступеням, а старикан увертливо держался на краю водоворота, одновременно подталкивая, будто бы невзна-

чай, менее вертких в воронку, орудуя своей роскошной тростью с изумительным проворством.

– Вы ничего не понимаете, – пробился Слепухин к старикану, хватая его за многочисленные орденские планки. – Туда нельзя! Там сумасшедшее чудище измочаливает всех людей в отбросы.

– Проспитесь, молодой человек. Все эти люди социально опасны, и гуманный советский закон изолирует общество от них для их же пользы.

– Туда нельзя... там страшный мир...

– Не смейте очернять нашу прекрасную действительность. Там, конечно, не курорт, но всем известно гуманное отношение советского государства к народу, и, даже изолируя преступников, мы имеем целью не наказание ради наказания, а перевоспитание для возвращения их в общество полноценными...

– Их вернут уродами.

– Их там спасут, потому что они сейчас – уроды...

– Посмотрите на того вон – там, левее... он ведь здесь по ошибке... он не опасен...

– Если вышла ошибка, то рано или поздно ее исправят.

– Сейчас он сгинет в дверях, и будет поздно!

– Если он не виновен, его в конце концов освободят. Ошибки бывают всегда, и нельзя из-за отдельных ошибок...

– Освободят не его, а отруби, в которые он превратится. И вон еще один, и еще... Все это надо немедленно остановить!

– Закон превыше всего! Они идут по закону, а если закон ошибся, они по закону выйдут обратно.

– Откуда выйдут?

– Вот вы не знаете, а кричите. Сбоку этого строения есть дырочка специальная – оттуда и выходят, кому, конечно, закон это разрешает. Вы посмотрите внимательно – вон один выполз – вполне нормальный гражданин получился.

– Он уже не гражданин – граждане не ползают так низко, а если ползают, то глазами так не сверкают при этом. Он опасный ядовитый слизняк...

– Глупости говорите, молодой человек. Это или ошибка ваша, или даже похуже... Уверяю вас – им там хорошо. Многие даже выходить не хотят. Живут себе на всем готовом, обуты, одеты, накормлены – и все это им дает государство, а могло бы...

– Тебя бы так кормили, старый хрен! Там за дверями гербовыми они попадают прямо в пасть взбесившейся косторубки – понимаешь ты это или нет?!

– Я не допущу!.. Я не позволю никому пачкать грязью...

Старикан неуловимыми манипуляциями с тростью подтолкнул Слепухина в водоворотный заглот перед ступенями, и того понесло неодолимым течением к темному распаху дверей. Судорожным оглядом Слепухин злорадно заметил, что и сам старикан не увернулся и утягивается следом, жалко разевая изморщенный рот. «Убедительно прошу пересмотреть... уважение к закону... превыше всего... прошу не отказать в моей просьбе... заслуживаю снисхождения... обязуюсь всемерно содействовать...»

Дверь и на самом деле оказалась фальшивой, потому что сразу за ней ослепило ледяной пустыней в переплете колючки и понесло с ускоренной силой к невидимому еще, но все более ощутимому равномерному грохоту. Слепухин весь колотился мелкой дрожью, нелепо отодвигая от себя знание про невыносимый уже грохот. Механический монстр, закрученный неведомо когда сумасшедшими умельцами на вечную жизнь, требовал своей пищи. Красивый фасад, сияющий герб, порожняковые словеса – все это придумано тем же монстром для бесперебойности пережева. Вывернул зеленый,в блестках инея бок чудища, и муравьиный людской поток забурлил мелкими водоворотиками. Мастодонт требовал не только пережевного материала, но еще и разнообразнейшего ухода, и ловкие муравьишки выкручивались из неуклонного движения к грохочущим челюстям, выпрыгивали и вытанцовывали, демонстрируя любовь к чудищу и страстное желание ему служить. Давешний старикашка с умилением поглаживал зеленую тушу, успевая при этом с восхитительным проворством отгонять остальных, норовящих приникнуть к тому же боку со своей преданностью и своей признательностью. Старикан заметил Слепухина и его попытки выскользнуть в сторону, но, и рискуя быть смытым с безопасного своего островка, все же дотянулся до Слепухина изогнутым концом трости, заталкивая того в самую стремнину неодолимого течения. Ярко-красный рельс пасти чудища взмахнул над Слепухиным, и размывающиеся ужасом глаза ухватили последнее – прямо в распахнутой пасти щерилось: «Тебя обнимут дети и жена, когда искупишь ты вину сполна, когда самоотверженным трудом заслужишь право ты вернуться в дом, чтобы свою жену опять обнять, режим ты дол-

жен строго соблюдать!» Потом на голову обрушился слепящий грохот...

Слепухин прислушался к слабым ударам прямо возле уха. Струящиеся вокруг тени тоже остановили свое верчение, выворачивая головы к ритмичному колочению. Слепухин с некоторым удивлением осознал, что все это время вокруг него в том же полубреду, что и он, крутились замороженные до полного безмолвия жизни.. Ему-то, Слепухину, легче: он знает, что все нынешние мучения вызваны им, его строптивостью, его неуступчивостью, а они-то и вообще зазря сходят тут с ума...

– Ответь, там кабура рядом, – выпустил в Слепухина замерзающие в сосульки слова угловатистый парень. Сам он сидел на краю нар, обняв длинными руками себя же так, что казалось, будто руки ему удалось сцепить на спине. При этом он раскачивался вперед-назад и при каждом движении чуть ли не тыкался в макушку сидящего на корточках Слепухина.

Еле затеплившаяся надежда, что призывные сигналы както связаны с Квадратом и передачей курева, тут же и застыла, не разгоревшись: в узенькую, не более толщины сигареты щель о куреве спросили первым же делом. Слепухин вертелся, приникая к кабуре то ухом, то губами, успевая заодно поглядывать вверх на галерею и не очень-то улавливая смысл разговора. Вроде исполнял он какой-то необходимый обряд, ему лично совсем не нужный, но обязательный к исполнению. Он совсем не обрадовался, опознав в своем собеседнике Максима, и точно ни к чему ему было знать, что какого-то Штыря бросили вечером к Максиму избитым в кровь. Слепухину пришлось сделать усилие, чтобы понять, с какой именно нужды Максим беспокоит сейчас соседей. Предлагал Долото прямо с утра накрутить весь подвал на общую голодовку, убеждая, что только в этом есть их шанс на спасение. Слепухин мог бы и сам ему ответить, но тот же ритуал, который вынуждал его тратить силы на порожняковый базар, требовал и дальнейших движений.

– Погоди, – вышептал Слепухин в кабуру и обернулся к равнодушным лицам сокамерников, которые тоже сообразили, что призывные сигналы совсем не означали какой-нибудь волшебной помощи.

– Курева там нет? – безо всякой надежды спросил кавказец.

– Предлагает общую голодовку.

– Совсем крыша потекла у мужика.

– Жареный петух его еще не клевал.

– Вся надежда на то, что утром отопление включат и кипятку дадут.

– Он достукается, что ему хату водой обольют.

– Без жратвы тут сразу – гроб.

– Завтра кормежный день.

Слепухин где-то в глубине, куда еще не вломился выстужающий холод, сознавал, что эти возражения какие-то неправильные, что во всех возражениях присутствует неназываемое согласие с теперешними мучениями и именно в этом неправильность, но и он не мог сейчас отстранить, хотя бы и на один час отодвинуть от себя утреннюю шлюмку кипятку, скудный, но согревающий завтрак (какая удача, что завтра – кормежный день), мечты о тепле, которое хотя бы на час погонят по заледенелой трубе по всему подвалу.

Максим откликнулся не сразу и, услышав ответ из 06, ничего не сказал – стукнул только один раз в стенку, что и означало: понял... отбой.

Снова камеру окутала мерзлая тишь, и звонкая стылость потянула души в обморочное безумие.

Слепухин начал было рассуждать о Максимовой неправоте, но долго лукавить с самим собой не смог: все эти рассуждения нужны были для того лишь, чтобы заполнить неизбывное время до того самого утреннего согрева, от которого Максим и хотел их отшвырнуть в безысходность. Ничего путнего из таких размышлений получиться не могло, и Слепухин перестал настойчивыми скрепами слов «стало быть» зацеплять одно к другому неубедительные возражения. Принялся наново считать, заполняя ночной холодный провал, – и тоже бросил... Позавидовал чокнутому баптисту, который, по всему видно, не особенно страдал, целиком погрузившись в свои безумные молитвы... Пробовал угнездиться рядом с кавказцем, но снова закружил в надежде согреться и не по камере даже закружил, а на одном месте, сдерживая всеми силами скулящий стон, которым норовила найти выход каждая новая волна дрожи. Казалось, что стоит застонать только и дрожь не будет уже подниматься выше и выламывать болью затылок...

Может быть, во всем этом безумстве есть какой-то иной смысл? Может, это только кажется, что вот издеваются над ним в отместку за строптивость, а на самом деле существует вполне рациональное объяснение, вынуждающее этот кошмар? Просто Слепухин никак не может накнокать смысл происходящего...

Когда-то он вздумал поступать в военное училище, и целый месяц до экзаменов их, возмечтавших об офицерстве, выгоняли по утрам на цветущую полянку, где они занимались диковинной гимнастикой. В первый день прыщавенький лейтенантик подвел их к груде красного кирпича и приказал перенести всю кучу на сто метров вперед. Потом это упражнение повторялось каждое утро, и для Слепухина было настоящим откровением узнать в конце концов, что вовсе не голое издевательство двигало всеми участниками сумасшедшей игры, а вполне основательная цель: этими утренними судорожными безумствами на лужайке сооружалась гаревая дорожка для будущего стадиона. Заодно, конечно, истаптывалась цветущая лужайка и вместе с ней до кирпичной пыли истоптывалась та часть души, где бездумно зеленели смутные мечты, цепляющиеся еще более смутными понятиями «офицерская честь», «слово офицера» и совсем уж непонятно ужившееся рядом церемонное «честь имею» с обязательным наклоном головы под звучный прищелк сверкающих сапог...

Он снова увидел себя маленьким, зареванным, загнанным под кухонный стол в наказание за очередную школьную двойку. Ненавистный отец, будучи поклонником сурового воспитания, заставлял Слепухина целый день сидеть под столом на кухне, делать там же уроки и там же съедать штрафной ужин, что было особенно невыносимо потому, что Слепухин не имел права отказаться от этого унизительного ужина. Считалось, что так вот под столом Слепухин с большей ответственностью проникнется необходимостью знаний и быстрее исправит злосчастную двойку. Перед самым лицом покачивалась ступня, и очень хотелось вцепиться зубами, прокусывая до крови тяжелые набухшие вены. Слепухин не переставал скулить, потому что жалобный скулеж считался необходимым элементом воспитательного процесса и, если бы из-под стола не тянулись воющие звуки, отец непременно придумал бы какое-нибудь дополнительное наказание, в разнообразии которых был неистощимым выдумщиком. В общем, скулить он продолжал, но целиком до подрагивающего жаркого комка в желудке был занят одним: удерживал себя от соблазна вцепиться острыми зубами в ненавистную плоть.

Слепухин еле умещался под низким столом, пригибая макушку и смеясь в душе над стонущим, скорченным жуткими болями отцом, метающимся сейчас на кушетке. Он понимал, что отец не просто измывался над ним, теша тем самым свою власт-

ную гордость, а показывал, на чем держится мир, в котором Слепухину предстояло маяться долгую-долгую жизнь. Слепухин даже хотел крикнуть сейчас из-под стола помирающему отцу о своей благодарности: вовремя выполол старик всякую нежную глупость из наивной души, прочно поселив там в диковинной дружбе вечную готовность к скулежу и не менее вечную охоту цапнуть зубами в кровь... Если бы под столом не было так холодно, если бы так не свело замерзший рот, Слепухин бы непременно крикнул, хотя сознавал, что чего-то старик недополол в нем – иначе бы нынешние учителя, загнавшие его опять под стол, давно бы уже свою учебу закончили. Значит, где-то отец упустил, и теперь единственным спасением для Слепухина показывать на каждом шагу, что он – ученый; цапать на каждом шагу и не забывать скулить... цапать и скулить...

Рядом с лицом замелькали в грохоте сапоги, и Слепухин попробовал еще теснее упрятаться под стол, чтобы его не зацепили в непонятной суматохе. Загремели запоры дверей, и загомонили вокруг испуганные голоса.

У двери камеры сгрудились бесплотные призраки, жадно ворочая головами в сторону необычной суматохи и надеясь, что, может, из суматохи той выскользнет и им какое-нибудь чудо.

– Сосед вскрылся.

– Поволокли в медчасть.

– Или в морг.

– Долотов какой-то.

– Слышь, это не он с тобой про голодовку базарил?

– Он самый, – отозвался Слепухин. – Максим с нашего отряда... Живой он?

– Не разобрать – гомонят, псы, все разом.

– Серьезный, видно, мужик – чик по венам, и в медчасть на отдых.

– Или в морг.

– Все одно – на отдых.

– Мужики! тепло включили!

Все остальные звуки слились в один облегченный вздох, принявший в себя восхищение, благодарность чумному Долотову, радость жизни и выше всего – животную радость своей не загубленной еще вконец жизни, ту радость, которая перекрывала благодарность спятившему соседу пренебрежением к нему же, выхлестнувшему взмахом мойки из себя и жизнь, и любую возможную радость...

Железная труба чуточку потеплела, но можно было уже дотронуться бережно, можно было погладить ласково этот источник жизни, и каждый тянулся ладонью, и каждый был в эту минуту предупредителен и с удовольствием даже давал другому убедиться в том, что труба и на самом деле вдыхает в камеру настоящее тепло.

С синеватых лиц сходила бездумность безумия, заговорили громче, задвигались осмысленней – совсем неплохо начинался новый день, и не накатывали больше волны дрожи, и растворилась невыносимая боль в затылке, и даже чуточку стыдно стало Слепухину за глупый его разговор с Максимом.

Кто-то залез под нижние нары и там обвился вокруг теплеющей больше и больше трубы, а на маленьком ее кусочке, где труба выныривала из-под нар, и до того места, где она всверливалась в стену камеры, разместились Слепухин с кавказцем. Вокруг терлись остальные, пробиваясь поближе к теплому дыханию разогревающегося железа.

– Ого, скоро и сидеть станет невмоготу, – засмеялся Слепухин.

– Испугались, волки, – на полную включили.

Радость выплескивалась в невразумительных возгласах и все настойчивее направлялась на скорый уже подъем и на утреннюю кормежку. Слепухин почувствовал, что согрелся, и с сожалением, но уступил свое место, не решаясь отойти далеко, а тут же присаживаясь на корточках. Совсем приятно было упрятать макушку под разогретые чуть ли не до обжига ладони.

– Эх, пивка бы тепленького, – мечтательно выдохнуло рядом.

– Ну ты загнул... Кто же это теплое пиво пьет?

– Теплое пиво – самый смак... Я завсегда перед работой заходил в пивнушку...

– И допивал там остатки из бокалов.

– Ну ты там – укороти метлу!

– А ну – глохните оба!

– А вот я одну пивную знал в Ростове – ежедневный цирк.

Загремели кормушки по продолу – пошли дубаки поднимать нары. Отхлопнулась и кормушка в 06.

– Падъемь, – заорал приплюснутый солдатик, – падьнимай нар!

– Курить, командир! курить дай! курить! сигаретку хоть, волчара-а! – в несколько голосов загомонили из камеры, пока ос-

тальные поднимали тяжелые нары и пока из коридора они закреплялись в поднятом положении.

Кормушка захлопнулась, и тут же по камере закружили все ее обитатели, потягиваясь вольготно в неожиданном просторе.

Слепухин быстро вышагивал на отвоеванном себе пятачке – два шага от двери, поворот, два шага к двери. Под окошком вдоль трубы постепенно собрались все остальные, исключая чокнутого баптиста, который вышагивал рядом со Слепухиным, только гораздо медленней и расслабленней. У стены начался обычный в камере травеж и обычным же образом прерывался смехом и чьим-либо настойчивым голоском: «Дай теперь я приколю».

Теперь-то Слепухин выдержит, теперь Максим их шуганул, и, может, не решатся они больше искручивать Слепухина, поостерегутся...

– ...и так обидно мне стало – сказать нельзя, – долетало из теплого угла. – Я этому хмырю и предлагаю: «Спорим на литр пива, что за три минуты пришью все твои пуговицы – сколько их есть». Короче, раздраконил его и ударили по рукам. Тут я уж не спеша – все пуговицы, что на нем были, обкорнал, иголку с ниткой нашел и говорю: «Гляди на часы», – а сам медленно нитку вдеваю. Он уже ходуном ходит, быстрей, мол, а то не успеешь, а я минуты две вдевал, а потом и говорю: «Твоя правда – проиграл. Держи рублевку – с меня два бокала». Вокруг хохот – стены трясутся, а ему и рублевку взять нечем – руки заняты, все с него падает...

Покатила по продолу баландерская телега и своим грохотом мгновенно испаряла все разговоры по камерам. Все зашевелились, и сразу стало тесно.

Теперь уж точно выживем!..

Как ни сдерживались обитатели 06, но постепенно все начали кружить по камере, и все кружения происходили мимо кормушки в нетерпеливом ожидании утренней пищи. Наконец пошли по рукам шлюмки с кипятком и урезанные штрафные пайки хлеба. Кормушка захлопнулась, и каждый, припрятав свою пайку, принялся за кипяток, медленно и окончательно отогревая себя от страшной ночи.

Баландеры укатили, и по продолу все замерло, омертвело.

– Что же они баланду не везут? – не выдержал юркий парнишка.

– Привезут, – отозвался кавказец, чутко вслушиваясь в тишину продола.

Потом и ему надоело вслушиваться, и он быстро закружил, подгоняя себя гортанными звуками. Когда чуткие уши штрафников уловили дальние погромыхивания телеги, радости уже не было, потому что вместе с телегой нарастал и какой-то иной шум, и обостренный слух различал в нем что-то угрожающее для всех.

– Шлюмки давайте, – полыхнуло из открытой кормушки.

– Баланду.

– Баланду!

– Что удумали, козлы?!

– Кормежку гони!!

– Что он там базарит? А ну – тихо все.

– Кормежные дни – четные! Так хозяин приказал, – хмыкнул дежурный по подвалу прапор в открытый распах кормушки.

Кормушка сразу же закрылась, и все матюки вместе со всем негодованием отскочили от нее обратно в хату. Зато открылась дверь, и сквозь запертую решетчатую прапор угрожливо поглядывал в притихшую камеру.

– Ну кто тут ор поднимает? Кому не ясно?! Приказ хозяина – кормежка по четным, то есть через день, как положено.

– Беспредел закручиваешь, – качнулся к двери Слепухин. – Через день кормить должны, а вчера не кормили...

– Кормежка по четным, значит, через день – все по закону.

– В задницу себе закон этот затолкай! – взорвался Слепухин. – Через день кормить обязаны, а вчера не кормили. Ответишь за беспредел, псина... Голодовку объявляю.

– Голодовку он объявляет, блевотина!.. Хлеб схавал и объявляет...

– На тебе твой хлеб, – швырнул в красномордого прапора Слепухин свою пайку.

– Один тут объявил вчера – знаешь, где он сейчас?

– Ты за себя побоись лучше...

– Собрать шлюмки! – загромыхал прапор, наливаясь синюшней краской.

Пока звенели шлюмки, пока гремели дверные запоры, Слепухин уже понял, что сделал непростительную глупость, и всей душой терзался этим своим промахом. Теперь-то пути назад нет, а впереди такой тупик, о который только башку расколоть – и ничего больше. Но ведь обидно-то как! Неужели никто из тупо-

рылых этих не сознает, до чего унизительно, когда так вот нагло фигой в зубы!..

Из угретого конца камерной щели долетал очередной треп. Тот самый парнишка прикалывал что-то знакомое к полному удовольствию окружающих.

– ...а телке этой женитьбы – тьфу и растереть. У ней все чешется, дойки наружу лезут, ну и пока там у них пир и все прочее, она своего хахаля – на сеновал и подвернула ему там...

Черт, никак не вспомнить, что же это он прикалывает, но определенно Слепухину эта история знакома. Впрочем, что за дело сейчас Слепухину до всех на свете историй?! Ему бы из своей выпутаться... Непреодолимая преграда отделила его от остальных обитателей 06 и теперь уже слепому было видно – никто Слепухина не поддержит, и дальше ему бедовать в одиночку против всех здешних псов. Этим соображением немножко подогрелось его тщеславие, а уверенность, что сейчас вот красномордый прапор перезванивается с дежурной частью и докладывает, что здесь произошло, и они там все ищут выход и соображают, как бы уломать Слепухина на попятную, – уверенность эта если и не успокоила Слепухина, то чуточку укрепила его... Но ведь и вправду нестерпимо такое вот унижение...

Закон для них – это палка, которой они лупят по каждой высунувшейся башке. Но ведь всегда кто-нибудь хоть на чуток да и высунется – тут его хрясь по башке, и снова вокруг все ровно. Так и получается, что с законом, с палкой своей они и пригибают всех ниже и ниже. Но ведь какие способы поносные для пригиба этого находят!.. Слепухин вспомнил, как в давнем уже году, когда принимали очередную их фанфарную конституцию, его просто до тошноты дергало от мерзейшей уловки, которая с головой любому ежу и любой козе выдавала, чего на самом деле стоит вся эта конституция и все эти – ее принимающие. Дело в том, что новый праздник был назначен на новое число, и в тот год это выпадало на пятницу, только объявлено было в конце работы, когда народ уже пятницу отпахал. А два следующих года выходил их праздничек на субботу и воскресенье, то есть все учли, собаки, и так перенесли, чтобы три года подряд хоть по дню одному, да уворовать. Особенно обидно было углядеть в календаре, что старый день задрипанной их конституции выпадал на понедельник, а в следующие годы, значит, вторник и среда. Вот это мелкое воровство было особенно обидно, до перехвата в горле, ну а то, что

жульничали так вот по мелочам да под громкие фанфары и рукоплески – это уж и до рычания доводило... Так и теперь, с четными кормежками. Неужто никто не дотумкает, как нестерпимы такие вот щипки, – лучше бы уже прямо кости дробили...

– ...она по комнатам бегает – «Помогите-спасите», а ей навстречу мужик, прикинутый с иголочки по ихней моде. Он ей хрясь по зубам и отодрал тут же на диванчике...

Что это он прикалывает?.. Интересно, созвонились они уже или нет? Наверное, сейчас листают его дело и прикидывают, как бы к нему подступиться. Ничего, сегодня воскресенье – один день можно и поголодать, а в понедельник все равно к хозяину поведут – он же в подвале по-временному сидит, хозяин еще не утвердил, и, может, даже он этой голодовкой себе и лучше сделает: может, хозяин, чтобы голодовку снять, и вообще его из подвала вытащит... А что? Очень даже может быть – хозяин ведь сам не подписал постановуху, ему же этим, что он Слепухина из подвала вытащит, не идти на попятную... А то еще возьмет и подпишет только суток трое, чтобы замять все... Нет, рано еще отчаиваться, еще пободаемся. Вот только плохо, что в одиночку. Если бы всей хатой упереться – точно бы заманДражили волки, но разве этих поднимешь!..

Слепухин глянул на тесный кружок разомлевших своих сокамерников и острой завистью посожалел, что отделится от них. Сидеть бы сейчас там, слушать порожняковые приколы, подремывать в тепле, а вместо этого зябкое подразнивание неведомого будущего, вылепляющее то непроходимый тупик, то неожиданно заманчивые повороты. Сейчас, после Максимова залета, скорее всего, не решатся морозить хаты подвала – можно было бы спокойно перетерпеть пятнашку, тем более, Квадрат подогрел бы. А потом Квадрат бы и встретил, запарил бы чифирька вволю... эх, непруха какая пошла!.. Вот сидят себе, и все им по фигу – только слюни пускают, как этот дерганый по ушам им шоркает.

– ...она гонит во весь дух – прямо из комбинашки выскакивает и орет: «Жофрей! Жофрей!», а он пи-издюхает на своем костыле и не оглядывается...

Загремели засовы, и все скоренько вскочили на ноги. В камеру втолкнули новичка – хмурого парня со второй промзоны, и когда двери, лязгнув по напряженным нервам, захлопнулись, новенький вместо приветствия спросил:

– Как тут нынче?

– Беспредел тут, – пояснил Слепухин, надеясь обрести в решительном парне союзника.

– Там тоже понеслось, – отозвался парень. – Какой-то пидер нажаловался прокурору, что баня плохая, вот и пошли выгонять на строительство бани. Теперь подвал загрузят до предела: удумали пахать все выходные, и в будни каждая свободная смена по четыре часа вкалывает на бане...

– Тогда и выходить отсюда нечего, – хмыкнул кто-то в углу.

– Красавец сегодня вышел дежурным, – добавил новенький. – Он и здесь нам чего-нибудь учудит.

– Эх, совсем не вовремя ты со своей голодовкой, – покрутил кавказец головой, обращаясь к Слепухину.

– Что же ты так? – заинтересовался новенький. – С Красавцем ведь не поголодуешь – всю кровь выпьет.

– Ничего... может, подавится еще, – отозвался Слепухин, более всего боясь сейчас, как бы не узналось, что вся банная круговерть пошла с него.

Но ведь чем он виноват? чем?! Эти же псы по любому поводу готовы издевательства напридумывать – при чем же здесь он?!

Снова загремели засовы, раскупоривая дверь, и в камере застыла напряженная тишина, когда в открытой двери проявился из тусклого коридора кургузенький Красавец, расставив кривые ножки, подергивающиеся в слишком широких для них, надраенных в зеркало голенищах.

– Кто тут не доволен нашими порядками? – рыженькие редкие усики покручивались и подрагивали. – Я спрашиваю, какой педераст вздумал нарушать установленные правила?

Теперь уж Слепухина освобождающе захлестнуло безоглядной яростью:

– Правила вздумал нарушать дежурный прапорщик – он отказался выдать пищу.

– Ты кто такой? – прищуренные глазки уцепились в Слепухина. – Кто такой, спрашиваю!

– Слепухин.

– Врешь, мразь! Отвечай как положено: «Педераст по фамилии Слепухин». Ну, повторяй!

– Ух, метла у тебя поганая, начальник...

– Выходи!..

В подвальной дежурке Красавец уселся за стол и стал перебирать карточки, отыскивая слепухинскую. Пересмотрел всю пачку и начал сначала.

– Как твоё фамилие?

– Слепухин.

Здесь-то с провальным озарением Слепухин осознал наконец, что никто про него не перезванивался, никто про него даже секунду не думал, никто не собирался и не собирается бодаться с ним – попросту до него никому нет ни малейшего дела. А ведь из одной только мысли, что его лично ненавидят, ему лично стараются сделать что-то особо непереносимое, – от мысли этой набирался Слепухин силой для противостояния в тяжелом поединке. Они даже не помнят его, они его под страхом смерти не смогут отличить от кого другого, им совершенно все равно, кого растереть и у кого кровь выпить. Вот от этого, что сидящий за столом недоносок даже не отличил Слепухина в личные свои враги, от того, что сморчку этому все равно, на кого излить свою желтую вонючую злобу, – последние надежды на какой-то удивительный поворот оставили Слепухина, и будущее его тыкнулось в лоб глухой стеной, и колени сразу ослабли...

– Значит, не по вкусу тебе наша пища?

– Пища по вкусу... – Слепухину не очень понравился его собственный голос, но он заставил себя подзвучать его еще чуточку просящими нотками. – Только вот не кормят ведь, гражданин начальник. А я и вчера не поужинал...

– Ты бы так и сказал сразу, – хмыкнул Красавец. – Эй, воин, принеси-ка мужику похавать.

Слепухин с удивлением поглядывал на Красавца, боясь верить, что так вот запросто все обойдется.

Припыхтел солдатик, всовывая Слепухину в руки шлюмку с застывшей баландой.

– Значит так: лопай, если не поужинал, и – в хату. Согласен?

Слепухин кивнул и поискал глазами ложку.

– Нету весла, – понукнул его Красавец. – Так хавай.

Всей-то размазни было в шлюмке на одну маленькую горсть, и Слепухин мигом очистил посуду.

– Вот и хорошо, педераст Слепухин, – Красавец ухмылялся прямо в лицо. – Веди его, воин, в 03.

– Ты что вытворяешь, начальник? Побойся Бога!

– Так ты же зашкварился, – щерился в лицо Красавец. – Ты же из петушачьей шлюмки петушачью баланду доедал... Тебя же мужики теперь к себе в хату не примут...

– Ах ты, вонючий выкидыш! Кто же тебе поверит, псине, что ты зашкварил меня?!. Кому ж ты это сказать успеешь?!

Слепухин не успел качнуться к Красавцу – налетевшие из продола прапора и солдаты сбили его с ног и, пиная куда ни попадя, пытались вытолкать из дежурки. Слепухин уцепился в порог и выхаркивал из себя самые отборные ругательства, пересыпая их проклятиями и угрозами.

– Ты ведь сдохнешь, псина... Сегодня же сдохнешь... Ночь эту не переживешь... Не допустит Господь, чтобы такая падаль жила... Будет тебе, как и мне сейчас... похуже будет...

– Похоже будет, – хохотал Красавец и разрумяненно оглаживал топорщливые усы. – Похоже, но не совсем... Тебя сегодня отдолбят за милую душу, и я сегодня телку одну отдолблю за милую душу... Правда, похоже? – Красавец мелко захихикал.

Солдаты умудрились все-таки оторвать Слепухина от порога и потянули по коридору, истаптывая его руки, ударяя по пальцам, которыми Слепухин цепко хватался за сапоги своих мучителей, за неровности в бетонном полу, за многочисленные запоры тяжелых дверей с примолкшими сейчас камерами. Какой-то жуткий обруч стянул непереносимой болью голову Слепухина, мешая ему соображать, выдавливая наружу налившиеся кровью глаза, заполняя тошнотным шумом и гулом уши.

– Максим! Максим! Ма-ак-сим!! – заорал Слепухин на весь продол, и звериный его вопль, пронесшись по подвалу, вымел своим взвоем все остальные шумы, обрушив сразу же оглушительную тишину в продол. Даже шумная свора, пыхтевшая над Слепухиным, замерла на мгновение, но, сразу же очнувшись, поволокла сопротивляющееся тело дальше.

– Мак-сим! Мак-сим, – колотилось в бетонные стены.

Красавец дернулся в испуге, когда прямо под ноги ему шарахнулась из-под Слепухина здоровенная крыса, и в раздражении прицельно засадил сапог по маячащему впереди копчику упрямо сопротивляющейся мрази. Однако и это не помогло, и все нешуточно упарились, пока доволокли Слепухина до нужной камеры.

Слепухин углядел налитым кровью глазом пляшущие на дверях цифры и снова завопил, вкладывая все свои оставшиеся силы в напряженную гортань и чувствуя, как разламывается обруч на голове, разламывается вместе с головой, вместе с болью.

Он попытался еще помешать откручивать запоры, над которыми плясал номер 03, но и это у него не получилось – дверь распахнулась, и продолжался немыслимый вопль «Ма-а-а-ак-

си-и-и-и...», захлебнувшийся запираемой вслед за вбитым в камеру Слепухиным дверью...

...С самым началом нового дня местный шнырь совком, смастеренным из лопаты-шахтерки, выгреб Слепухина в грязный коридор и там – этим же совком – собрал в кучу.

Сам же Слепухин никак этому не помогал. Дробить свое сознание на никчемушные ноги-руки – значит уменьшать его могучую силу, и Слепухин смотрел только куда смотрелось, снизу, чуть в сторону, не переводя даже взгляда.

– Это цветочки еще, – пробуркивало рядом, – еще наплачешься.

Показался урезанный невидимым пространством шнырь – наискось голова и плечо с дергающимся обрубком руки. Оказалось, и не шнырь вовсе, а он же – Слепухин, вернее, какой-то кусочек его, проживший жизнь этим вот шнырем – понятный и чуть ли не родной. Шныря-Слепухина занимало одно только: обрезать еще пайки хлеба перед раздачей или оставить? нагрянет сегодня какая-нибудь псина или обойдется? И чего неймется им? То сами орут «поменьше-поменьше», то – про нормы вспоминают и душу трясут за каждый съеденный кусок, то «нечего этих мразей кормить», то вдруг – «почему, мразь, у своих же товарищей кусок воруешь?», пробуй угадай им, одно слово – псы бешеные...

Можно бы помочь ему, посоветовать, что сегодня опасаться нечего, но Слепухин чувствовал, что вмешайся он только – и пропадет вся чудесно обретенная сила его всепроникающего ума, что сознание его, вольно пульсирующее сейчас на свободе и даже не на свободе, а свободно и где угодно, сознание это может в любой момент скрутиться и упрятаться обратно в поганую тесную оболочку, уже не пульсируя, а судорожно сжимаясь, утискиваясь, перемеливая само себя.

Слышно было тупотение по коридору какой-то тяжелой сороконожки, вместо шныря обрисовался белесенький лейтенантик, и сразу же много-много сапог начало обминать где-то далеко от Слепухина его вялое тело.

– Разлегся дерьмом.

– Нет, каков пидер, а? Накаркал, падаль... Получай.

– А ведь точно накаркал – как грозил; ночью и скопытился Красавец...

– Ну, вставай, блевотина вонючая.

– Эй, ты чего смотришь? смотришь чего??

– Не трогай его – вона как вылупился. На Красавца тоже так смотрел, вперед как приговорил его...

И вовсе не испуганный лейтенантик пытается выскользнуть из-под взгляда Слепухина, а лейтенантик-Слепухин, всполошенный до подергивания губы, метается, умоляя судьбу к милости. Только бы не узналось никем про его участие в залете Красавца. Ну не змеюка ли, так обштопал? и все равно – не впрок. Бог ведь хоть и далеко, но – шельму метит. Это же не Красавец, а лейтенантик-Слепухин присмотрел бабу. Да и что там присматривать было, когда сама она заявилась к нему: к мужу на свиданку припоявилась, а муж-то в его отряде, и хоть конченый паразит, пробу некуда, но снизошел бы, посодействовал бы им, чтобы через это бабе его глянуться (ух, хороша, паскуда), только вот и он не во власти помочь – на киче ее супружник. Тогда и появилась вороватая мыслишка – обкрутить: и как пошел тропки протаптывать, как запел! – вспомнить смешно, – и про досрочное, и про то, что он сил не жалеет, а тут и вовсе не пожалеет, и из графинчика водички, и про то, что, может, выгорит еще со свиданкой – пусть, мол, не уезжает, пока он все опробует, и что выплакивать такие глаза не надо – также и узнал, где остановилась на квартире (поселочек весь – с гулькин нос, и все надо аккуратненько, чтобы и слушок не зазмеился – сживут ведь, здесь рисковать – себе дороже, но баба-то, баба – как с журнала зарубежного). Черт дернул с Красавцем по-корешковски поделиться (нет, какое там по-корешковски! хотел и предупредить, что, может, попросит на кичу передать чуток чего-нибудь и записочку от муженька взять, что, мол, отрядный – человек, все загнал по уму и чтобы, значит, не сомневались. Опасно, но и сейчас, как вспомнишь ее – невмоготу)... Каково же сегодня спозаранку услыхать, что лярву эту вытащили с Красавцем вместе из машины! – угорели в гараже. А может, и впрямь этот петух приговорил?.. А что – все может быть. Надо поосторожней. Лейтенант-Слепухин о чем-то убеждающе просил, и, конечно же, не было нужды в его просьбе отказывать, тем более, что вроде бы получалось, что сам же Слепухин и просил себя, но не отказывать – это значит шевелиться, вставать, начинать управлять ненужным совсем телом...

– Ну вот так, правильно, чего же на стылом бетоне лежать? так и очко застудить недолго... Пошли... пошли поживее.

Теперь и в самом деле стало холодно, и главное – сам Слепухин начал втискиваться обратно в свое прежнее логово, чтобы оберегать его и сторожить. А чего его сторожить? К черту!

Слепухин расслабился и с легкостью прекратил всасывающееся вселение себя самого в ненасытные потребности лишнего ему тела (обойдется оно и само по себе). Выяснилось, что всякие простые надобности передвижений могут не Бог весть как, но выполняться самыми малыми вмешательствами. И не изнутри даже, а снаружи, и Слепухин опять воспарил свободно, почти и отделившись (или отделавшись?) от тесного узилища в обрешетке ребер, от ненасытной прорвы махоньких желаний и претензий всякой клеточки, всякой косточки, от цепей привычек и удавки памяти, что каждым толчком крови раздирали его могучее сознание в хаосе мелочей... Он струился над заплеванным полом жарко натопленной подвальной дежурки, тесной сейчас от набившихся перед сдачей смены таких разных и таких родных в понятности своей работников лагеря (псов? волчар? зверья? – глупости: обычных слепухиных). Пятеро солдатиков и трое прапорщиков обступили в углу самого Слепухина и с боязливым любопытством рассматривали, подавая при этом советы, как тому управиться с грудой тряпья, полученного взамен рваного комбинезона. Труднее всего было со штанами, которые сидя надеть никак не удавалось, а что делать с оставшимся в лишних деталях бельем? – тут советовали разное, пересмеиваясь, но и пересмеивались тихонько и боязливо, за спинами друг друга.

Слепухин просигналил омертвелой руке откинуть к чертям лишние тряпки (откинуть не получилось – удалось сдвинуть только) и оставил ее с мелко подрагивающими пальцами опять без присмотра.

– Смотри, фарами своими залупал.

– Выдавить бы ему совсем штифты его, чтобы не смущал, – тихонечко бормотнул черненький прапорщик-Слепухин прыщавому прапорщику-Слепухину.

Не трудно было спокойненько впитать их всех, что Слепухин и сделал тут же, но вчерне, не утруждаясь особенно деталями...

Двое молодых солдат заранее тосковали возвращением в казарму (не разжились чаем и, значит, быть битыми); еще один колготился, как бы достать черные петлицы к уже припасенным погонам (предстояло ехать в отпуск, и не лишнее примаскироваться – береженому и Бог дает); четвертый сооружал хитроумные ходы, чтобы смотаться в поселок за два километра от казармы (библиотекарша, конечно, никудышинка, но других-то и вов-

се нету); пятый – все прикидывал: загонять в хату пачку сигарет или оставить себе? (зеки ведь такие мрази, еще и сдадут... но не возвращать же обратно пятак, что взял за услугу! опять же не загонишь – больше не разживешься); все трое прапорщиков исходили одним негодованием: псина офицерская, уселся бумаги рисовать, и, значит, накрылся завтрак, который всегда готовил шнырь перед концом смены, а всего досаднее, что сегодня козлы из лагерной кухни отвалили по-щедрому, видимо, после прокурорского наезда от показушной кормежки понакопилось у них продуктов (эти трое были неженатики и обитали в общежитии, поэтому завтрак для них – кровная забота, а не прихоть с жиру да жадности, как у других, как, к примеру, у этого же псины, который свое все равно урвет где-нибудь – если не в комнате свиданок, то и прямо на кухне...).

При этом лейтенант-Слепухин о завтраке и не помышлял, полностью занятый исправлениями в бумагах на упрятанных им сюда мразей (на всякий случай надо переделать рапорта, нарисованные второпях и как Бог на душу... формальность-то она формальность, а вдруг, например, начнут теперь проверять – за что он мужа лярвы этой закрыл? всем-то понятно, что здесь ему – самое место, но в рапорте лучше заменить «недозволенные сапоги с теплой подкладкой» на «сапоги неустановленного образца» или даже так: «нарушение формы одежды», нет, пусть будет просто «нарушение режима содержания»... Теперь не забыть – полкану на подпись постановуху с новым диагнозом, и с этим рогоносцем покончено... впрочем, есть еще его объяснения, ну да кто же писульки их читает?.. нет, лучше в постановухе пририсовать: «от объяснительной отказался»... теперь следующий...)

Слепухин оставил их всех и, раздвигая границы своих способностей (или осваивая эти неизвестные границы), единым духом просквозил по всему упрятанному в камень строению, в котором сейчас 197 измерзшихся слепухиных накручивались нетерпением в ожидании утренней шлюмки кипятка, а еще шестеро из самой дальней буровской хаты о кипятке не вспоминали. Этим сейчас было не до того: пятеро загоняли в угол шестого, пока только словами, но слова все более тяжелели – предъявлялись малейшие промахи и раздувались до непростительных «косяков», а испуганные попытки оправдаться самой своей испуганностью вызывали справедливое презрение и выхлестывали в от-

крывшемся направлении изрядно накопившуюся злость. При этом все пятеро бедолаг слепухиных старались заглушить праведным гневом немаловажные соображения о другом разделе маленьких ежедневных паек, если этого чертяку загнать в стойло, а шестой бедолага Слепухин на глазах терял всю силу отпора именно потому, что более всего скорбел об утреннем наперстке сахара, который может сейчас вот потеряться безвозвратно... Конечно, не в таком стремительном пролете Слепухин и в других хатах БУРа и кичи усмотрел бы много интересного для все возрастающей своей любознательности – не одну только жажду согреться крутым кипятком, – однако оставленное в углу дежурки обмякшее существо чем-то еще держало его, не пускало вырваться в совсем уж свободный полет, и Слепухин вновь закружил в накуренном пространстве дежурки...

Не имея иной пищи для себя, кроме заполнивших дежурку слепухиных, он с менее рассеянным вниманием принялся перебирать что есть...

Маята серой казармы со всепроникающим ароматом хлорки ничем не зацепила его, а именно этой маятой уже и начинали подергиваться солдатики. Прапорщики тоже все неотступней переносились на пару часов вперед, в задрипанное свое общежитие, в котором они, оказывается, тоже жили семейками – по семейке в комнате, и были у них свои авторитеты, свои черти и даже – свои козлы. Расхристанные комнаты с залежным бельем на кроватях и журнальными красотками по стенам (в основном из журналов мод – где ж достанешь иные? да и достань – замполит-волчара сорвет тут же, может, и с погонами вместе, пришивай потом наново). Остатки еды на столе, кучка мусора, загороженная веником, фантастические мечтания о какой-то начавшейся внезапно красивой жизни в каком-то большом городе, и все эти мечтания вперемешку с боязнью выездов в соседний город, с растерянностью на шумных улицах, по которым ходят как попало слишком много людей и у всякого руки вольно болтаются, а не в безопасной сцепке за спиной... но и боязнь эта – в прослойках ожидания поездки в город, где вечером – яркие огни и блуждают по улицам яркие женщины, – все эти фантазии и все эти опасения живут в комнатах и – без никого, сами по себе, сгущаясь под кроватями даже... А над всем – задерганная нужда, потому что триста с гаком – какие это деньги? чего на них купишь? даже вы-

пить – не каждый день, а не выпить – так что же делать в поселке этом, который ведь тот же лагерь?.. вот из-за вечной бедности этой и шныряет по комнатам неистребимая ревнивая зависть к тем, кто умудряется половчее на лагерных мразях свое урвать, свои макли навести – в зоне ведь тысячи под ногами лежат, только умей взять и умей следы замести... Задержавшись немного в комнате черненького прапорщика, который обнаружил вдруг за собой склонность мочиться в постель и боялся оставлять без себя комнату, чтобы не открылось... углядев в чемоданчике прыщавого прапорщика зоновские поделки, припрятанные от семейки для единоличной нужды... осмыслив напирающую горячку третьего, который вызвался сторожить в красавцевом гараже совсем голенькую (го-о-оленькую!) телку, пока начальство решит, как там с ней дальше (не брать же ее в дом на один стол с Красавцем!)... – Слепухин оставил их добивать смену без себя и переместился к лейтенанту.

Лейтенант-Слепухин одновременно с наведением марафета в бумагах пытался угадать: испортит хозяин предстоящие выходные дни или даст отдохнуть? Впрочем еще неизвестно – что лучше... В город смотаться не выйдет: жена устроилась наконец-то в школу домоводство преподавать, а ему из-за ее дури придется этим же домоводством дома заниматься... Некогда любовно оборудованный кабинетик сейчас уже не согревал сердце. Письменный стол с налетом пыли, ковер, утыканный наполовину заброшенной коллекцией значков, груда книжек, так и не ставшая домашней библиотекой... Зевнуло нутро письменного стола, оборудованного крепкими запорами (жене пояснено, что от детей, что оружие, а откуда бы оружие взялось?) – несколько колод игральных карт в фотографиях, но не для игры, конечно, а для укромного глядения, финки-ручки, пистолеты-зажигалки, всякая иная зоновская продукция – это для подарков и продажи, но не здесь, а в отпуск, случайным людям как неплохое подспорье... Можно бы и рискнуть и развернуться с этим товаром, но не с лейтенантскими звездочками – хотя бы одну большую сначала выслужить... Нет, дома делать совершенно нечего... А если еще выплывет что-нибудь про всю эту бодягу, Красавцем попорченную?.. Вот – зар-раза! Как же он раньше не вспомнил: Маринато теперь из поселка уедет, и что же ему делать? А как хорошо этот год все было, и Красавец, лопух ничего не подозревал: корешки, и вроде все – шито-крыто. Теперь же совсем никакой отдушины не будет – одна только бессмысленная серота...

Тоска вытеснялась злостью, а та, в свою очередь, искала, на кого выплеснуть, искала виновника такой вот непрухи... Все с рогоносца этого пошло и бабы его... Ну, я ему заделаю!.. Он у меня покорячится...

Тут прояснилось, что виновник лейтенантских бед ведь и не знает ничего еще – вот где возможность сладостной мести, чтобы покрутило его, чтобы и ему жизнь маслом не стелилась... Но как сообщить? не лично же лейтенанту?.. Черт его угадает, как полкану крутанет, когда доведется... может похохотать, а может и в бараний рог одними матюками скрутить... Нет, здесь надо умненько.

– А бедолага этот и не знает ничего, – (раздумчиво, негромко и никому лично), – все же горе у человека, может, хоть вывести – покурить дать?.. Оно, конечно, нарушение, но ведь и горе какое...

– А в какой он хате? – встрепенулся солдатик, так и не решивший еще про измятую в кармане пачку сигарет (Слепухин, невольно следуя голосам, опять погрузился в себя-солдатика)... Вот ведь удача повернулась. Хата – по соседству с нужной. Ничего, передадут сами, а я вроде сделаю, как обещался...

В коридор за солдатиком Слепухин поленился и, покружив еще немного над лейтенантом, с прощальным сожалением нахватался частями от пышных прелестей Красавцевой жены...

Все вроде бы в дежурке этой было просвечено (мелькала и шебуршилась разная живность в углах и под половицами, но слишком уж резво – не угомонишься). С ленивой скукой Слепухин несколько отстраненно просыпал сквозь себя в разных комбинациях все те же живые свои осколочки – такие разные и такие одинаковые.

Да, да – одинаковые, и не только тем, что все они, хотя и каждый по-своему обмятый и обточенный, не что иное, как он сам. Как бы ни блистали отдельностью своей и непохожестью эти слепухины, ясно высвечивала их общая грань, общая основа – работа. Все, что искрилось, пузырилось, металось, все это размещалось в строгом узоре магнитным действием их единой основы. (Под окаменелостью слежавшихся лиц, тел – в основном женских, – под киношными обрывками, страницами рекламных красоток где-то в задушенном детстве лейтенанта отлистнулась страничка школьного учебника – железные опилки правильными линиями улеглись возле магнита).

Работа всем этим слепухиным вывернулась даже не самой существенной частью их жизни, а единственно содержательной ее частью. Остальное всё – ломтики времени после работы или до работы. Никаких не было особо мудреных соображений по этому поводу, никаких фанатичных загибов и воспарений о труде, долге или ответственности перед народом (хотя при случае, приняв чрезмерно или после фильма соответственного и непременно трогательного, бывало и цеплялись не слишком шибкие языки за слово «органы», вытягивая из него что-то такое... волнующее). Просто-напросто – работали они свою мужскую серьезную работу. Можно даже сказать, что это – их ежедневный праздник, хотя бы потому, что во все почти календарные праздники приходилось работать (зеки ведь в неистребимой испорченности своей норовят именно всенародные праздники изгадить чем-нибудь, поэтому – дополнительные наряды, специальные меры, особая бдительность)...

Слепухина явно не насыщали впечатления, которыми он здесь прозябался. Покопавшись поглубже в подвернувшемся солдатике (в том, что последние дни пролистывал кипами журналы, подбираясь к библиотекарше), отыскал Слепухин и похожую со своей ситуацию: здоровенная акула, не видя, что она распорота почти поперек, продолжает жадно пожирать все, что можно ухватить, и все сожратое – ясное дело – вытряхивается обратно без задержки...

Нетрудно было и осознать, что всему виной разделенность его с небольшой, но, видимо, необходимой частью себя, которая упорно цеплялась в жалкую груду тряпья и костей на полу дежурки. Тоненькой связи с недостающей этой частью не хватало, и если не удается выманить необходимое ему из этих ненужных обломков, то великодушный (или заскучавший) Слепухин готов сам сделать благородный шаг к единению. Почему бы временно не передохнуть в прежнем пристанище? (Заодно и привести в относительный порядок это рассыпающееся тело).

Слепухин понял, что именно его личной маленькой памяти и не хватало для совершенного завершения себя (заткнулась дыра, куда безудержно проваливалась всякая новая пища). Но память эта, ухватившись цепкими щупальцами, готова размять все чудесные его способности: тянет лабиринтами каких-то неисчислимых ошибок, узкими потемками всяких желаний, расплющивает тупиковыми стенами неисправимых уже уверток, преда-

тельств и подлостей, зализывает тут же ушибы липким обманом самооправданий, обклеивает пластырными путами и неудержимо тянет дальше по разным переплутанным ходам одновременно, раздергивает дальше в крохотные колотящиеся кусочки, бессильные в своей крохотности...

Ужас предстоящего существования вздыбил каждый его ошметочек единой яростью. Нет! нет! нет! Назад! Скорее назад! Пусть лучше бездонная усталость ненасытности! Пусти же, пусти! Пропади пропадом это мятое тело! Пусти, драный мешок! Ну, отцепись же! – я не оставлю тебя совсем... помогу... я даже больше смогу помочь снаружи, чем отсюда... Нет! нет! нет!..

– Нет! Нет! Нет!

– Чего это он заходится?

– Двинь его...

– Я тебе что – камикадзе? Сам двинь.

– Может, сигарету ему дать?..

– А он не берет...

– А если водой облить?

– Это уж ты сам попробуй...

Слепухины поглядывали издали на обмякшее опять тело и отходили от переполошивших их воплей...

Совсем оставить эти кости не получается, и придется теперь присматривать за ними постоянно, но главное – не забывать о безопасном расстоянии...

– А как глазами засверкал-то...

– Припадочный.

– Вот это – в точку. Припадочные, они все – с дурным глазом.

– Хорошо бы приручить его, чтобы по указке: кого тебе надод – того он глазом своим и приговаривает.

– А тебе кого надо?

– Да уж нашел бы...

– И верно – хорошо б...

– А, может, все это еще и ничего такого?.. Совпадение просто?

– Ты слыхал, как он вопил? Почти целый час без передыха. Ты смог бы так?

– Не пробовал.

– А вот попробуй – тогда и говори... Совпадение ему...

– У нас, помню, кабана кололи в деревне – так тот дольше вопил.

– То – кабан... этого же – не колют...

– Может, его уже закололи?

– Чего ж он сейчас именно завопил, а не раньше?

– На тебя посмотрел – и завопил.

– Он вчера тоже громко вопил, а потом морг глазом – и нету Красавца.

– Ты эти смехуёчки оставь, а то – сам завопишь у меня...

– Какие ж это – смехуёчки? Он догадался, что ты бабу сторожить напросился, и вот – вздумал порешить тебя...

– Причем здесь баба?

– Так они с Красавцем бабу эту и не поделили.

– При чем тут он?

– Вот, пень!.. Это ж его баба – на свиданку приехала. Тебе лейтенант говорил, что горе у него... чтобы закурить дал...

– Лейтенант это не про него говорил... Что ты мне мозги компостируешь?

– Про него, про него... Ты растащился, как бабу его обтрухивать станешь, и не усёк... А он – усёк... Так-то, это тебе не под одеялом обтрухиваться... Теперь – кранты.

– Ну, я с тебя в общаге за базар этот спрошу...

– Поздно уже – теперь он с тебя спрашивать будет.

– А ну – прекратить ржачку! Давай... на вахту его...

– Эй, ты... давай... поднимайся...

– Подогни коленки-то, чучуло...

– Ну, вставай-вставай – хозяин, он ждать не будет...

Уже на выходе почти из длинного прямого прохода, что соединял дверь подвала и толстую, будто от сейфа, дверь в зону (много-много мелких шажочков: качнулся – шорк, качнулся – шорк...), у самой этой сейфовой двери Слепухин чуть было не метнулся назад, увлекаемый порывистым разворотом лейтенанта, неожиданно остановившего вереницу слепухиных: «Я – сейчас... забыл взять...» (и не взять забыл лейтенант, а забыл посмотреть в глазок – как там рогоносец этот кочережится...). Плохо соединенный в разболтанных сочленениях Слепухин норовил оплыть вдоль стены, и пришлось поддержать его, подвздернуть слегка, пока лейтенант управится со своей заботой, – тут уж особо не пометаешься...

– Опять забыли?

– Что забыл?

– Взять забыли.

– Что взять?

– Ну, то, что забыли. («Никак у него крыша поехала»).

– Перечифирил, что ли? («Может, у него крыша поехала?»).

– Кто перечифирил?

– Кто-кто? Пушкин – вот кто. («Ну его к черту!»)

– Ну и черт с ним, с Пушкиным. («Ну его к черту!»)

Вырвавшись из-под подвальных плит, Слепухин никак не мог совладать с собой – открывшийся простор тянул его распластаться повсюду, но приходилось сдерживаться, помогая своему же обрубку колыхаться, проталкиваясь по чуть-чуть сквозь снежную крупу к могучему строению, которое замыкало неохватное объятие высокой лагерной ограды. Из серединки торца здания ограда начинала свой путь, дальше – пряжка ворот, потом ребристая вышка заворачивала ограду в первый изгиб, дальше другая вышка изгибала ее еще, дальше – и не углядеть уже, а в конце пути ограда утыкалась в другой торец здания. Представлялось полным совершенством картинки, что и сквозь кирпичную трехэтажку ровненько по серединке ее проходит каменная высокая кладка с колючкой поверху и фонарями через равные промежутки. Внутри каменной ограды еще несколько змеистых колец: дощатое, опять каменное, из железной сетки; все это укрепление – обруч запретки, вбитый на готовую разорваться зоновскую бочку – все оно, если охватить его так вот, единым взором, покоряет своей серьезностью и продуманностью (видно, немало умных голов поработало, чтобы специальными инструкциями единообразно улучшить везде и всюду простую и древнюю идею забора).

Слепухин покружил вдоль кирпичных стен здания, куда вечно держала свой путь ограда и куда (может, тоже – вечно) слепухины, утепленные шинелями и тулупами, сопровождали изодранного Слепухина. Повсюду на стенах, и со стороны зоны, и в сторону от зоны – плакаты, лозунги, портреты... в общем, похожее на то, что везде... вот разве только подозрительно много выписок о гуманности и справедливости закона, власти, партии всей и отдельных ее представителей... вроде художник старается упредить возможные сомнения по поводу, например, справедливости лично того вон козла на втором портрете (упаси боже сомневаться в справедливости вообще...) и вот как раз этим старанием упредить, этим вечным шныревским угодничанием и возбуждаются те самые сомнения, которые...

Пришлось все-таки поднимать Слепухина из снега, оживлять наново – с этим мешком под ногами и не оглядишься как следует...

Медные звуки встрепенули Слепухина подняться повыше, насколько хватало не упуская в растяжке норовящее ускользнуть обратно в колени плечо.

За железной решеткой жилой зоны набухала, разрастаясь, темная масса и, подчиняясь оглушительным звукам, втягивалась плотным комом в открытое горло калитки, а калитка ровно перекручивала этот кусок в одинаковой ширины изгибистого червяка. Чуть дальше, за несколько метров от калитки, размеренным ножом руки, охваченной красной повязкой ДПНК, офицер-Слепухин разрубал грязного непрерывного червя в маленькие части отдельных бригад. Но червь не погибал под рубящим ножом, и тянулись себе дальше – извивались отдельные кусочки его бесконечным движением – исшинкованный червяк полз, как полз бы и целый, слепо и бесконечно, тянул тысячу маленьких слепухиных в своем мерзко извивистом теле. Каждый клочок выскребывал в воздухе своим проползанием пустой коридор, и вот в него уже втягивается следующий обрубок, и пустота заполняется плотно злобой и ненавистью... Вот эти выделения уже готовы выхлестнуть в стороны, искорежить все вокруг, но медным бичом бодрый марш захлестывает липкую ненависть обратно внутрь, и там она ядовито разъедает ее же выделившую плоть. Сама выедает эту плоть до острых зубьев бессильного страха и снова – зубьями страха – выскребывается в пространстве пустой коридор... Не скоро иссяк материал, из которого вылеплялась доводящая до тошноты мутная живая лента, но втянулся в нее последним огрызочком последний слепухин, и уполз, подбирая хвост, грязный червяк. Стоял только в умолкшем сразу мире длинный извивистый шрам с липкими краями – желоб, по которому, оживленный новыми звуками, проползет другая (или, может, та же) пресмыкающаяся тварь... А сам желоб останется подгнивающей по краям осадиной навсегда...

Слепухин помог вконец умаявшимся сопровождающим поднять себя на крыльцо, втиснуть в дежурную часть и затолкать в боксик, который и приспособлен в дежурной части для таких вот надобностей. Теперь-то Слепухин мог и передохнуть – за крепкой дверью, наглухо зажимавшей бетонный стакан, ничего не грозит ослабшим до непрерывного дрожания костям. Можно и

вообще оставить их тут осыпавшейся поленницей на самом тоненьком пригляде.

С поспешной жадностью изголодавшегося Слепухин набросился на капитана ДПНК, вернувшегося к основному месту своего дежурства – за пульт.

– Видел, как вы нянькались с этой мразью, будто с дитенком родным... Что, нельзя было побыстрее? Не могли на сапогах прифутболить эти отбросы?.. Развели тут телячьи нежности...

Капитан-Слепухин ни о чем не мог думать спокойно и хоть сколько-нибудь продолжительно. Сейчас придет хозяин, и то ли все обернется дружной ржачкой, то ли – сто шкур одним только холодным потом сдерет... Черт, обещал младшенькому тоже наручники принести и совсем забыл, теперь поздно, дома будет море слез, ревности, обид... Дернул старшому эту игрушку подарить – ни минуты спокойной... В штабе вроде порядок – шнырь сегодня навел марафет как положено – только петух этот в боксике уделаться может – погонят кобелине готовить место на кладбище... ну, гроб там и венки с лентами – на промзоне свои умельцы сляпают... вот наказание... А еще с подстилкой его разбираться... везти куда-то... нет, сегодня точно не отдохнешь... Я бы кобелине этой собственноручно яйца оторвал, если бы наперед знать... А что, если и точно как эти слухи шепчутся? если петушара приговорил?.. Хорошо, что с ним уже валандаться другой смене – ну его к черту. Посмотреть, что ли, как там упрямая коряга в хозяевом кабинете?.. Может, загнулся уже в боксике? или изгадил всё? А, ну его, – там в боксике унитаз – не обделаешься, а если загнулся, так хозяин сам его определил, с субботы еще, без питья и хавки... подопрет – и из унитаза напьется... До чего же залупистый старикан... ничего, наш и не таких уделывал... обломается...

Занудливый капитан все прокручивал и прокручивал тот же бесконечный ролик: хозяин... кобелина... петушара... наручники... Изредка мелькала новая деталь: сожаление о недостижимой к близкому уже профессиональному празднику майорской звезде, но и в этой новой детали прежним оставалась все та же унылость сожаления. Один раз промелькнуло сожаление о неудачно выбранной подруге жизни, хотя выбору этому и не упомнить сколько лет, но спутница жизни обязана была делить... нести (ничего вразумительней по поводу того, что же надо было делить и нести, не обнаруживалось). И опять закружилось прож-

нее в бесконечном повторении: петушара – наручники – хозяин – кобелина... В дежурку набивались окончившие смену и подходили заступающие на смену. Огромное пространство за отгораживающим капитана барьером заполнялось тулупами, сапогами, валенками, полушубками, шинелями. Но все, что шевелилось в дежурке, виделось только в промельке, будто с карусели, – шелестели бумаги, долетали обрывки слов – капитан все мотал и мотал Слепухина неостановимым круговым маршрутом, измочалив и выпотрошив неузнаваемо, – не было сил, да и не хотелось выскальзывать уже из убаюкивающего: к сожалению... к сожалению... к сожалению...

Внезапно в дежурке стало трудно дышать, будто весь воздух разом выпили и будто впридачу от этого питья все разом забалдели. Неожиданное разрежение подобострастия и идущая следом волна трепета сорвали капитана с его гипнотического верчения и одновременно вырвали из-под того же гипноза Слепухина – совершенно измудоханный, он шлепнулся прямо под зеркально сверкающие мягкие полусапожки совсем не военного образца и потому вызывающие какой-то отдельный трепет. Далеко вверху, у потолка, кучерявилась серебристая папаха.

Слепухин нашел силы подняться и, подтягивая обморочно обвисающие части, всплыл к самой папахе, намереваясь на ней и угнездиться. Однако хозяин-Слепухин испускал волнами такую густую злобу, что от одного запаха с ее резко выделенной кровинкой Слепухина все время сносило в сторону. Хозяин совсем не был высок, пожалуй, он был и пониже всех здесь, но сейчас все как-то пригнулись, умялись, и этот исполнительный изгиб плюс к торчком вздымающейся папахе давал хозяину возможность возвышаться в великолепии набухающего гнева над всеми этими... над этими... (в штрафбате им место! в говнороях им место!).

Мутный гнев бурым потоком накрыл хозяина с головой, выше глаз пузырясь, начал заполнять папаху, и та выторкнулась еще выше, еще на несколько метров возвысив приземистого полковника. Хозяин снял папаху, выплеснул в дежурку ее вонючее содержимое, пристально глядя, не ухватится ли кто-нибудь за нос, не начнет ли сдергивать противогаз со стенда на стене, как раз о таких атаках предупреждающего. Никто не шевельнулся, и хозяин, пригладив остатки сивых волосинок, открыл рот.

Предыдущая тишина была тишиной перед артподготовкой. Из могучего дула загрохотали безостановочные залпы, и если не

хозяин, то Слепухин уж точно видел, как все в дежурке попадали, вжимаясь в грязный пол, прикрывая затылок руками, спасаясь от яростного минометного огня.

Сам Слепухин вначале взлетел, распластавшись на потолке, припечатанный к нему снизу, и никак не мог проскользнуть в безопасное место сквозь плотный поток снарядов. Потом он все же провалился в случайную паузу между залпами, но не спасся, а попал в сущий ад – его мотало по дежурке, растирало по стенам, тянуло вдоль всех плинтусов, плющило под ногами остальных слепухиных, попавших с ним в одну беду, и наконец-то, сжавшегося в комочек, затолкало его за огнетушитель, где он долго еще вздергивался от звонких попаданий по красному цилиндру...

Когда дежурку залепило оглушительной тишиной, Слепухин попытался выбраться из своего укрытия, но это оказалось совсем не просто. Все пространство дежурки было плотно утыкано разнообразными и кошмарными детородными органами самых неожиданных млекопитающих в самых невозможных сочетаниях. Все они, выпущенные сюда в залпах полковника, шевелились, поскрипывали, перемещались по дежурке, соединялись в невообразимых комбинациях – обживались и не собирались никуда деваться. Поднявшиеся с пола и отряхнувшиеся слепухины тыкались в какой-нибудь пупырчатый снаряд под ехидным взглядом хозяина и готовы были сами подхихикнуть этому взгляду (ведь, право, это уже не страшно, это вроде отцовского шлепка... самое страшное позади...).

Наконец-то и Слепухин достиг необходимой ловкости в передвижениях по плотно заселенному на всех уровнях помещению.

Хозяин, стоя рядом со стулом, где раньше сидел ДПНК, быстро расправлялся с утренними обязанностями. Слепухин подрагивал рядом с ним и в своей затравленности не успевал ни на чем серьезно сосредоточиться.

Одной рукой хозяин брезгливо перекладывал бумаги, а другой – расправлялся с находящимися в комнате. Не глядя, он ухватывал первый попавшийся под эту руку из ранее выпущенных снарядов и запускал в дождавшихся своей очереди на этой планерке. Уже ушли солдаты и прапора, сдавшие смену, и готовились к выходу – заступившие. Хозяева бомбардировка, к этому времени весьма ленивая, не производила на заступающих в наряд никакого впечатления – грозные и все еще довольно меткие уда-

ры отскакивали от них без малейшего вреда, и теперь уже вторично использованные и потерявшие убойную силу заряды из хозяевской обоймы жалобно опадали на пол.

– И никакой поблажки к зекам!.. Помните! обчифиренный зек прыгает на семь метров в любую сторону!..

Наконец вывалилась толпа с утреннего инструктажа, придавливая скрипящие под ногами и совсем не страшные уже останки хозяева гнева.

Бравому оперу досталось несколько больше других и самое неприятное: именно ему и была поручена вся гнусная каша с Красавцем для расхлебывания. Опер ничем не выразил своего неудовольствия под пристальным взором хозяина, но, уходя, так засаживал сапогами по валяющимся кучками ошметкам недавней стрельбы, что ошметки эти вновь взлетали почти с прежней скоростью, рикошетили в стену, возвращались кружить вокруг опера да так, дымясь над ним, с ним вместе и исчезли в дверях (пожалуй, этого позаимствованного оружия оперу хватит на всю предстоящую смену, да и для дома, может, останется).

Теперь-то Слепухин осмелился подняться повыше в освободившейся комнате, правда, все еще непроизвольно подрагивали разные его части, мешая отдаться давешнему ровному и свободному пульсированию.

Хозяин все так же стоял рядом со свободным стулом, а перед ним (перед барьером), вытянувшись «смирно», но не застыв, а продолжая внутренне вытягиваться, исходил отрядный Боря. Слепухин, оглядывая лейтенанта Борю со стороны и решая, стоит ли им заняться, видел, что снизу и до пояса лейтенант и вправду стоит «смирно», а верхняя его половина чуть изогнута в сторону хозяина и от этого движения и без того немалый зад сейчас совсем растопырился, раздвигая шинель и привлекая веселое внимание остальных здесь офицеров.

– Никакого такого колдовства... я не потерплю, а разговоров – тем более, – вдалбливал хозяин отрядному. – Или, может, по науке что не так? Скажи свое мнение, медицина, чего примолк?..

– Ну какое может быть колдовство? – махнул рукой майор со змейками в петлицах.

– А, да что твоя наука понимает? Ты мне болячку вон простую извести не можешь... Значит, так, – хозяин снова уставился в отрядного. – Получи на петуха своего валенки и что там еще есть для теплоты и пристрой куда-нибудь.

Совсем уж лениво хозяин уцепил, наверное, последний из жужжавших возле искривленный придаток и шлепнул его совершенно беззлобно в лейтенанта, но тот и стряхнуть не посмел даже – так и выпятился с прилипшим к уху ошметком.

В комнате остались трое офицеров, и по расстегнутым шинелям и довольно-таки вольным движениям было понятно, что никакой особой стрельбы более не ожидается. Хозяин присел на самый краешек стула и как начал морщиться, приседая еще, так и продолжал, уткнувшись уже в бумаги. Майор-медик, стараясь не помешать полковнику шумом, там же за барьером наливал себе чай. Оставшиеся двое уселись ожидать хозяина от его бумажных занятий.

Слепухин совсем уже отошел и сначала медленно – пробно, – а потом, входя в прежний ритм, закружил по комнате.

Длинный майор все никак не мог пристроиться, все скрипел стулом, не в силах выдержать такое вот томительное пустое время. Слепухин качнулся к нему, привлекаемый его нетерпением. Однако обжиться в этом прелюбопытнейшем экземпляре было не так уж просто. Заместитель хозяина по режиму, дедушка-Слепухин более всего походил на до предела захламленный дом из каких-нибудь негритянских трущоб (по крайней мере как сам же дедушка эти трущобы представлял) – многочисленные клетушки, никак не связанные друг с другом, глухие чуланы с неожиданными дырами в трухлявых стенах, все время натыкаешься совершенно неожиданно на совсем неожиданное... Можно только восхищаться, чего не понатаскал режимник в себя за долгие свои годы, продолжая и сейчас ту же таску с неутомимостью прыщавого курсанта...

Главное, что тут же захватило Слепухина, – неуемная фантазия режимника, которая нисколечко не поистрепалась за почти уже сорок лет энергичной службы, а наоборот, поистрепала, поизмотала всех и все своим молодцеватым сквозняком. Сейчас майор всей штормовой силой своей фантазии пытался вылепить замечательный подвиг с обязательным воспитательным и назидательным окрасом. Это не был первый подвиг в его жизни, но это должен был быть подвиг в духе времени (как и прежние – в духе своего времени), подвиг, который так и притягивался на цветастый разворот иллюстрированного журнала. И название большими буквами, что-то вроде: Краткий рассказ о том, как заместитель начальника ИТУ по режимно-оперативной работе,

который за сорок лет беспорочной службы... ну и так далее, в общем, спас жизнь неисправимому и отторгнутому от общества отбросу, проявив истинное милосердие пламенного чекиста... – ну и дальше в том же духе. А потом мелким шрифтом и подробно, как заместитель начальника ИТУ по режимно-оперативной работе (здесь можно портрет в строгом плане, впрочем, лучше – полустрогом, с улыбкой... не забыть зубы вставить...). В общем, авария там или просто драка... сам принес на руках в медчасть (желательно, чтобы мразь попалась маленькая и жалкая), отдал свою кровь... нет, кровь – это слишком, пусть лучше кожу после ожога с моей задницы ему на морду... нет, в этом и вправду что-то есть: с задницы чекиста на рожу преступной мрази... даже символ, пожалуй?..

– Ты чего это развеселился?

– Да нет, Васильич, это я вспомнил тут, – утихомирил себя майор-Слепухин.

– Вспомнил он, – хозяин еще раз с подозрением глянул на своего зама. – Весело ему...

В общем, Слепухин хорошо себе представлял эту статью в журнале, ну, детали разные он, конечно, недодумал сразу все, но в целом – поучительный должен быть матерьял и как раз в духе нынешних призывов к милосердию и заодно как бы смывает разные мерзкие намеки на всю их службу, в которой, конечно, встречаются тоже всякие... вернее, встречались...

Где-то в замороженном закоулке уже долгие годы лежал непогребенный и даже не оплаканный еще единственный сын. Его нашли по весне, когда сошел снег, искромсанного, видимо, в предупреждение отцу (или в отместку), но в то время был занят каким-то очень важным соображением по полному искоренению преступного мира с помощью остроумного психологического воздействия с помощью остроумия... В общем, главное – раздавить всякие их о себе воображения: мол, я! я! Я-те и то! я-те и это! раздавить и выдавить всю эту гниль, но не голой силой, а поумному... так сделать, чтобы они этот гнойник сами себе выдавливали, а здесь лучше всего – смех... Здесь надо так обсмеять, чтобы они и не замечали сразу, что шута играют по указке, чтобы прижать чуть-чуть и отпустить и тут – смехом, потом еще прижать посильнее... В общем, тут наука и даже искусство, и не всякому доступно...

Столкнулся Слепухин в путанице насыщенного майорского воображения и с его женой, которая в основном жила себе отдельно и незамечаемо для мужа в каких-то своих глупостях. После гибели сына майор впервые за несколько десятилетий обратил на жену свое внимание и занялся ею исключительно из альтруистических соображений, впрочем, эгоизм ему и вовсе был не свойственен. Тогда он устроил ее в лагерную школу преподавать физику (только это место и оказалось свободным, а премудростей для целеустремленной натуры, каковой должна быть жена чекиста, ни в чем особых таких быть не может). Сначала старушка боялась своих учеников как чумы, а потом все больше начала приставать к мужу, уговаривая послаблять им, лопоча что-то о том, как им трудно и какие они жалкие, но майор-то точно понимал, что мрази эти ее попросту запугали. Никакого внимания он на просьбы жены не обращал, да и забыл о ней вскоре, и опять она переселилась в разную свою ерунду, до которой майор и не касался совсем. Беспокоило именно то, что непонятно было – с чего это вдруг жена влезла в мысли и, как ей свойственно, все искомкала? А... вот оно... Тишком вздумала его обойти.

– Надо сообщить на КПП, – захихикал майор, – моя дура попрет сегодня две плиты чая, – об этом режимнику сообщили его личные мыши из школы. И, поймав удивительный взгляд хозяина, пояснил: – Ей там в школе какую-то ерунду делали, чинили что-то, вот она и пообещала. В общем, пусть ее обшмонают...

– Смотрю я на тебя, медицина, – хозяин перевел глаза от майора, режимник – в бумаги и оттуда – на майора-медика, – совсем ты у нас бардак развел, – голос его начал вибрировать, угрожая возможным залпом. Что ни день – больше двадцати человек освобождены от работ. Здесь что – санаторий? Здесь что – клиника?!

– Но ведь все по нормам, все по нормам, – зачастил, забеспокоился медик. – Не больше одного процента... ведь у меня – не больше...

– Сморкал я на твои нормы! Ты что, газет не читаешь!? В стране идет революционный подъем... – (погромыхала неприцельная пальба). – Сколько у тебя мест в изоляторе?

– Шесть шконок.

– Вот и все. Шесть человек в день – и все. Кто не может работать – лежат в медчасти... А то развел тут... понимаешь...

Здесь лагерь, и жрать не работая могут только сторожевые овчарки... и я еще, – хозяин подождал смеха на свою шутку. Потом подождал тишины. – Так-то, медицина...

– Нет, это тебе Васильич правильно указал, – повернулся всем туловищем подполковник. – А то ведь что получается? Человек на воле не может больничный получить, вот дочка моя к примеру – полдня отстояла – так и не дали... А тут – пожалте тебе.. чуть болячка и уже – освобождение. У нас в стране как? – толстый обволосенный палец направился в потолок. – У нас кто не работает, тот не ест, так-то – в стране, а здесь и не страна даже, а трудовой, – палец вздернулся выше, – трудовой лагерь. Тут даже если ногу тебе, к примеру, отрубило как-нибудь – ползи все равно на работу, потому что...

– А мне вот мысль пришла, – прервал подполковника режимник. – У тебя, Петрович, они в основном чем болеют?

– Да всем... Ну и много гнойных – витаминов не хватает, вот и получается так: ранка там или что... и гниёт, потом и по всему телу...

– Это пустяки: что сгниёт, то не сгорит... Вот я хотел узнать: у вас в медицине если кто новое придумал – он пишет там инструкции или что там у вас, чтобы остальные могли это новое сделать, пишет, а?

– В общем-то да...

– Так я и думал. Ведь иначе и нельзя... Я вот в молодости еще придумал, как, значит, сильнее обеспечить охрану запретной зоны, – так все в методиках подробнейше указал... жалко, что не приняли...

– Ты конкретней давай, – подправил режимника хозяин.

– Так я вот и думаю, что лечить их всех без разбору нечего. Кто выйдет, тот вылечится... А надо нашему Петровичу повышать свое мастерство и, значит, поднимать авторитет нашего учреждения... В общем, надо ему что-то такое сделать... ну, там сердце пересадить, – режимник-слепухин опомнился: подвиг подвигом, но, пожалуй, не такой же ценой – сердце все-таки. – Ну или еще что... В общем, надо Петровичу подумать над этим...

Слепухин, кружась над беседой, приостановился, вбирая в себя раздергивающегося до жалости майора-медика.

Петрович обтирал платком плешивую голову и нутро шапки, стараясь не вздергивать пальцами. На режимника лучше не смотреть. Точно «фронтальная лоботомия». ...Слепухин вспом-

нил, что прозвище пошло от этого упрямого дурака – Долотова. А Долотов лежит у него в изоляторе, вчера доставили из ШИЗО после вскрытия вен... И ничего он для него сделать не в силах – сегодня же хозяин погонит обратно в ШИЗО, и не стоит даже пытаться отстоять – бесполезно... В подвале, конечно, загниёт... Но ведь он ничего сделать не может, у него никакой нет власти... и зря его возгордившаяся дочка демонстративно на него давит... Тоже нашла моду! возомнила про себя черт знает что... Приедет на два дня и ни слова, только книжки и журналы всякие подсовывает... Она, видите ли, его осуждает. Его? Родного отца? А откуда она сама, такая умная и такая хорошая, взялась? На какие такие шиши она все эти новомодные журналы и книги покупает?! И еще всякие подметные и нелегальные книги таскает в дом! Вчера подсунула засаленные листки... «Звезда утренняя, звезда светлая». Теперь ей, значит, такие звезды светят... Дрянь всякую читает и смеет отца родного осуждать!.. А кому-то надо и здесь работать! Да, надо! Кому-то надо, засучив рукава... Господи, доченька моя... ведь я ни на что другое уже не способен... ведь я уже давно и не врач никакой: мой фельдшер больше меня понимает... Куда же я пойду? Где мне еще будут столько платить? Да ты же сама, мерзавка сопливая, без моих денег первая, как подстреленная, закружишь...

Все еще торчащий в потолок палец подполковника притягивал Слепухина своей загадочной значительностью. Петрович уже плотно закопался в теплых мечтах, в мягком кресле, среди милых ему филателистических причиндалов перед кипой кляссеров, и это навевало на динамичного Слепухина зевотную скуку. В то же время толстый палец, колбасно перетянутый дважды тугими складками, сулил не бог весть какое, но развлечение. К сожалению, сам подполковник напрочь забыл, для какой надобности выторкнулся его многозначительный перст.

Слепухин вместе с ним хмуро глянул на режмника, сбившего тонкую мысль своими попрыгуйчатыми фантазиями, потом медленно снял шапку и запустил оставшийся не у дел палец вместе с остальными четырьмя в густую седину. Эта красивая седина была особой гордостью замполита, и мысли его привычно перепрыгнули к сожалению о том, что совершенно несправедливо такое положение вещей, когда полковник обладает папахой, а подполковник вынужден носить позорную шапку. Дело даже не в том, что папаха очень хорошо подходила бы к его седой шеве-

люре, вопрос ведь гораздо глубже: подполковник потому и называется подполковником, что он во всем почти уже и полковник, значит, не должно быть такого вот унизительного – да-да, именно унизительного – неравноправия... По управлению среди множества разных слухов пробивался и милый сердцу слушок о скором изменении формы, и вот тогда-то, возможно... Ох, уж эти слухи... большинство из них были тревожными и неприятными даже, вернее, непривычными, и хотя замполит догадывался, что скорее всего имеется в виду какое-то лишь словесное изменение, какие-то иные формулировки для незыблемых стратегических и тактических задач, но побаивался, что не окажется слишком ловким в усвоении этих новых формулировок, и здесь-то на последнем шаге к все той же папахе кто-то более языкатый его успеет обойти... Ведь вся эта шумиха только и устроена языкатыми для более быстрого продвижения...

Тут уж совсем кстати всплыло недавнее раздражение на этого, ну как его... на мразь эту из этого отряда... в общем, на баптиста этого... или не баптиста? вроде какой-то адвентист? В общем, неважно – все они баптисты. И тут же раздражение перекинулось на хозяина: это ведь он приказал со всей религиозной мразью без него ничего не решать – тоже прикладывает свое волосатое ухо к новым слухам... Да не будь приказа этого дурацкого, сидел бы уже поп затруханный на киче... Но ничего, все равно я его туда упеку – такое оскорбление стерпеть невозможно... Ведь он не меня оскорбил, он в моем лице оскорбил органы.

Слепухин с клокотанием где-то пониже желудка вспомнил, как в ответ на самые проникновенные воспитательные слова трухлявый поп так несправедливо лягнул его. Нет, не его, а всю родину рупором этого попа лягнуло антинародное мракобесие.

В субботу пригласил замполит в кабинет свой обтерханного этого... этого баптиста, и внимание ему оказал, как равному даже. Усадил через стол от себя и хотел отечески наставить на истинный путь, прояснить его одурманенные мозги, прочистить... Да, именно – отечески! И неважно, что он и не старше баптиста. Дело не в возрасте, а в мировоззрении.

Замполит долго рисовал на листке, сопя в напряжении непривычного дела, а потом принялся объяснять вполне получившийся рисунок недоразвитому попу.

– Это вот кремлевская стена и дорогие каждому человеку кремлевские звезды (ну, право, на рисунке можно бы узнать и

без пояснений, но темный этот и недоразвитый только после объясняющих слов протянул равнодушное «А-а... понятно»). А это вот лебедка... Видишь? вот здесь – в уголочке... И вот этой лебедкой враги всего прогрессивного человечества пытаются тебя утянуть от наших звезд. Враги – они ничем не брезгают и готовы одурманить даже религиозным опиумом – им главное утянуть тебя, оторвать от своего народа. (Слепухину самому, например, очень даже нравилось, как он сумел наглядно и убедительно все это растолковать, и пожалелось даже, что никто не видит и надо будет самому про этот вот опыт рассказывать в управлении. Лучше бы, чтобы кто-то другой рассказал, и если бы сразу сообразил, то вызвал бы своего зама... пусть бы и поучился, малец. Нет, зам может и украсть идею – они теперь все такие... Абсолютная бездуховность – не то что в их время...) Нет, ты понял? понял? А советский человек должен быть всегда начеку и любым происка м отвечать решительным «руки прочь». Тебя вот подловили, но надо найти в себе силы и... в общем, решительно.. Вот у тебя, я слыхал, на воле и машина даже была... А это все те же вражеские происки, и ты даже на следствии не разоружился полностью и не раскрыл их грязные карты. Ведь откуда у простого человека может быть машина? У меня вот нет – я пешком хожу. Ты думаешь, если бы я захотел машину – мне бы враги ее не подсунули? Но я говорю им решительно «нет»... Вот ты до чего докатился... Ты скажи, скажи – почему у меня нет машины, а у тебя есть?..

– Пьете, наверное, много, – разлепил губы баптист. – Пить не только вредно, но и накладно очень...

Разве можно такое простить? Такой вражеский выпад!?

Слепухин осознал, что обида, нанесенная этим выродком, была много глубже, ударила, можно сказать, в самое сердце... Еще в начале своей безоглядной деятельности замполит вылепил свой собственный образ пламенного борца с чистым сердцем, то есть нет, – это руки чистые, а не сердце... В общем, сильно помог тогда замечательный писатель Лев Шейнин... Вот ведь и среди еврейского племени могут быть по-настоящему замечательные люди... Одним словом, всю почти жизнь выстроил слепухин по-начертанному. Только одно никак не получалось – не писали ему бывшие зеки благодарственных писем... Да что с этих мразей взять! разве у них могут быть настоящие понятия?! Но пись-

ма для образа были очень нужны... Слепухину пришлось самому натренироваться в письмописании. Сначала он освоил совершенно разные подчерки (или почерки? нет, конечно – подчерки), писал и на машинке, по-разному подписывал, насобачился в описаниях трогательных историй и обязательно с поклонами и благодарностями от «любящей вас жены и маленьких детишек»... Письма эти замполит посылал себе из каждого встреченного в отпуске почтового ящика, а потом часто их перечитывал сам и жене, и гостям. Случалось, в исключительно воспитательных целях, читал и зекам с маленькой надеждой намекнуть им, как они должны поступать (им хоть по лбу – никакой отдачи), с этой же воспитательной целью хотел в конце беседы зачитать некоторые особенно удачные и баптисту этому, тем более, ходят слухи, что таких, как он, могут скоро отпустить... И после всех его планов – «Пьешь много»... Таких не выпускать надо, а уничтожать полностью, чтобы не заражали здоровое общество!.. это же мразь конченная!..

Расставшись с замполитом, Слепухин примеривался к хозяину, все еще не решаясь к нему подступиться, все присматриваясь к мелким волнам, что одна за другой кривили безгубую щель рта. Из этих-то волн того и гляди начнут выплюхивать бесперебойные залпы. Вроде и замполит, приподняв веками тяжелые складки, наползающие сверху, караулит лицо начальника.

– Я вот тут хотел посоветоваться, – подкрадываясь, начал замполит одновременно с шелестом отодвигаемых хозяином бумаг.

– ?

– Может, я уже и устарел, может, меня пора уже и в сторону? но я лично не всякие новшества понимаю... убей меня! но заигрываний нынешних с поповскими мракобесами никак не могу понять. Выходит, нам уже не надо вести непримиримую борьбу с этим дурманом? Пусть, значит, отравляют... Вот растолкуй мне, Васильич, по-простому...

– Тут, Андрей Павлович, ты правильно вопрос поставил. Тут никак нельзя шарахаться не разобравшись. Наша политика была, есть и будет всегда одна – никаких уступок! никакой сдачи позиций! Но сейчас, – хозяин закатил зрачки вверх, – сей-час сложный мом-мент. А уже не раз в сложное время партия шла на временный, вот чего нельзя забывать, временный союз с попами. Ты вспомни войну – был союз даже со смертельным врагом.

Ты вспомни Гитлера – был союз... Так-то, а еще замполит. Историю надо повторять постоянно – там все ответы.

– Это все понятно, но меня интересует практически... у нас... я думаю, никаких уступок и послаблений. Закон у нас один для всех... А то взяли себе моду: бог им, видишь ли, в один день разрешает работать, в другой – не разрешает... Здесь у нас закон – единственный бог, и других не будет. Правильно я говорю? А то, видишь ли, они верят во что-то там, а нам тут – стелись перед ними...

– Я тебе вот что даже скажу, – хозяин разулыбался, и Слепухин решился сразу же... подождал, пока остальные размягчатся встречными улыбками... – Ни во что они на самом деле не верят! Это такие подлые лицемеры – свет не видывал! Им главное – навербовать побольше народу, особенно молодых и смазливеньких, а потом – оргии свои учинять. Читали, наверное, как это у них бывает: кого сгреб, того... – хозяин подмигнул подчиненным, и те залоснились встречно понимающими ухмылочками.

– Так это вроде только в некоторых сектах, – влез Петрович.

– Чушь собачья! Это у них – повсеместно. Везде у них – одно и то же. Ты вона слухами кормишься, а я это все с риском для жизни прошел и по своему опыту досконально знаю. – Убедившись, что слушатели последними словами заинтригованы, Слепухин выждал значительную паузу. – Я тогда только начинал в органах, и не где-то там, а сразу в областном управлении МГБ. Вот мне и поручили: внедриться в одну секту, чтобы, значит, вывести их на чистую воду. Лег я в больницу, где лечился о ту пору их главный баптист, и слово за слово – клюнул он на меня. Выписали нас в один день, а я, по легенде-то, вроде бездомного – он меня к себе и потащил. Собирались в разных избах, а я все их явки, конечно, запоминаю (Слепухин, увидев деревню в давнюю ту, понял, что запоминать там особо нечего – все избы подряд и есть те самые явки). Терплю эту нудятину их и стараюсь во всем как все, главное – не выделяться, и еще главнее – не слушать, что они там тебе вешают, а не то – мозги совсем вспухнут... Жду, значит, когда они мне поверят и разоблачат себя полностью. Дождался: собрались как-то – даже в большой избе тесно стало, ну, там, целуются, как всегда, «брат», «сестра»... опротивели, честное слово с поцелуйчиками своими, хотя, надо признаться, сест-

рички встречаются – ого-го!.. В общем, как раз рядом с такой вот задастенькой молодушкой я и молюсь себе, а сам – все на нее... Вот тут-то, как мне и объясняли на инструктаже в управлении, свет погас и пошло-поехало... я, конечно, задастенькую свою сразу и уцепил... Так-то, а ты говоришь мне... А там же еще и дети совсем малолетние... Ну, на суде я все их делишки выложил перед народом – люди в зале плакали, честное слово. Я на суде весь в бинтах был – меня ведь разукрасили они – будь здоров: я же совсем зеленый еще, а они – твари прожженные, в общем, разоблачили меня, но им это не помогло.

Неожиданно Слепухин отковырнул под бинтами больше, чем рассказывалось. В молельной избе свет погас, оказывается, сам по себе, что в деревне – совсем не редкость. Какая-то девчонка заголосила впотьмах, хлестнув по напряженным нервам разведчика. Как-то так получилось, что крик этот Слепухин и принял за начало той самой оргии, которую ему так обстоятельно обрисовали в управлении. А еще молодуха эта в тесных потемках, вспугнутая тем же криком, уцепилась за его руку – вот тут юный еще чекист и схватил ее... А в суд ему и действительно пришлось явиться в бинтах: братья (кровные молодухины братья) избили его зверски (а еще чешут про милосердие... «подставь щеку»... – сволочи лицемерные). Но все равно никто не ушел от возмездия... Слепухин искривился болью, которая совсем даже не утихла...

– Ну ладно, свободны все, – хозяин насупился, и, вытолкнутый опасной этой хмуростью и волной боли, Слепухин завис у плаката, где раскормленный мужчина, вытаращив все зубы, тряс руку офицеру с несгибаемо-плоской спиной. Поверх их голов пламенело: «Геройским трудом я вину искупил и в братство народов, как равный, вступил!»

– Ты, медицина, зайди ко мне, – остановил хозяин Петровича. – А где это ДПНК шляется?

– Он все еще в подвале... со шмоном... – пояснил режимник, выходя след в след за подполковником, который все оглядывался, все норовил еще что-то сказать.

– Подежурь у рации, пока они нашмонаются, – припечатал хозяин режимника к половицам.

Покряхтывая и раскорячивая короткие ноги, хозяин вытупал из дежурки, утягивая следом майора медицинской службы. Слепухин нацелился за ними в кабинет хозяина, но грохот сапог

в узком коридорчике между хозяевым кабинетом и помещением дежурной части отшвырнул его обратно. Отрядник Боря грукал сапожищами почти с той же значительностью, что и шедший впереди ДПНК Долдон, сменивший прежнего занудного капитана. Следом за ними пыхтел шнырь из банной обслуги, угадывая лишь невидимую дорогу за ворохом тряпья, расползающимся в руках.

Майор Долдон на минутку замер в раскрытых уже дверях дежурки, вроде бы решая, стоит ли трудиться, надо ли протискиваться в этот дверной проем. Все на нем было внатяжку, и если тугой перехлест ремней кое-как удерживал огромное тело от неуклонного расползания, то растянутая до невидимости кожа щек не могла уже сопротивляться дрожжевому напору розового содержимого. Отрядник Боря все пытался взглянуть из-за спины Долдона в дежурку, все выворачивался в какую-нибудь щелочку и, углядев наконец, что в дежурке хозяина нет, развернулся пошире и повыше, упрятывая чуть отставленный почтительный зад. Теперь вот Боря вполне походил на Долдона, и хотя его нос не упрятывался полностью в розовой щекастой упругости, но совсем не из-за длины этого носа, а только по временной малости двух лейтенантских звездочек в сравнении с сияющей майорской.

Слепухин отшатнулся, уступая место в ставшей сразу маленькой дежурке, но его откатывало все дальше, прижимая к рассыпанным на пороге распахнутого боксика костям.

Пришлось Слепухину заняться своими останками, приводя их в жизнеспособное состояние под понукания Долдона, и не хватало уже внимания ни на самого Долдона, ни на старательно повторяющего его отрядника Борю. С трудом удалось Слепухину сгрести в обхват тонких рук истрепанные ватные штаны с вываливающимися пучками рыжей ваты, валенок с дырявыми ожогами, телогрейку и другой валенок все с той же левой ноги, и тут выяснилось, что колени свои Слепухин перекрутил не в ту сторону, и никак они теперь не разогнутся. Теперь только все выпустить обратно на пол, расстыпать следом за шмотьем по этому же грязному полу неправильно собранные кости и заново приниматься за работу, уделяя ей большее внимание во избежание возможных просчетов.

Слепухин сосредоточился в тщательных заботах почти целиком и только кусочками ухватывал движения жизней, для которых абсолютно не существовал ни он сам, ни возня его с неуправляемым костлявым мешком.

Долдон покровительственно поглядывал на отрядника, готовый брызгливо лопнуть сознанием своего скорого над отрядником торжества (сегодня дорогой на службу он столкнулся с пухленькой женой этого задолиза и, чуть свернув, провожая ее к городскому автобусу, умудрился легонечко ущипнуть румяную щечку... а как умненько и как мило она хлопнула его по руке и как обещающе сморщилась, хохотнув «Ух, противный!»... нет, что за булочка!.. надо придумать какой-никакой повод и зазвать их в гости, а там уже... (Боря все пытался что-то придумать с несделанными контрольными, о которых и вспоминал только перед самой сессией... а теперь совсем некстати Долото упекли на кичу и как быть с контрольными этими? Но и неприятное начало скорой уже сессии перекрывалось радостью отъезда на целый месяц из опостылевшей квартирки, от растрепанной и вечно брюзжащей жены (а попробуй тронь ее! тесть хоть и в отставке, но давний корешок хозяина – весь кислород перекроет, падлюка... ну и черт с ними... целый месяц будет он сам себе без обрыдлых указов и нравоучений... снимет квартирку в городе и тогда заживет!.. опять же, навестит его, как в прошлый раз, жена этого долдона – ну, право слово, долдон, что он булькает там? какой день рождения? мог бы уже и знать, когда у его жены день рождения... а может, к чертям собачьим жену его? старовата уже, и морщины эти на шее противные... впрочем, никто не заставляет его на морщины эти смотреть, а вот то, что она вся такая маленькая да вертлявенькая – это, знаете ли, что-то... прямо верти как хочешь и трахай хоть на лету... а вдруг приедет он с сессии, а за это время жена его вместе с тестем загнется? вот так, например, как Красавец с лярвой этой... впрочем, нет – не будет же она с отцом родным в гараже долбиться, да и зачем в гараже, если его дома не будет?.. ну, неважно: например, бунт в зоне и вооруженные зеки вырвутся в поселок – тогда всем кранты, а он на сессии себе отсидится, и – порядок... а что? вполне может быть...)

Долдон и Боря дружно защелкали бичами команд вокруг Слепухина, не решаясь хлестануть прицельно, режимник затарабанил свое, помогая остальным вытолкать Слепухина из дежурки.

– Раньше-то, раньше-то с колдунами как? Чик-чик – и на костер, на костер... А теперь – всё для вас, всё, что можно... вален-

ки вот и забота... не цените – не цените заботу, не довольны, все залупаетесь, а если бы на костер – запрыгали бы, запрыгали, да поздно...

Слепухин прислонился в коридоре, не решаясь оттолкнуть стену и качнуться к выходу, вывалить себя в колючие рывки снежной завихри.

Стена за спиной Слепухина выгибалась и вибрировала напирающими изнутри голосами, и теперь уже оторваться от нее было просто опасно – без упора с этой стороны толстая кирпичная кладка лопнет, засыпая узкий коридор тяжелыми кирпичами и погребая Слепухина каменным обвалом.

– Я тебе, Савва Семенович, честно скажу – не верю я во все эти знахарские штучки, – уговорливо журчал голос майора медицины, – но если ты действительно можешь облегчить страдания – твоя первейшая обязанность...

– Нету у меня никаких обязанностей. Не-ту. Я за свои врачевания срок тяну. Ваши умники то самое облегчение страданий назвали преступлением, а ты меня, Петрович, значит, на преступление толкаешь.

– Но ты же все равно, как я слыхал, лечишь тайком.

– Я людей лечу. Лю-дей. Не ветеринар я.

– Ах ты, гниль вонючая, – заколотилась стена под голосом хозяина... – С тобой, значит, по-человечески говоришь, а ты, значит, совсем забылся... Людей он лечит! А ну прекрати дурочку валять, а не то ты у меня нахлебаешься дерьмом по самые ноздри.

– Уже нахлебался.

– Это ты про боксик, что ли? – хозяин засмеялся, пофыркивая. – Тебе этот боксик раем покажется, если за ум не возьмешься. Воровского духа набрался, пердун старый... Я тебе этот дух вышибу так, что кости станут наперегонки из очка выпрыгивать...

– Ну сам подумай, – снова зажурчал майор, – зачем тебе на неприятности нарываться? Место у тебя – любому на зависть. Сидишь себе тихо, дай бог каждому, а отсидишь – и расстанемся подоброму.

– Ты, может, воображаешь себе, что нам про твои макли ничего не известно? – стена снова предельно выгнулась. – Думаешь, никто не знает, как ты чаи в своей конуре распиваешь, как ты

метлой метешь, что взбредет? Или думаешь, закон не для тебя писан? Забыл, как на киче? Новый срок хочешь схлопотать?

– Вот и я говорю, Савва Семенович, брось ты эти глупости, – вступил в паузу Петрович, – тебе о воле думать надо. Выйти надо отсюда живым и здоровым и забыть всё: ты нас не знаешь, мы – тебя...

– Эх, было бы куда деться, чтобы вас не знать!.. Есть ли где место, чтобы забыть вас всех и в глаза не видеть и слыхом не слыхать!?

– Вот то-то... Таким, как ты, нет и не будет места на нашей земле, – хозяин начал закручиваться в воспитательный вираж. – Ты против народа пошел, а мы не позволим тебе – против народа, мы защитим народ от тебя потому, что народ – это мы, и поэтому мы всюду, мы – везде...

– Не-ет, вы – не народ. Эдак, пожалуй, и глист может подумать о себе, что он и есть человек, и дерьмо, которое в каждом накопляется, может возомнить, что для это лишь накопления живет человек... Вы везде, но вы – не народ. Вам, конечно, хочется захватить все тело, заполнить все что можно собой, но есть предел в теле и для глистов и для дерьма, дальше уже – смерть.

Затрещали, задвигались кирпичи, зашуршала штукатурка, а изнутри все стукались в стену удары неясных звуков и еще какие-то мягкие, будто мешком молотили. Один лишь голос Петровича пытался спасти стену от разрушения, увещевая и смягчая напор. Слепухин попробовал бежать, но стена вспучивалась по всей длине, не выпуская его из коридора, и не о том, как выбраться отсюда, колотился уже Слепухин, а о том, чтобы не расплющило его между двумя кирпичными стенами...

– Ну вот и хорошо, вот так – и хорошо, – скороговорочно суетился через стену Петрович. – И не будем поминать этого, не будем... самое скверное – пустое упрямство. Посмотри теперь, посмотри, Васильич.

Циркулярно складываясь, выкрутился из дежурки режимник, глянул на вжавшегося в покачивающуюся стену Слепухина и приоткрыл дверь хозяева кабинета, всовывая туда голову.

Прямо в двери торчала красная, в липких пузырях задница, и ниже ее сверху спущенных форменных штанов, редкими волосьями книзу пунцовело, наливаясь кровью, в рамке развинутых ног лицо хозяина. Вверху над задницей висел на стене под

стеклом вождь и весь светился лукавой улыбкой, скашивая глаза в сторону к неулыбчивому соратнику на другой стене и приглашая его порадоваться вместе: «Как мы хорошо все это устроили, батенька, архи-архи-хорошо...» Однако козлобородый соратник на улыбочки не отвечал, а смотрел себе из-под мятого козырька мимо, сквозь стены, в зону или даже дальше, уверенный, что самое важное и самое интересное там, впереди...

– Ох, как вас обожгло, – изумился режимник. – Может, подуть?

– Во-о-он! – заорал хозяин, не распрямляясь, и звук, сгустившись в замкнутом пространстве среди естественных преград, отраженный ногами, задницей, негодующим лицом, вырвался в направлении режимника мощной волной, захлопывая дверь кабинета. – Во-о-он!

– Во-о-он! – заорал режимник на Слепухина, вытащив голову из-за захлопнувшегося двери. – Не слышишь, что ли? Или приказ начальника колонии для тебя не указ? Во-о-он!

На крыльце Слепухин упал, но остаться лежать здесь ему не получилось: Боря, выросший внезапно громадной горой, все зудел сверху, осторожно сталкивая Слепухина носками сапог с крыльца. Потом, брезгливо измарщивая пухлые губки, Боря подвздернул Слепухина за шиворот и, установив на ноги, сразу построжел.

– Немедленно в отряд, – вытолкал Боря из-под уголка верхней губы, глянул на часы и захрустел по медленно засыпаемой дорожке прочь.

Слепухин качнулся следом и еле удержался. Никак нельзя было угадать, в какую сторону потянет порыв ветра, и, значит, не успеть туда же вялыми ногами. Ни на что уже Слепухина не хватало – только следить и управлять неисчислимыми суставами, подчиняя их самостоятельные верчения общему замыслу. Впрочем, общего замысла тоже, кажется, не было.

Ничего не было. Времени тоже не было. Оно не остановилось – оно исчезло совсем. Было только незнакомое пространство, взвихряемое колючими иголками снежной крупы с неровным покровом из той же крупы, и еще было тело, постоянно норовящее ускользнуть из-под слепухинской власти. Чем больше Слепухин занимался своенравными своими частями, тем больше проникался ко всем к ним жалостливым участием. Наверное,

этого самого участия и не хватало раньше, и сейчас вот Слепухин все успешнее управлялся с разболтанным содержимым своей оболочки и все ловчее покорял незнакомое пространство – единственную оставшуюся реальность.

Теперь его уже не раздражало, что большая его часть или даже почти весь он целиком вынужден заниматься бессмысленной заботой – ведь бессмысленность эта была пронизана участием, а при таком раскладе все становится вроде бы и не бессмысленным совсем. Только все еще оставалось непонятным, зачем ему, собственно, нужно проталкиваться сквозь снежную завихрь? зачем вообще ему нужно покорять это неуютное пространство? Однако ноги исправно переступали, сгребая снег впереди себя, прошоркивая неровную дорожку, продавливая рваную ссадину в снежном покрове.

Иногда Слепухин замечал, что мир вдруг сгущается непроходимо, вылепляя впереди какую-то зыбкую фигуру, однако сосредоточиться на этом феномене он не успевал – только поднимет глаза, и препятствие сразу размывается, удаляясь и расползаясь в исштрихованном снегом воздухе. Странно это... но путь оказывался свободным, и Слепухин шоркал дальше, не переставая восхищаться ладностью устройства всех своих суставов и соединений.

Двигаться было все легче, и только смутно беспокоило все большее сгущение белой мути в не очень четкие фигуры справа по ходу. Слепухин спешил быстрее миновать это сгущение (хорошо еще, что возникало оно не на пути, а поодаль), но вскоре возникало новое и вроде даже большее, чем прежде. Смотреть туда Слепухин не решался, боясь отвлечься от главной заботы и рассыпать бесполезно в снег так ловко налаженное движение.

Позади осталось много-много шагов, прежде чем Слепухин настолько уверовал в себя, чтобы осмотреться.

В плотном снегу, у самой запретки, на продувном пятачке, он вытоптал дорожку. Собственно, и кружился он почти вокруг себя, поэтому, даже остановившись, он все еще продолжал вращать пространство, примериваясь, в каком месте наступить теперь? где придавить, останавливая уплывающую снежную поверхность?

Заботы удержания уже не требовали всего Слепухина целиком, но и алчное любопытство не будоражило больше, не подзу-

живало унестись и метаться за сокровищами впечатлений. Недалеко от него толпилось несколько слепухиных. Красные пятна погон то заносило снежной крупой, то обдувало ветром. Они переминалась, напряженно ожидая, когда Слепухин ринется прямиком на запретку (с чего бы другого ему кружить там столько времени?), но и опасались этого дурика, не желая связываться (кто его знает, что он может?). Лучше всего было бы, чтобы он побыстрее рванул к колючке, и тогда слепухин, внимательно наблюдающий этот цирк с ближней вышки (и имеющий свои виды, и даже мечтающий уже, даже подгоняющий уже «ну! ну!»), разом оборвет все эти томительные неудобства (колдун? не колдун? – надоело...).

Всех их, до тошноты знакомых и до отвращения понятных, Слепухин впитал одним вздохом и тут же выплюнул обратно на обочину своего существования. Он осторожной ногой оттолкнул от себя площадку, где крутился почти всю жизнь, еще шаг, еще, и совершенно необжитый, да и не приспособленный для жизни мир принял его в себя. Слепухин нащупал наконец-то путь, с которого трусливо свернул давным-давно. Не в трудовом, а в пионерском лагере сверкнул ледовым великолепием далекий полюс, и тогда еще мелькали перед глазами лохматые собаки, за которыми едва поспевал Слепухин со своими спутниками.. Собак захватили злобные чужаки, спутники растерялись или погибли, а самого Слепухина завернуло зачем-то в уродливое поселение, где он и крутится до сих пор в одном колесе с остальными слепухиными, пытаясь выкрутить уголок поуютнее. Вернее, крутился и пытался, потому что теперь-то он снова на верном пути. Жалко, что без припасов и без верных друзей, но он дойдет...

Неожиданно Слепухин воткнулся в толстую стену и, обогнув ее, оказался в затишке, куда не доставал колючий ветер. Глупо было отказываться от такого удобного для привала места, тем более, что в руках своих он обнаружил насквозь промерзшие валенки (только их и спас он от вероломного набега россомах, уничтоживших все последние запасы). С левой ноги даже не пришлось снимать ботинка – столь огромным оказался валенок, но потом, сколько он ни возился, правую ногу удобно уместить в тепле не удалось...

Угревшись в тихом закутке, Слепухин начал испытывать неясное беспокойство. Не должно было быть тепла на его труд-

ном пути. Хорошо, если эта толстая стена за спиной – всего лишь заброшенная фактория, которую соорудили добравшиеся сюда мальчишки из того детского пионерского лагеря. Но разве им под силу было бы выложить в стену эти тысячи кирпичей? И откуда бы вдруг взялся кирпич среди ледовой пустыни?

Слепухин заставил себя не вскакивать в панике, хотя страшная догадка уже воткнулась в него своей безысходностью. Конечно же, он все еще крутится в прежнем поселении и никак не может выбраться отсюда. Значит, положение его много хуже, чем ему казалось. Хоть он сам и придумал этот уродливый мир, хоть сам он и населил его недоделанными слепухиными, но придумал, оказывается, добротно, и все это живет уже независимо от его авторской воли, и более того – уродцы-слепухины, конечно же, знают, что сколько бы он ни притворялся статистом, на самом-то деле он – автор, и так просто не выпустят его отсюда, ведь без него вся их отлаженная беличьим верчением жизнь рассыплется в прах. Прежде всего – успокоиться и искать выход. Он лепил этот мир без замысла, без общего плана, как получится, стараясь обуютить каждую маленькую минутку, и теперь необходимо самому понять, на чем все это держится? где получилась главная ось этого верчения? Ему предстояло разрушить мир, созданный по его вине, сляпанный сумасшедшими уродцами-слепухиными. А как он радовался недавно еще, находя в каждом уродце что-то родное! Стыдно-то как, Господи... Но он найдет выход.

Более всего Слепухина укрепляла мысль, что вынужденная задержка для всего его предприятия может оказаться полезной – ведь если созданный его кошмарами мир живет сам по себе, во что, конечно же, поверить трудно, но и от упрямых фактов никак не отмахнуться... в общем, если все его кошмарные фантазии обрели реальность в, так сказать, реальных туземцах этого мира, то, возможно, ему удастся заодно с поисками выхода отсюда обзавестись всеми необходимыми припасами, и тогда уже он точно дойдет до полюса, и давние мальчишки встретят его там, на самой вершине жизни, и простят наконец-то... Главное – объяснить им, что он не нарочно выдал их планы, что он доверился пионервожатой Оле, в которую был безнадежно влюблен, а она уже разболтала ночью в лесу вожатому Алику, когда тот ее оттрахал у погасшего костра... Он расскажет, как там же отомстил, как, подкравшись, шуранул на них кучу красных углей,

когда они опять приспособились долбиться... Ну и визгу было! в суматохе эта сучонка раздавила задницей очки своего хахаля, а он все тыкался пугливым ободранным котом по кустам.

Так вот почему в жизни этих его уродцев слово «нечаянно» никогда не охраняет их оправданием и всегда – наоборот даже, всегда повод для большой расправы. Нечаянно – значит дурак, значит – совсем тупорылый, значит – попросту опасен для остальных, если можешь упороть что-то нечаянно. Вот ведь как втиснул Слепухин свое давнее «нечаянно» в эти создания... вот как выкрутил по давешнему своему «косяку»...

Слепухин двинулся дальше вдоль стены и, свернув еще раз, признал это место. Здесь каждую зиму чьим-то неизбывным упрямством возобновлялось бесконечное строительство новой бани. Однако всем было понятно, что бане этой не суждено выбраться из развалин стройки, во-первых, потому, что всегда оказывалось – получается она много меньше необходимой из-за опять возросшего числа туземцев, а во-вторых, и нужна-то эта баня только во исполнение изредка вспоминаемой инструкции, ведь никому и в голову не придет, что в бане той туземцев будут мыть – что им здесь, «санатория курортная»?.. Ну, а во исполнение инструкции вполне достаточно и не самой бани, а ее стройки... Сейчас снова с сотню туземцев, вытянувшись пунктирной линией, прирывали к старым стенам траншею нового фундамента. Издали казалось, что все они заняты в страшноватой пантомиме – ни одного звука не выплескивало в стороны от них. Но хотя копохалась в траншее вторая смена и весь трудовой день еще поджидал их нераспечатанным за воротами промзоны, хотя это вот строительство было всего лишь общественным трудом и вроде бы не очень обязательным, все равно – люди зарывались все глубже в траншею прямо на глазах. Не было им никакого дела до будущей постройки – хоть скажи, что стоять здесь чему-то остобенительному, чего и не придумать сразу, ни децела лишней силы не отдаст никто. Так что поразительный секрет, выворачивающий сейчас перед Слепухиным груды мерзлой земли трудового энтузиазма, совсем не в сознательности аборигенов, жаждущих отгрохать баню для будущих поколений. Скорее, всего прыгающий журавлино вдоль траншеи режимник – которому до всего есть дело и на все вспухают идеи – отмерил бедолагам урок по длине и глубине и устроил гонку «без последнего»...

Слепухин радовался, что ему так легко удается все схватить и во всем разобраться, хотя и смущало то обстоятельство, что от схватчивости его не проясняется то главное, в чем теперь-то ему и нужда... Он двинулся мимо ледокопов у самой стены, незаметный здесь для порхающегося с заткнутым под ремень полами шинели режимника.

Впритык к стене распаренно вкручивались в землю обстоятельный прагматик с прикипевшим к рукам ломом и изгибистый романтик, джигитующий штыковой лопатой. На Слепухина туземцы не отвлекались, но успели подосадовать, что никак не выходит послабить себе, приставив взамен к работе этого очумелого шкварного (вот убрался бы режимник, тогда бы...).

Дветыщитристатри – дветыщитристачетыре... – не сбиваясь, отщелкивал прагматик, не утруждая губ, глубоко внутри за подернутыми мутью глазами. Кто-то забытый рассказал ему, что, если от завтрака отсчитать семь раз по четыре тысячи – настанет обед, а от обеда отсчитать четыре раза – дадут ужин, а потом еще пять раз – конец работы во вторую смену (можно было и еще как-то считать, чтобы сначала на полсрока, потом до звонка, но этого уже не вспомнить). Прагматик считал все время и, дощелкав до четырех тысяч, перекладывал специальную палочку из левого кармана телогрейки в правый. Сейчас в правом ровненько лежали, согревая душу, пять палочек и, значит, до обеда сегодня он доживет.

Слепухин посочувствовал бедолаге, которого так подло обштопал какой-то прибабахнутый слепухин в незапамятный день. Ведь и те, кто приставлен командовать обеды, ужины и съем с работы – они тоже прекрасно осведомлены о возможности такого счета и нарочно каждый день изматывают душу, заставляя досчитываться до одной, двух или даже трех лишних палочек. Нет, отдых и еда так вот запросто не дается, так и любой дурик сумеет: считай себе и поплевывай... Ты сначала истерпи до донышка отпущенные на сегодня силы – тогда заслужил. А если палочки перекладываешь, вот тебе – истерпи на одну лишнюю – не взвыл еще? тогда опять на одну...

Романтик понравился Слепухину больше, хоть и ошпарил неожиданно расплывшимися на весь глаз шальными зрачками. Не было ни земли этой, ни лопаты – он жил вперед, изживая всю малость отпущенного ему запаса души. Жил он после звонка и

до конца под щедрым солнцем кавказского пляжа – загорелый, мускулистый, в суете красивых и холеных тел. Там он не только жил, но и работал, потому что после этого всего никто ни к какой иной работе его уже не приставит. Романтик пристально высматривал среди отдыхающих одинокого командировочного лопуха с приличным лаптем бумажника и, выждав необходимое (а ждать он умел, чему иному – нет, но ждать его научили), главное – выждав, подплывал к нему в море и увлекал дальше (плавать романтик тоже умел – потому и выбрал на будущее такую вот жизнь). Утопить дурика – дело плевое, не булькнет даже, но вот как потом упрятывать? Что-то надо привязывать и, значит, брать с собой свинцовые грузы, а лучше всего мастерить сразу пояса из свинцовых пластин – на плавках даже красиво, и никто не допрет, а потом пояс этот на лопухе застегнуть – и готово. Вечер в ресторане, конечно – ух... здесь романтик начинал задыхаться и побыстрее выворачивался к деловым соображениям. Ночью пояса сооружать – живи да радуйся!..

Слепухин и ему посочувствовал, увидев, как расслабившись от месяца красивой жизни, потеряв ярость, которая большей частью по этим же траншеям и расплескается (хотя и из них же вспенивается сейчас) в синем сказочном море, Романтик позволит себя утопить как слепого котенка... Да и то ведь надо отметить, что перепивший накануне Романтик ошибочно наметил в лопухи туземца, выдолбленного в этих же траншеях...

Беззвучно мелькала лопата, беззвучно опускался и поднимался лом. Только Слепухинское дыхание хрипло раздирало кисею мелкой снежной завеси. Слепухин раздумывал, куда направиться дальше, чтобы не торкаться попусту и извлекать максимальную пользу своему замыслу.

Из-за сугроба, упрятавшего груду кирпича, высунулся грязнючий шкварной и поманил Слепухина за собой. Может, это судьба посылает ему проводника? Шкварной все время обгонял Слепухина и, дождавшись, пока он приблизится, припускал дальше до какого-нибудь следующего укрытия. Они миновали залами столовую – у Слепухина закружилась голова от гнилостного запаха вокруг, и огинали барак расконвойников – теперь-то было понятно, куда тащит его крысиными перебежками юркий провожатый.

Кислый запах отходов облеплял Слепухина с каждым шагом. Низенькое дощатое строение распласталось на непроходи-

мо грязной земле, где и снег-то не угадывался вовсе. Слепухин протопал валенками, выбирая места, надежно схваченные морозом, и следом за проводником внырнул в хлипкий тамбур. Когда-то этот свинарник (а именно в свинарнике оказался Слепухин) стоял на земле, но постепенно обрастая мусором и отходами, как бы погружался в землю, вернее, в выгребаемую из него же грязь и теперь уже казался землянкой.

Далеко впереди в мутноватой непроглядности манила теплом живая возня, но Слепухина его провожатый подтолкнул к закуточку у самой двери, к клетушке, выгороженной, видимо, для содержания какого-нибудь особо авторитетного борова.

В клетушке на низко установленной старой двери, снятой с петель какого-то барака, сидел лешачий уродина. Глаза, независимые от сознания Слепухина, норовили ускользнуть в сторону – лишь бы не видеть невозможного, будто все из той же засаленной телогрейки наискось выкроенного лица.

Перед Слепухиным раззявил гадостную пасть жуткий провал, и только тоненькая пленка изгибалась внатяг, удерживая его от падения туда. А герой самых отвратных сновидений, будто бы слепленный наспех из комьев разноцветно-бурого пластилина, все тыкал и тыкал в эту пленку, норовя прорвать. Ни слова не сказал Слепухину глав-петух зоны – пригласил только присесть рядом, что Слепухин и сделал, не прекращая блуждать лабиринтами еще одного замкнутого мирка, где правил этот король обиженных, пахан омертвевших заживо.

Между всем зоновским мирком и этим, упрятанным в нем, не змеилась ограда из колючек или камней, но невидимая, сотканная презрением и страхом с одной стороны, ненавистью и страхом – с другой, оказывалась даже более непроницаема, чем каменная. За каменную и заглянуть можно, и перекричать – здесь же само любопытство к мутному копошению в царстве обиженных могло быть наказано низвержением туда.

Слепухина не удивляло общее устройство владений глав-петуха: именно таким оно и должно было быть, именно такое и могли только вылепить уродцы-слепухины, очутившись здесь. Иерархия тут была куда сложнее, чем в объемлющем мире зоны (но и та, в свою очередь, много подвижнее и сложнее, чем в том мире, где разместились сами зоны, и не в этом ли секрет прочности созданного слепухинского кошмара?).

Обиженные могли здесь быть просто зашкваренными, и эта вот опасность «зашквариться» висела над каждым в зоне: поел с петухом по незнанию – готов, обцеловал тебя петух по злобе – готов; этим страхом, если умело управлять им, любой петух будет держать от себя мужика на почтительном расстоянии. Были здесь и одноразово торкнутые при сведении счетов или еще как... Были и те, кого постоянно использовали, были и такие, которых использовали с дичайшим непотребством, были и мальчики, приручённые исключительно для личных чьих-то надобностей, нередко и офицерских. Работ, поручаемых шкварным, тоже было немало: от чистки снега до обхаживания выгребных ям, от уборки штабных сортиров до обслуги зоновских свиней... Все это шевелилось, подчиняя друг друга высотой положения, страхом оказаться в положении худшем или совсем уж крайнем, грызлось за удобную работу и уже удобством работы пыталось подчинить других, ну хоть одного кого... а плюс еще и запутанное переплетение ниточек и напрямую, и вперехлест к ушам режимника, опера, самого хозяина, любого отрядника, и к каждому зоновскому авторитету, и к бывшему земляку... И надо всем этим хозяйством – уродливый хитрован, упырь-пахан, глав-петух, принимающий сейчас Слепухина у себя в гостях...

Человека, идущего по лесу, конечно же, не могут сбить с дороги многочисленные паутинки между деревьями, но рвет-то он их только если не в себе, или если явно мешают, а чаще склоняется, обходит, пригибается, не задумываясь даже о противненьких паучках, заставляющих его двигаться так вот изгибисто. А если человек не знает дороги? если он просто гуляет себе в свое удовольствие? в свое ли или в паучиное? Какой мощной силой выгибает все в зоне этот упырь-слепухин?! как выгибают зоновские туземцы-недоделки заоградных слепухиных?.. как заставляют извивисто трепетать всех вокруг опогоненные слепухины и как сами они постоянно извиваются вздергами отсюда, от этого упыря! Как гениально проста скелетная основа обжитого слепухиными мироздания!.. или изжитого? изжитого и обгаженного?..

– Ты чего носом крутишь – или не подходит тебе моя компания? – пахан все тыкал глазками, все выгибал тонюсенькую пленочку, удерживающую Слепухина над вонючей преисподней. – Так я тебе не навязывался...

Совсем замутило Слепухина, когда он попытался разгрести искрученные клочья, забившие жизнь уродца-пахана. Зажму-

ривишись даже, он проталкивался сквозь десятки испотрошенных слепухиных, среди которых, если кому и позавидовать, то одному только – проткнутому насквозь электродом за неосторожное слово – отмучился и лежит грудой тряпья, сдвинутый в угол уличной уборной... Но, растолкав еще нескольких, Слепухин застыл вдруг беспомощно в тюремной бане, пытаясь укрыться за других от клыкастой овчарочьей пасти. Четыре откормленных зверюги в ответ на требование горячей воды ворвались в предбанник. Слепухин метнулся в моечную под защиту ледяных потоков, но поскользнулся на втоптанном обмылке, и совсем не повезло, что собака, рванувшаяся к нему, была не слишком ловка, не успела клацнуть впритык, а хватанула совсем не шутейным серпом... прежде этого события внутри пахана не было ничего – абсолютная пустота, будто и жизни прежде этой овчарки не было, будто отхватила ее та же клыкастая пасть...

Вкуснейший запах плотным потоком сгонял в сторону устоявшийся помойный дух свинарника. На двух кирпичах, перетянутых раскаленной до белых прожилок спиралью, поджаривались на железном листе свиные уши и какие-то скомканные кусочки. Над стряпней колдовал шкварной адъютант, приведший Слепухина.

Так вот что задумал глав-петух: принял Слепухина за кишкодава беспонятного, заманил на еду и так вот собирается зашкварить, так вот тупорыло надеется подчинить Слепухина себе... Даже обидно было, что пахан отверженных оказался много глупее, чем Слепухин о нем навоображал. А, может, он еще что задумал? (Преграда между Слепухиным и петушатными владениями опять истончилась.) Но что у него может быть еще? Нет, он просто-напросто дремучий мудак и, наверное, многих так вот помудацки подловил на самый простой крючок. Сейчас начнет шоркать, что никому не расскажет, что все тишком будет...

Слепухин подозрительно глянул на жаровню и еле сдержался, чтобы не потянуть шумно восхитительный аромат.

– С непривычки, может, кажется несъедобным, но ты не кривись. Французы вон, говорят, лягушек хватают и – ничего, долбятся себе как ни попадя... А на мой вкус – ничего лучше хвостов и ушей свинячьих быть не может, только прожаривать надо получше...

А почему бы Слепухину и вправду не отведать этой по всем признакам великолепной пищи?

Желудок его просыпался неудержимо от долгой летаргии и заявлял о своих потребностях крикливо, загоняя разные вымученные рассуждения в тупик и даже помогая тут же выкрутиться им из тупика.

Разве возможно Слепухину зашквариться совместной едой с петухами? Ведь именно Слепухин – автор всего этого кошмара, а автор волен как ему вздумается вмешиваться в игру разных там занятых в эпизодах паханов и прочих слепухиных. Да и вообще, какое ему дело до этого ошибочно сооруженного мира?! Это все – брак, печально, конечно, но – брак, и должно ему рассыпаться, исчезнуть, развеяться... Почти нащупан уже секрет слепухинского мироустройства, а дальше – выход, дальше – его путь, и, кстати говоря, неплохо бы запастись для этого пути свиными ушами и хвостами – мало весит и хорошо сохраняется в дороге.

– Так что вчера-то было? – попробовал еще раз тыкнуть пахан. – Ты ешь себе и рассказывай...

Нет, и вправду ошибся Слепухин: недоумок король этот... так вот и держат они всех в страхе потому, что – издали, а глянь на него вблизи – дуруханом дуруханом... И самое глупое в вопросе его, самое с головой его выдающее – это понятие мифическое «вчера». Нету ведь никакого вчера – объяснить ему, что ли?.. Ну прямо как прагматик тот с ломом – посчитай до скольких-то там тысяч, и обед дадут... Это только в цирках псам дрессированным обеды дают за никчемушные умения – посчитай или пролай слово «вчера». Нету ни вчера, ни завтра – если и есть что-то – это всегдашнее сегодня. Когда ты, конечно, своей жизнью живешь, своей дорогой идешь. А вот если свернул, закрутился в задумках – тут перерыв, тут, может, и есть это вчера – то самое место, с которого свернул... Тогда, выходит, вчера было и у Слепухина. Была лихорадочная любовь к потаскушке Оленьке, был костер в ночном лесу, Слепухин, высматривающий из-за деревьев... А что было потом? Да ничего не было, ни-че-го, только каждую минуту вышпокивал Слепухин своими однобокими фантазиями, мечтами, злобами или еще чем какого-то недоделанного слепухина – вон уже сколько нашпокал их, и живут себе, не тают, хоть и из фантазий одних выдутые или из другого столь же непрочного матерьяла... В какую-то совсем кошмарную ночь выдул и этого упыря, который корчит из себя черт-те что, а на самом деле из одного только липкого слепухинского страха сплетен... Мо-

жет, объяснить ему все популярненько? врезать спокойненько так между глаз правду о том, кто он? и откуда? и что такое «вчера»?.. А что, если как в сказке – вся прочность, с которой его недоделки сляпали свою жизнь, от одного только правдивого слова и рассыплется?.. Нет, вряд ли – надежно сляпали, на века... Не стоит себя выдавать, а то и не выбраться отсюда... Может, на самом-то деле его и проверяют – знает ли он свою роль во всей этой круговерти или не знает еще? Может, они и дают Слепухину жить и шпокать им дальше пополнение, пока он не догадывается ни о чем, а поймут, что догадался, – сразу в расход, чтобы не разрушил их постройку? Нет, вроде не сходится: ведь если его в расход – все само рассыплется... Неважно, главное при любом раскладе – не выдавать себя.

– Молчишь?.. Ну ладно – успокойся пока, а потом у меня к тебе будет предложеньице... Ты и не представляешь, как с твоими способностями и с моим опытом мы можем все здесь завернуть!.. – пахан залоснился, как бы смазываясь мечтами. – Эх, да и не только здесь... Мы с тобой... мы с тобой, брат...

Слепухин примеривался ко второму уху, с обидой сознавая, что глазами-то съел бы все на этой жаровне, но отвыкший от пищи желудок напрочь разучился умению с пищей этой обращаться. Всего-то и съел одно не очень большое ухо, а желудок задумчиво выжидает, не решив, что с этим ухом дальше делать, и напрочь отказывается принимать следующие, не разобравшись с первым. Можно, конечно, настоять, но потом того и опасайся, что в обиде подгадит брюхо в какой-нибудь ответственный момент...

– Не лезет больше? – заметил пахан терзания гостя. – Не огорчайся – это бывает, это всегда после того, как рванет тебя внутри... Пройдет... Иди отдохни пока в тепле, а за жратву не переживай – это все твое. Отдыхай – потом добазарим.

Слепухин предпочел щедро дарованную пищу забрать сразу, не рассчитывая особенно на постоянство посулов. Он тщательно припрятал в карманах телогрейки и за пазухой все содержимое жаровни и выбрался из клетушки глав-петуха, все еще ощущая его оценивающий взгляд. Пользуясь указаниями давешнего шкварного, Слепухин двинулся вглубь старого барака, толкая впереди себя хрюклый переполох немногочисленных обитателей. У самой дальней стены в настоявшемся тепле Слепухин и умостился в блаженстве на слежавшейся соломенной подстилке.

Всполошенные соседи быстро утихали, возвращаясь к привычной возне, и Слепухину было приятно, что возня их ни с какой стороны его не цепляет, не требует вздернутой его настороженности.

Однако умиротворяющее шевеление вокруг на самом деле оказывалось только верхушечным впечатлением о настоящей жизни в этом бараке. Чем более забывался Слепухин, тем глубже погружался он во все те же отвратительные знакомые бурления воспаленных страстей. Этапы втискивали сюда новых обитателей дважды в неделю, но на расправу уволакивали двоих-троих ежевечерне, когда остальные обитатели зоны, наоборот, успокаивались в относительной безопасности до утра. Здешние старожилы начинали исходить смертной тоской задолго до вечерней расправной поверки и все нанизывали хитроумные планы, как вытолкать подальше наружу тех, кто подурехливей, но и здесь ведь основное – не переусердствовать, палачам-то не особо хочется валандаться со строптивцами, для палачей вся эта возня – постылый будничный труд, поэтому выторкнутый слишком далеко мудила может вдруг зайтись в психовке, и его уже нипочем не возьмут, оставят на другой раз... Так и жил приютивший Слепухина барак от одной поверки до другой, ненавидя все время остальных зоновских обитателей, для утехи желудков которых и устраиваются смертные эти потехи. (Слепухину показалась забавной эта лютая ненависть, не имевшая под собой никакой основы, кроме всегда изумляющего доверия вечно лживым лозунгам, и теперь вот тем из них, где кого-то пытаются убедить, что зоновских обитателей кормят соответственно нормальным потребностям. Впрочем, в поддерживании такого вот напряжения немотивированной ненависти обнаружились еще одни прочные скрепы, попрочнее даже, чем три наивных кита... (Часто в барак являлись разные представительные двуногие и выбирали себе кого-нибудь, и тогда обгаженная обслуга стелилась перед ними пошуршистей соломенных подстилок. По поводу этих посещений у старожилов не было общего мнения: одни считали, что являются такие палачи, перед которыми свои – просто милые неумеки, другие мечтательно предполагали, что представительные посетители забирают отсюда счастливчиков для какой-то расчудесной жизни, сытой и полной ласковых почёсываний. Вели себя обитатели при этих посещениях каждый соответствен-

но своему представлению, впрочем, посетители выбирали сами и сколько там ни выталкивай или ни выталкивайся, скорее всего, это на выбор влиять не могло, что не мешало, впрочем, и выталкивать, и выталкиваться.

Слепухин пристроился совсем уютно, да и соседи пообвыкли и доверчиво прижимались к нему теплыми подрагивающими боками. Он бы, может, и наблаженствовался здесь вволю, но очнулся оттого, что какая-то сволочная свинья, воспользовавшись его доверчивостью и благостным расслаблением, норовила оттяпать у него ухо. С недовольным хрюканьем порскнули в стороны куцые хлюпики, но Слепухин успел-таки выхватить из ворюгиных зубов свое ухо и успел врезать кулаком прямо в розовое дрожащее пятнышко. Ухо Слепухин обкусал, подравнивая, и, разгладив, сунул обратно в карман.

Слепухин не мог не восхищаться открывшимся ему устройством и крепежом приговоренного к разрушению здания. Вот и недоделанные! вот тебе и уродцы!.. недоделанные, конечно, но каждый добавил в общее строение именно необходимое от своей личной недоделанности, и как же ловко все скрепилось! как жестко прочно и просто!.. Главное разделить все перегородочками, запретками и колючками, пропахать бороздами страха и ненависти, выделить побольше неприкасаемых друг для друга и по всем полученным закуточкам пустить гулять липкие потоки нескольких лжей – пусть себе ползают ужаками насквозь: во-первых, что везде все справедливо и гуманно, во-вторых, что в каждом следующем закутке каждый лично уж наверняка узнает, почем раки зимуют и где фунт лиха у кузькиной и иной матери, в-третьих, что всюду одно и то же, всюду плохо, нигде нет правды, и вообще идеалы недостижимы. Но главное при этом ограничение общения между разными загородками, запрещение общения между все большим числом разгородок этих, глуховое запрещение! и тогда ползучая ужаками ложь тут же оборачивается правдой. Если же при этом временами пропускать обитателей самых заразгороженных, самых заразрешеченных узилищ обратно в менее разрешеченные, выпускать вместе с ними и испарения кошмаров, что клубятся в тех загородках, чтобы и на других дохнуло, если еще и так – мироздание незыблемо. Строение неистребимо, потому что все постепенно становятся одинаковыми его скрепами, гвоздями и скобами. Слепухин попытался вспомнить

давнее, из школы еще, что-то про гвозди, которые надо из кого-то делать, и – не вспомнил. Вспомнил другое и разулыбался на удивление все еще обиженно хрюкающих соседей: извечный символ дома слепухиных – матрешку. Вот оно, вложение закутков друг в друга и неотличимость в конце концов обитателей этих закутков. Поэтому и кривится самая подневольная идиотской улыбочкой, оказавшись вдруг на свету, что не рассказать, как там – в ее боксике, не поймут и отвернутся. Поэтому и заляпан рот самой вроде бы свободной перед удивленными и иностранцами, заткнут идиотской улыбочкой, что знает, как там у нее внутри устроено, и догадывается, каково там... и ручки у всех на привязи, за пояском...

Всего-то и делов – разрушить стены, чтобы не упрятывались в темени и незнании поразгороженные норы... всего-то и делов, чтобы каждый мог свободненько заглянуть в любой угол по своему желанию... всего и забот, чтобы не направляли уготовленные запретки каждого, куда именно ему смотреть, а тогда уж не направят и куда думать... всего-то... самую малость надо поднапрячься Слепухину, и рухнут ограды... чуточку поднатужиться и – смотри насквозь, дыши насквозь... всего и делов...

Ничего уже не задерживало Слепухина в этом бараке, душа его рвалась наружу, и приходилось сдерживать ее, чтобы не выплеснула преждевременно ее замыслы. Сейчас оставалось только экипироваться в дорогу, утеплиться понадежнее... А приготовившись по-умному, он взломает стену этого свинарника, столкнет его обитателей с туземцами зоны, переплавится разделяющая их неприязнь в негодование следующей стеной, и дальше затрещат все ограды по очереди... Слепухин проверил надежность упрятки съестных запасов и двинулся к дощатому тамбуру... Глав-петух спал в своей загородке, мечтая, как он приспособит новенького шкварного к своим замыслам о переустройстве неудачно построенного мира, как пристегнет его к своей упряжке и пропашет с его помощью невиданные прежде рвы животного страха буквально между всеми, и тогда уже... тогда... Всего-то и делов оставалось – приручить эту шквароту... всего-то и делов...

Тусклая лампочка из паханской клетушки не доставала дощатого тамбура, и Слепухин долго тыкался, прежде чем попасть в дверь, а на выходе очень удивился, что в зоне почему-то та же

темнота, пятнисто залитая светом фонарей. Желтые фонари еле доставали сюда своими щупальцами, и пришлось покружить, выбираясь из нагромождения отбросов. Почему же это вдруг стало так темно? Может, пронюхали все-таки о его замыслах и стараются сбить?

Додумать Слепухин не успел, выцепленный тут же неутомимым режимником.

Майор, как и всегда, весьма энергично провел рабочий день и чувствовал приятную усталость, но неунывающее его существо все выискивало возможности для полезной работы, не поддаваясь и усталости даже.

– По каким делам бродишь-ходишь, педерастик любезный? Ну не ёрзай, не ёрзай, долбить я тебя не собираюсь... отдолбил я свое... как говорится, были мы когда-то давно рысаками... я теперь все силы – на вашу, мерзавцы, пользу. Вот-те на: это же уши... Интересно, чьи же это уши?

Режимник вытаскивал из карманов Слепухина его припасы, и тот старался не шевелиться, чтобы не выдать припрятанное за пазухой. Майор приставил свиное ухо к своему, потом к Слепухинскому.

– Мои вроде на месте... твои – тоже на месте... Чьи же это? Пойдем со мной, паразит ты мой конченый... пойдем-ка в дежурную часть, спросим: может, из офицеров кто потерял?..

Слепухин поспешал впереди режимника и все не мог окончательно решить: знают или не знают? специально для него все это устроено с темнотой и с дедушкой-режимником или совпадение? рискнуть сейчас вырваться неподготовленному еще или не суетиться и переждать?

Режимник все подталкивал, подталкивал Слепухина в спину и втолкнул наконец в дежурку. Там малость притомившийся с утра отрядный Боря втолковывал что-то хмурому мужику, а тот все кривился, едва успевая разгонять в стороны проникновенные слова увлеченного в воспитательном угаре отрядного.

– Мы тебе, выродок, яйца-то прищемим... ты у меня выше головы обпоносишься... Ишь, возомнил себе, ишь, бледво, хвост задрал.

– Я не бледво, – встрепенулся мужик.

– Бледво-бледво, – успокоил Боря. – А, может, ты хочешь спросить с меня за слова? – Боря развеселился. – Так спроси,

спроси... – на всякий случай он пододвинул к себе деревянную дубинку, что всегда была под рукой у ДПНК, и глянул на режимника, который, чуть склонив голову к плечу, с веселым любопытством и даже с наслаждением слушал весьма воспитательную беседу.

– Это кто? тот самый твой кляузник?

– Так точно, он, товарищ майор... Ему, видите ли, жратвы мало, боится, наверное, что избессилиет и по выходу бабу трахнуть не сможет.

– Так и не сможет, – поддержал режимник, – если выйдет еще. Не для того мы сюда поставлены, чтобы эти мрази плодили себе подобных. Скоро и вообще мы первым делом трахалки оттрахивать здесь будем. А глянь-ка на этого шкворня – полные карманы свиных ушей, и чешет себе прямо из свинарника. Это же додуматься надо – прокрался на свиноферму и у живых поросят уши отчикал!..

– Так они же вроде жареные, – засомневался Боря.

– Вот и я говорю: отчикал и изжарил... Смотри-ка на эту милую блевотину – ни паспорта на нем, ни вида положенного – чей же такой будет? Ты слышишь?! Тебе-то уши еще не отчикали? Из какого отряда?

Слепухин злорадно ждал, когда же толстошкурый отрядник допрет, что грозный рык режимника «Из какого отряда?» одинаково грозен сейчас и Слепухину, и его отрядному Боре, даже, пожалуй, Боре-то погрознее. Ага, допер-таки, начал объяснять что-то... вон уже и уши заполыхали...

– Что, точно он? – переспросил режимник. – Пусть тогда катится к чертям. Слышишь, ты, – это уже к Слепухину и погромче. – Ты, ты, чего заоглядывался? чего завертел гребнем?.. то есть... в общем, иди себе и пойми, что нехорошо живодерствовать... прямо-таки стыдно за тебя: воспитываешь вас, воспитываешь, а ты вдруг до такой, можно сказать, жестокости... уши с живых поросят обкорнать... иди себе...

Выходя из дежурки, Слепухин слышал, как режимник наседает на оставшегося мужика.

– Так тебе жратвы не хватает, блевотина занюханная? так ты не об том болеешь, чтобы вину искупить, а об том, чтобы брюхо набить, кишкоблуд вонючий?.. Тут вот от петуха хвосты свинячие остались – на, пососи... пососи, может, тебе и хватит,

бери, пожалуйста, в последний раз предлагаю: возьмешь – в отряд отпущу...

Обошлось, не дотумкали недоумки, выпустили себе на погибель. Запасы, к сожалению, ополовинили, но выпустили все-таки... Слепухин шел к выходу из коридора дежурной части медленно, наполняя всего себя сознанием значительности этого момента – еще немного, и исчезнет коридор этот, здание это, режимник и отрядный, исчезнет все...

На зону валил пушистыми хлопьями белейший снег. Он опускался непроглядным пышным сугробом и, может, даже не опускался, а наоборот – наполнившаяся воздушными пузырьками свежая земля с тихим шипением поднималась к небу. Только вот вряд ли земля могла быть такой ослепительно чистой, значит, все же опускалось небо... Нет, скорее всего, белая пряжа снегопада сшивала землю и небо в одно, заштопывала эту вот рану, расковыренную здесь уродами-слепухиными, сшивала кошмарную прореху.

За ровным снежным шорохом вскребывался в уши тяжкий надрыв больших жестяных лопат – шкварные в жилой зоне начали борьбу со снегом, принялись ковырять заново еще и не затянувшуюся рану.

Перед Слепухиным выросла здоровенная шинель с красной повязкой ДПНК на рукаве.

– Ты что здесь прохлаждаешься, петушачий отброс? Эй, воин, дай-ка ему лопату – пусть крылья поразомнет...

Кто-то сзади ткнул в спину Слепухина лопатой, и Слепухин взял ее. Перед ним махали руками, объясняя, что расчистить ему надо все дорожки в штабной зоне. Наконец надоедливые голоса и тыркающие со всех сторон сапоги потонули в еще более загустевшем снежном обвале.

Слепухин отошел от крыльца дежурной части, пока все здание не проглотил снегопад (да и отойти для этого понадобилось на каких-то пару шагов). Он стоял, чуть навалившись на лопату, отдаваясь на волю стихии, согласный быть погребенным в одном сугробе со всем этим местом, лишь бы занесло все это по самые верхушки сторожевых вышек. Ему стало смешно от трусливой суеты ДПНК. Заиграло очко, забегал... Лопату сует... ну, не баран ли? Лопатой против такой небесной атаки? – все равно, что ложкой горе вычерпать...

Было тепло, и Слепухин все стоял, не меняя позы, обрастая снежными навалами по плечам, по голове, по рукам, скрещенным на черенке лопаты. Немного грустно было оттого, что так и не дойдет он до полюса, так и не встретит преданных вчера друзей, но ведь, можно считать, что он уже в пути, а значит, судьба его завидна – ведь не всем дойти туда, но он все-таки попробовал... Главное, что ему удалось заручиться поддержкой небес, и он исправит с их помощью навороченные им же кошмары, засыплет свою ошибку, и даже очень правильно, что засыплет вместе с собой... каждый должен искупать свои грехи...

Очнулся Слепухин, когда проступили вновь зоновские фонари и зачернела за поредевшей снеговой пряжей ограда с различимыми уже ажурными стропилами вышек. Господи, как же огромна эта рана, если даже в небесах не хватает снежного материяла для заживления ее!..

– Ты все еще отдыхаешь, пидер ленивый?

Слепухина начали пинать сразу и не менее пяти сапог и шести кулаков, но замутившиеся слезами глаза не могли рассмотреть эту диковинную шестирукую пятиножку. Он принялся шоркать лопатой – только бы отстали от него, только бы оставили в покое и тишине для того, чтобы мог он хоть что-нибудь сообразить...

Хорошо, пусть небеса оставили его, но ведь у Слепухина есть еще и свой план... он и сам знает, как взорвать все это... Засыпать эту гниль снегом, конечно же, было бы лучше, эстетичнее, но если не хватает снега, то черт с ней, с эстетикой!.. Все равно Слепухин все это разрушит и, может, еще дойдет до вчерашних друзей... Все равно разрушит... все равно... все-рав-но-все-рав-но...

Слепухину удалось в запаренности работы растопить обиду на обманувшие надежды, укрепиться в прежних замыслах и даже повеселеть от того, как ладненько у него планируются ровные дорожки штабного городка, как ловко этими искусными дорожками он замазывает любые возможные подозрения на свой счет.

Снег уже совсем прекратился, и небо очистилось, поглядывая россыпью зорких глаз за Слепухиным. Шкварные в жилых зонах управились со своей работой, но сюда, на помощь Слепухину, их не вызвали, видимо, решили, что он справится и сам – вон ведь как красиво у него получается.

Слепухин расчистил большую площадку перед зоновскими воротами и стоял, оглядываясь и соображая, надо ли еще где приукрасить. Очень уж хотелось на виду у многочисленных глаз сверху все сделать наилучшим образом. Пока же Слепухин даже подмигнул в сторону одной близкой совсем звездочки. Он был уверен, что и она глядит на него не равнодушно, как остальные, а с теплым сочувствием. В чем другом, но в сочувствии Слепухин обмануться не мог – именно этого напрочь лишен уродливый мир, по которому протянул он сейчас несколько изумительно ровных дорожек.

Появившийся рядом майор – начальник роты охраны что-то гудел в самое ухо, что-то приказывал про дорогу от шоссе к воротам лагеря, что-то сулил за быструю работу и совсем уж надоедливо шоркал про особую ответственность и про его, Слепухина, сознательность, на которую майор рассчитывает. Заткнулся бы скорее, псина, и не отвлекал... Глаза не могли оторваться от жалостливого ласкового взгляда сверху.

Пока ДПНК шуровал у себя в дежурке, а потом колдовал над железным ящиком на стене, пока раскрывались от его манипуляций зоновские ворота – Слепухин все стоял столбом, не отрываясь от своей звезды.

– Сейчас я вызову наряд, – снова отвлек начальник охраны Слепухина, – и открою наружную дверь шлюза. Только ты там без глупостей, а то воины тебе все кости переломают. А расчистишь по-шустрому – с меня плита чая. (Ах, как он волновался, рискнул нарушить инструкцию... даже не облаял ни разу за столько длинных слов... Но ведь и не хотелось вызывать расконвойников и караулить потом за ними из ворот шлюза почти два часа кряду – этот-то петух вон как быстро управляется... а попробуй не расчистить хозяину дорожку к утру – сживет...)

Слепухин догадался, что небеса не отвернулись от него, не зря ведь звездочка эта так долго ободряла и утешала, да и сейчас еще подмигивает... Вот и пришло его время вернуться на свою дорогу, и не надо пробивать стену, ее и открыть можно, да так и оставить открыто – результат будет тот же, рухнет... Главное – решиться и прикончить этого вот недоделку, этот брак, пока он не вызвал других уродцев – с целым нарядом слепухиных не справиться... Но ведь это ничего, он ведь не человека прикончит, а уродца недоделанного, самим Слепухиным и выдуманного уродца... это ведь ничего, это можно.

Слепухин зажмурился и поднял лопату. Даже с закрытыми глазами он видел толстую шею майора, спешащего запереть железный ящик прежде, чем бежать в дежурку для вызова наряда. Широкий разворот толстой шерсти гильотинным ножом поднялся на уровень багровой шеи и ухнул, разгоняемый шумным выдохом Слепухина.

Не глядя на казенного уродца, Слепухин торопливо разбирался в рычагах на пульте ящика и по скрипу наружных ворот понял, что шлюз открыт. Он торопливо прогрукал по шлюзу, боясь, что звездочка – его спасительница и его поводырь – исчезнет куда-нибудь, потеряет к нему интерес или попросту затеряется безвозвратно среди тысяч других.

На выходе из шлюза Слепухин боязливо глянул вверх и сразу узнал ее – светлую и родную. Посеревшее утреннее небо безжалостно гасило звезды вокруг, закрывало любопытные взгляды с далеких небес, припрятывало небесные богатства от земли, но звезда Слепухина, казалось, только разгорается в светлеющем небе... Похоже, что она даже спустилась пониже, чтобы Слепухин ее случайно не спутал с другой какой...

Да ведь это и на самом деле его поводырь... Слепухин старался шагать побыстрее, хотя валенки проваливались в глубокий снег и приходилось с силой вырывать их обратно... Чьи-то давние слова шелестели на губах Слепухина вперемежку с его нынешними словами.

«Звезда моя, звезда светлая и утренняя, ты да я только, ты да я вместе... позади остались псы и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду».

Снег спереди Слепухина брызнул фонтанно, запорошив лицо и глаза.

«Звезда светлая и утренняя, – бормотал Слепухин, отфыркиваясь от еще одного снежного фонтана... позади остались... позади».

Он оглянулся, уверенный, что позади сейчас все рушится: подламываются вышки, бесшумно рассыпается ограда, проваливаются внутрь крыши зоновских строений и гаснут медленно фонари.

Но зона по-прежнему вздымалась над его плечами мощной крепостью до самого неба. Совсем ясно увидел Слепухин напряженное лицо уродца на ближайшей вышке, недоделки, для стрельбы только и приспособленного... во все небо разрастался

его серый глаз, перечеркнутый по зрачку автоматной мушкой. Глаз прищурился, и Слепухин разом потерял все трудноприобретенное умение в управлении сложным механизмом своего тела. Он завопил, но и это не помогло – тело его продолжало складываться, плечи проваливались вниз, подламывались колени и весь он стремительно ссыпался кучей костей, запутавшихся в тряпье. Запрокинутая голова бессильно моталась в падении, а глаза все еще старались зацепиться за спасительницу и поводыря, но и она – звезда светлая и утренняя – с шипением тонула в снегу...

НИМ Наум родился в 1951 году в Белоруссии. Учился в Москве и Ростове, окончил Витебский педагогический институт. Был учителем математики и физики, воспитателем в школе-интернате для детей-инвалидов, математиком-программистом, грузчиком, плотником, строительным рабочим. Постоянно собирал, размножал самиздат. После многократных «законных» и «незаконных» обысков и изъятий книг и рукописей Ним был арестован в Ростовской области в январе 1985 года и осужден по статье 190-1 в июне того же года закрытым судом в Ростове-на-Дону. Вышел из лагеря в марте 1987 года, работал в котельной, сейчас занимается неформальной общественной деятельностью. Проза Наума Нима не публиковалась.

«Я БАЧИЛА, ЯК ТИ ХИЛИВСЬ ДОДОЛУ...»

Я видела, как ты к земле клонился,
Был тяжким угнетен своим крестом,
Ты говорил: «Я утомлен..? Да, правда...
Я очень утомлен... Зачем уже бороться?
Я одинокий и... теперь нет силы...»
Ты говорил так просто и спокойно,
Дрожали слезы в голосе твоем,
И отблеском сухим светились очи,
Как и всегда... А я стояла рядом,
И не нашлась, чтобы к твоей ладони прикоснуться,
Чтоб над больным челом твоим склониться,
Чтоб приподнять тебя... Я все смотрела,
Как ты клонился под своим крестом...
...И на тебя потом я всё смотрела,
Тогда, когда с тобой мы разлучились,
Тогда лишь только образ твой, о друг мой,
Являлся мне в бессонные те ночи,
Всё голос твой звенел: «Я утомлён... да, правда...»
Я лист тогда брала бумаги белой,
хотелось мне собрать все эти слёзы,
Что в голосе твоем звенели.
Когда-то так, – нам говорит легенда, –
Задумала святая Вероника
Пот со слезами снять с лица Христа.
Но вместо слез и пота на платке
Остался образ ей в венце терновом
Того, кто пал под крест в небытие.
О, каждый раз я, собирая слезы
Твои, мой друг, на этот белый лист,
Всё видела то чудо Вероники...

Перевод с украинского Инны Логуновой

Владимир Запецкий

ЕГОР КУЗЬМИЧ СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО

Вот и ушел наконец Лигачев – а облегчения нет. Кошки на сердце скребут. Уж очень бодро удалился на покой, едва ли не с улыбкой. Как будто говоря про себя: я свой долг исполнил, я сделал все, что мог...

А мы с вами – в дураках, да только этого еще не понимаем.

Наша история XX века писана символами и смыслами. И десятки поколений после нас, склонившись над этим историческим писанием, будут постигать его. На одной из ее страниц застынет и эта маленькая опереточная «фигура справа». А имя Лигачева станет именем нарицательным, уж больно складно улеглась «от» и «до» его биография в историю коммунистического эксперимента в России.

Был ли Лигачев истинным лидером консервативного направления? Нет, конечно. Уж скорее своего рода знаменем – в силу незатейливой прямоты, с которой Егор Кузьмич излагал свои воззрения. Красной тряпкой, которой умело размахивали поверх голов, дразня журналистскую братию, отвлекая и мешая разглядеть, что же на самом деле происходит в рядах монолитно стоящей внизу старой гвардии. И все равно этот на редкость выразительный экземпляр российского марксиста второй половины XX века заслуживает того, чтобы его изучали под микроскопом.

Давайте-ка и мы возьмем один определенный срез, одну лишь проекцию в надежде найти ответ на вопрос, который сегодня мучит многих: почему после столь многообещающего начала от горбачевской перестройки явственно попахивает тленом? что тому виной? козни Лигачева и лигачевых? ошибочная тактика? просчеты в стратегии?

И почему не покидает тревожное предчувствие, что не случайна бодрая поступь уходящего Егора Кузьмича, что долгожданный его уход с политической арены слишком, слишком запоздал?..

Горбачевские реформы начались с признания, что мы имеем «не тот социализм». И экономическая сущность предполагаемых реформ в значительной мере выражалась формулой «социализма правильного» – как общества «цивилизованных кооператоров». Появившийся три года назад Закон о кооперации должен был олицетворять возвращение к так называемым «ленинским принципам».

Что же происходило и происходит в кооперативном движении? Кое-где еще звучат победные реляции, но в целом все-таки следует признать его относительный неуспех. И неуспех этот был неизбежен: не подкрепленная правом собственности, частная инициатива в виде кооперативной деятельности изначально могла стать лишь щелочью, способной в два-три года проесть потребительский рынок (или то, что от него осталось) до дыр. Именно это и произошло.

И по сей день нет гарантий на будущее, нет реальных возможностей владеть средствами производства – и естественно, что новые предприниматели предпочитают заниматься чистой спекуляцией. Одно время газеты восторгались теми кооперативами, которые работали по государственным расценкам, – и тут были сплошь передержки. Кто ответит, какие из этих расценок имеют экономический смысл? Только рынок, а о нем пока лишь разговоры. А как госрасценкой измерить качество? Сплошь и рядом кооперативы создаются для обслуживания государственных предприятий, причем одни и те же люди работают и там, и тут. Как следствие – взяточничество, коррупция, приписки.

Или трудно было предположить, что в этом мире всеобщего дефицита, где ничего нет, но есть нищий чиновник, через которого кое-что достать все-таки можно, чиновник этот будет с потрохами куплен разбогатевшим кооператором? А безналичные государственные деньги «научатся» превращаться в наличные? Неужели все это не было очевидно заранее?

Вопрос о собственности следовало рассматривать *одновременно* с законом о кооперации (по существу дела – о частной инициативе). Это отправная точка, это экономическая аксиома.

А введение свободного ценообразования для кооперативов в условиях товарного дефицита без соответствующего антимонопольного законодательства? И тут попытка поставить телегу впереди лошади! Чтобы та вернее споткнулась?

Был ли другой путь? На него указывал опыт других стран. Даже китайскому руководству, к которому после бойни на площади Тяньаньмэнь нельзя испытывать ничего, кроме омерзения, удалось разумным образом соединить нежелание поступиться политической властью с общенациональными интересами. Китайская экономическая реформа фактически началась в деревне, что закономерно. Как показывает история социалистических опытов, именно в деревне узел противоречий затягивается туже всего (и для крестьянской России это была попросту удавка на шее).

У нас же первичное накопление капитала было передано городу, точнее – вчерашнему фарцовщику и горисполкомовскому чиновнику. А деревня осталась под гнетом партократии, тогда как именно она могла быстрее всего улучшить положение на потребительском рынке, не порождая при этом чрезмерного роста состояний и – как следствие – социального напряжения. Под эту первую победу правительство могло получить серьезный кредит доверия.

Но есть соображения, если угодно, и общеисторические.

Как и семьдесят лет назад, крестьянский вопрос остается для России важнейшим. Мы запускали ракеты и перегораживали реки, и на Западе нас долгое время считали индустриальной державой. Теперь усомнились – и поделом. ***Мы – страна, до сих пор не нашедшая своего решения аграрного вопроса.*** Вот он и мучит загноившейся занозой. Да что занозой! Уже флегмоной или даже гангреной...

А если не ограничиваться задачей выхода из кризиса? Осталось ли вообще для России место под солнцем? Что будет с нашей страной в веке следующем? Найдет ли она в себе силы жить дальше или превратится в историко-этнографический музей?

Масштабы социально-экономического кризиса требуют и масштабных решений. Становится все более очевидно, что термины «социализм», «капитализм» не отражают реалий современного мира. Истинное их содержание – схематически обозначить главное противоречие уходящей эпохи, давшее стимул – сделаем реверанс в сторону диалектики – для общественного развития. Но если большинство стран, вовремя усвоивших трудный российский опыт, благополучно проскочили между двух рифов, то нам еще предстоит латать пропоротое днище.

Наивно рассчитывать на мрачные пророчества футурологов о гибели мировой цивилизации. Разумней задуматься: что даст ей жизненную энергию, откуда она будет ее черпать?

Сегодня уже угадываются контуры будущего. Скорее всего, хребтом послужит все то, что сейчас называют экологией. Уже сейчас газеты заполнены сообщениями об озоновых дырах, канцерогенах и т.п. Человек будущего – пусть это и звучит несколько цинично – будет работать, чтобы дышать чистым воздухом и пить чистую воду. К власти придут «зеленые» (или заметно «позеленеют» прочие политические партии) – при непротивлении большого бизнеса, который увидит в прежнем экзотическом парламентском меньшинстве мощного союзника, создающего новую сферу потребительских интересов.

Так какое место могла бы занять в этом обновленном мире Россия? Слишком многое упущено, будет ли успешной погоня за Западом след в след в надежде построить индустриальный российский таиланд?

Чем затевать долгое и сомнительное путешествие в Америку через Бангкок, стоило бы, если угодно, срезать угол. Если не догнать развитые страны, то хотя бы чем-то наверстать упущенное. Да, нам повезло с ресурсами – вот и надо нацелить экономику на это «зеленое» будущее, с особым упором на деревню, на производство экологически чистых продуктов (что и высоким технологиям не помеха, вопрос лишь в разумном сочетании того и другого). Такой путь идеально соответствовал бы идее национального российского возрождения (и, кстати, пользовался бы поддержкой мирового сообщества).

Горбачев же затеял перестройку, не имея мало-мальски целостного плана даже на десять лет вперед, не говоря уже о следующем столетии. В руках у него по-прежнему была программа КПСС, которая все еще тащит нас в коммунистическую утопию. (Появился, правда, на 28-м съезде еще один бумагопродукт под названием «К демократическому, гуманному социализму», не забывающий коммунизм – уже в качестве некой «перспективы». Похоже, что еще годик – и КПСС разродится программой партии с соответствующими поправками. А что, Ленин и Сталин нам предлагали что-то недемократичное или негуманное? и перспективы были иными?) Поступаться марксистскими принципами Горбачев не мог да и не хотел. Потому так ничтожны итоги его реформ.

Считает себя марксистом и Лигачев. Оспаривать не будем. Но что это такое – марксизм? Точнее: что следует понимать под марксизмом сегодня? Нас настолько замордовали марксистскими дисциплинами, что мы решительно забыли банальные истины.

И вот если пересилить себя (сколько ж можно! едва ли не с детского сада и до госэкзаменов в университете!), если ухватиться за корневище, то тут же наружу вылезет то обязательное, без чего марксизм существовать не может и что называется – вы еще не забыли? – материалистическим пониманием истории. Все просто, понятно и логично: смена исторических формаций происходит через обеспечение более высокой общественной производительности труда. Переход к социалистическому способу производства должен был произойти, строго следуя марксистскому методу, не благодаря более «гуманному» его характеру (это вторично), но благодаря большей его экономической состоятельности.

Что имеем на сегодня? Прежние аргументы в пользу насильственной социализации общества: усиление классовой борьбы в условиях враждебного окружения, грядущая всемирная социалистическая революция – канули в Лету. Казалось бы, марксистам типа Лигачева следовало бы отдаться естественному ходу общественного развития, коль скоро он не сомневается в конечном результате. Хоть брось поводья – а лошадка все равно на родное коммунистическое подворье вывезет, не так ли? Но это в теории, а на деле нынешние марксисты без кнута себя не мыслят.

В январе 1990 года на пленуме ЦК КПСС Лигачев с ораторским блеском известного свойства заявил: «Решительно против того, чтобы проект платформы ЦК к съезду в той или иной мере открыл даже щели для внедрения в социалистическое общество частной собственности... Это вопрос нашего (чьего именно? – *В.З.*) будущего. Хватит, мы уже кое-что хлебнули (неужели и Лигачев тоже? – *В.З.*) при вольнице спекулятивных кооперативов». «Вопрос нашего будущего» – ага, вот это уже теплее.

История в чистом виде поставила эксперимент на экономическую состоятельность социалистической утопии: ГДР и ФРГ, Китай и Тайвань, две Кореи. И свой окончательный вердикт вынесла. В экономическом отношении коммунизм потерпел полный крах. В соответствии с марксовыми же посылками – да, именно так! – нам надлежит идти в иное общество, потому что

того, первого, где всего больше и все лучше, просто не существует...

Это напоминает курьез пятнадцатилетней давности, когда один математик опубликовал в престижном сборнике Академии наук статью об интересных и нетривиальных свойствах некоторого класса функций. Статья явно «тянула» на докторскую диссертацию. А через несколько месяцев промелькнуло в пять строк сообщение, в котором смущенный автор выражал благодарность такому-то (следовала фамилия) за сделанное замечание, что указанный класс функций, увы... пуст.

Аналогия, конечно, отдаленная. С одной стороны – невинные математические абстракции. С другой – кровавый эксперимент, в который оказалась втянута треть земного шара.

И все же: что есть марксистская теория сегодня, если отсутствует основной объект ее изучения – «то общество, которое лучше»? Очевидный остаток: практическое руководство того, как власть захватить и удержать. Методическое пособие, внутриведомственные инструкции. И ничего более. И извольте из этого исходить, если вам вздумалось поспорить с марксистами лигачевской закваски. Будете тратить энергию на говорение, а спора не будет: вы о разных материях.

Грустно, однако, если фарс этот с обыгрыванием нового для нас словесного оборота «демократический, гуманный социализм» будет иметь продолжение завтра.

Но вернемся к Егору Кузьмичу Лигачеву, к его перемещению из идеологов в сферу агропромышленного производства на внеочередном пленуме ЦК КПСС 30.10.88 г. Если поставить эту кадровую «подвижку» в перекрестие двух тем – «борьба за власть» и «крестьянский вопрос», – то она уже не кажется поражением консерваторов, но исключительно удачным, еще не оцененным по достоинству ходом партаппарата, который иезуитски тонко – уж куда нам, непонятливым, вовремя смекнуть! – претворил в жизнь принцип «разделяй и властвуй».

Крестьянский вопрос – этот тот единственный, особенно болезненный вопрос, по которому, пожалуй, еще и возможна была смычка между сторонниками межрегиональной депутатской группы (МДГ) и национально-патриотическим движением.

Тут немалые затруднения с терминологией. МДГ, создаваемая как своего рода парламентская оппозиция, фактически уже приказала долго жить. Блок «Демократическая Россия», во мно-

гом унаследовавший программные установки МДГ, существовал во время избирательной кампании весны этого года и тоже благополучно почил. Но люди остались, люди все те же, назовем их условно «демоплюралистами». Еще более условно можно говорить о национально-патриотическом движении – уж очень пестро на этом фланге. *Организованного* движения как бы и нет – а «национал-патриоты» есть. И это факт.

Существование двух этих тенденций развития, корни одной из которых в западном либерализме, а другой – в национальном традиционализме, исторически обусловлено и неизбежно. И влияние их на фоне увядания коммунистической идеологии в ближайшее время будет расти. Неизбежна во вчерашнем тоталитарном человечке жажда свободы и достойного образа жизни. Неизбежно и пробуждение народа, поставленного на край гибели нравственным и физическим геноцидом. Если этот народ молчит – то это уже мертвец, труп...

Так надо ли отворачиваться от неизбежного? Вопрос лишь в том, состоится ли диалог между двумя этими движениями. А что по аграрному вопросу взаимопонимание возможно – о том свидетельствует зимняя сессия Верховного Совета, на которой неожиданно для многих в выступлениях Белова, Адамовича, Черниченко прозвучало много общего. Что, если бы «демоплюралисты» и «национал-патриоты» и в самом деле оставили междоусобицу до лучших времен?

Неужели партаппарат своевременно предугадал такую возможность и исходящую от нее нешуточную для себя угрозу? Блокировав решение крестьянского вопроса, позаботившись о дискредитации кооперативного движения, партаппарат не только намертво вбил клин между ними, но и успел оседлать неизбежное недовольство той части трудящихся, которые до поры до времени безропотно ждали перемен к лучшему, а теперь организационно оформились в виде ОФТ.

Партаппарат в итоге получил главное. Дееспособный «Народный фронт» России так и не был создан. Ничего похожего на то, что произошло в Восточной Европе, не началось... Или дело не в особой проницательности партократии, а в сложившихся в ее недрах традициях?

К чему сводится реальная политическая жизнь крупного советского партийного чиновника? К тому, что он занимается аппаратом, расстановкой кадров (к слову, Лигачев много потру-

дился на этом направлении в 1985-1986 гг., друзей у него в «высоких слоях атмосферы» было немало – потому и оказался Егор Кузьмич так живуч). Что делают с партийным чиновником перед тем, как от него избавиться? Поручают ему неразрешимую задачу. Чаще всего – что-нибудь сельскохозяйственное. Такой вот мрачный юмор. Коммунисты давно почувствовали, через какую дверь к ним придет костлявая, что за «великий перешиб» им еще воздастся.

Отправив Лигачева в аграрии, Михаил Сергеевич действовал в точном соответствии с ритуалом внутриведомственного цековского марксизма. Когда-то такой ритуал предписывал проигравшего борьбу за власть отправлять в расстрельный подвал, а со времен Хрущева – на сельхозработу.

Теперь Михаил Сергеевич, бодро помахивая мягкой ладошкой, готов плыть в революцию дальше. Но еще два года упущено, народ устал, раздражен, иные движения и партии матереют. И все это – пудовой гирей на ногах... Плывите, Михаил Сергеевич, плывите!

А на лице удаляющегося Егора Кузьмича – спокойствие и невозмутимость. Он свое дело сделал. Да, воистину смыслами и символами писана наша история. Едва заговорили о главной нашей болячке, крестьянской, – и тут же приходится говорить о нем, о Егоре Кузьмиче, несгибаемом и твердом стопроцентном марксисте, до недавнего времени – главном аграрии. Это похоже на злой рок: здесь просвет, здесь можно вдохнуть кислорода, но появляется в просвете известное по многочисленным фотографиям мурло – и накось, выкуси.

Последнее выступление Лигачева на аграрную тему на 28-м съезде КПСС уже походило на ёрничество. Центральный тезис: надо увеличить капитальные вложения в два раза. Не выдержав, вскочил чувствительный, ставший в последнее время таким нервным Рыжков: надо-де, Егор Кузьмич, учитывать реальные возможности госбюджета. Тут же последовало разъяснение из зала, что если воспользоваться рецептом Лигачева и сохранить прежние расходы на энергетический комплекс (что необходимо), то на все остальное *вообще* ничего не останется.

Лигачев – молча смеялся. Ей-Богу! Я бы не поверил, если бы не видел это собственными глазами. Или это сама история ухмылялась над незадачливым родоначальником перестройки? Но вернемся в декабрь 1989 года.

В последовательности марксисту Лигачеву не откажешь. В таком же духе прошло и его выступление на 2-м Съезде народных депутатов. Тогда он потребовал еще 270 миллиардов на сельхозтехнику, на гальванизацию полуживых колхозов (что, соответственно добавило власти лично товарищу Лигачеву). А суть все та же – продразверстка: ему, Егору Кузьмичу, – привычный корм без нитратов по кремлевскому пайку, остальным – что комбайн подаст. Если, конечно, не сломается.

И характерное, очень ценное откровение на том же съезде: частная собственность на землю невозможна – оцените по достоинству! – потому что вопрос о владении землей является вопросом о власти. Вот, оказывается, что является главным. А что крестьянин как составная часть социального организма вымирает на глазах и что сохранение на селе феодал-социалистических отношений гибельно – наплевать. (К слову: в Курской области средний возраст сельских жителей перешел отметку 50 лет...)

Нет сомнений, что Егор Кузьмич внес свою лепту в то, чтобы вопрос о землевладении в повестку дня съезда не попал. И как это ни грустно, действовал он вместе с Горбачевым заодно.

Понедельник 13 ноября 1989 г., когда на сессии Верховного Совета решался вопрос о повестке дня 2-го Съезда народных депутатов, стал воистину несчастливым и трудным днем. Это означало: следующий сельскохозяйственный год будет потерян. То есть откладываются на год *вообще* все реформы. Горбачев-человек не мог не желать реформ. Горбачев-партократ не мог желать собственной смерти (поскольку, как справедливо отметил его товарищ по партии, вопрос о владении землей является вопросом о власти).

По телевидению репортаж с того заседания показывали за полночь. Уже после двух часов ночи была поставлена последняя точка: Горбачев подобным же образом блокировал рассмотрение на 2-м Съезде еще трех важнейших вопросов. После выступления одного из своих сторонников Михаил Сергеевич с удовлетворением констатировал: товарищ такой-то вбил последний гвоздь...

Нет, не дом строил в понедельник 13 ноября генеральный секретарь ЦК КПСС, по совместительству председатель Верховного Совета, – а гроб заколачивал.

А что последовало за беззубым и бесхребетным съездом, который ничего не решил, потому что ничего решать и не соби-

рался? Углубление социальной напряженности было неизбежно. Популярность Горбачева поползла вниз. А мощнейшие манифестации 4 и 25 февраля как-то сразу переменили психологическое состояние общества: народ *сразу* осмелел. Народ вдруг поверил, что отныне ***все можно***... И мне лично – не скрою – стало страшно. И Ельцин (который до этого мыслился просто как популистская ширма, как толкователь идей, принадлежащих другим головам, поумнее) стал вызывать иные чувства...

Очень не хочется завершать на такой минорной ноте, но откуда взяться надежде? Слева – нехватка совестливых. Справа – нехватка умных. А впереди – великие потрясения. Неужто и на этот раз не удастся нашей истории угадать золотую серединную линию? А так хотелось бы ее найти.

А если все-таки превозмочь амбиции? Ну чего ради, спрашивается, В. Распутину на 1-м Съезде народных депутатов обрушиваться с нападками на Ю. Черниченко за критику Лигачева (претензии Черниченко были совершенно справедливы: «почему на отрасль, политически существенную, отрасль, определяющую возможность и будущие дни перестройки, поставлен человек, в этом деле ничего не понимающий и провалившийся в идеологии?») Неужели В. Распутин и впрямь думает, что русский крестьянин может дожидаться прока от таких, как Егор Кузьмич? Бред, театр абсурда!

Наоборот, в предложениях Черниченко немало такого, что не может не тронуть души «деревенщиков». Хотя бы та же идея покупки государством сверхплановой сельхозпродукции за твердую валюту. В сочетании с гарантией свободно распоряжаться этой валютой это было бы не только предоставлением определенных льгот деревне (вернее, возвращением ей части законных прав), но и возможность освободившиеся валютные средства использовать для реконструкции экономики в целом.

Более того, если смотреть на проблему шире, здесь угадывается путь перехода к конвертируемости рубля. Что-то вызывает сомнение добросовестность западных экономистов и политологов, предлагающих начать со взятия ссуд, с распродажи золотого запаса, имеющейся на Западе недвижимости, стратегического сырья (предложение А. Янова продать некий медный кабель, пролегающий якобы от Москвы до Ярославля, вообще выглядит скверным анекдотом). Ну, распродадим, а дальше? Опять смещение приоритетов, второстепенное выдается за главное.

Истинное содержание конвертируемости валют – это конвертируемость товаров, то есть их конкурентоспособность, которая в свою очередь упирается в проблему качества, трудноразрешимую в короткие сроки в отношении промышленного производства. Кроме сырья и энергоресурсов, уже завтра конкурентны по качеству могли бы быть сельхозпродукты... если бы был их избыток. Возразят: сытой Европе вряд ли завтра это понадобится. Отвечу вопросом же: а чем вы собираетесь удивить? холодильниками, микроэлектроникой? если не научимся растить без химикалиев капусту, то о каком будущем страны можно вообще говорить?

И еще лежащая на поверхности идея: введение независимой параллельной «агровалюты», постепенно вымывающей дряхлеющий рубль. Это был бы тот «червонец», на который можно было бы приобретать качественный импортный ширпотреб, закупаемый на «нефтедоллары», выгадываемые от снижения импорта продовольствия. За «агрочервонец» стали бы бороться предприятия, выпускающие уже отечественный ширпотреб, чтобы иметь возможность той же «монетой» платить и своим рабочим. Дальше – больше, глубже... Следом пришла бы очередь станкостроительных заводов и т.д.

Эх, да только трудно согласиться на такое: что крестьянин, которого по бессловесности и покладистости его безнаказанно мучили и терзали все 73 года большевистской власти, окажется вдруг в выигрыше!

Помните, как Распутин спровоцировал на аплодисменты на 1-м Съезде народных депутатов СССР знаменитой столыпинской фразой: мне не нужны великие потрясения, мне нужна великая Россия?

Очевидно, Распутину близко солженицынское понимание истории, для которого октябрьский переворот и последовавшая за ним эпоха мракобесия – следствие плюралистической анархии Февраля. Отсюда и неприятие Распутиным и его сподвижниками многого из того, что исходит от «демоплюралистов».

Но, по Солженицыну же, анархия Февраля возникла не сама по себе, а явилась результатом неспособности царского правительства своевременно решить земельный вопрос и вернуть крестьян с фронтов 1-й Мировой войны на землю – ох, уж это желание угодить Западу, представленному тогда Антантой!

Солженицын, рассказывая в своей литературной автобиографии о журнальной междоусобице 60-х годов (которая не только удивительным образом напоминает сегодняшнюю, но и прямо из той, старой, вытекает) с присущей ему мудростью заключает: на собак волка не зови. Тогда партийными идеологами были в итоге биты и левые, и правые.

Эта комедия продолжается и по сей день. Телевидение параллельно берет интервью у двух главных редакторов двух полярных журналов, у В. Коротича и С. Куняева. Ответы, естественно, разные. А что общего? Портрет Ленина на стене за спиной. А как же без марксистской «иконки»!

Но смышленые «демоплюралисты» уже начали избавляться от партбилетов. И опять – впереди прогресса на полгруди.

А вот большинство «национал-патриотов» по-прежнему считают себя таковыми, забывая самую малость: принадлежность к атеистической партии ставит их вне традиционных христианских ценностей православия, а следовательно – вне традиций русской культуры. В былые времена русским человеком считался тот, кто не только говорит по-русски, но и живет по-православному. А в паспорте для всех без разбора значилось «российский подданный».

И когда же «национал-патриоты» уразумеют, что, перефразируя одного известного демагога, всякое кокетничанье с марксизмом-ленинизмом есть невыразимейшая мерзость? Горько, а надо признать: русский народ не был изнасилован, он был совращен. Этой самой мерзостью.

Это я и называю нехваткой ума справа.

Однако не мешало бы и «демоплюралистам» ясно указать приоритеты в своей программе. Почему бы и в самом деле не признать крестьянские беды первоочередными? Хорошо бы признать даже и такое: не во всем и не всегда был безоговорочно прав покойный Андрей Дмитриевич Сахаров. Имею в виду давнюю его полемику с Солженицыным (спекуляции вокруг которой с очевидным намерением столкнуть двух гигантов уже начались. – см. №2 «Знамени» за 1990 год). В данном случае важен такой аспект их диалога: право свободно трудиться на своей земле все-таки выше права с нее эмигрировать... Ведь так – если по совести, а?

Вместо этого «демоплюралисты» смертную войну вели, чтобы отстоять законный, но мелкий и в общем-то шкурный ин-

терес ходить по американским супермаркетам. Похоже, добились своего. Вот-вот должен рассматриваться вопрос об эмиграции. Ну и что, поедем все на заработки в Америку? А может, стоило бойкотировать все эти ханжеские горбачевские полумеры? Может, стоило криком кричать, со съезда прочь идти, когда его команда – себе не в убыток – словами елозила?

Нет, московские «демоплюралисты» в других случаях крик поднимают. Например, по поводу экономических санкций против Литвы, чтобы угодить Ландсбергису. А как же – Европа! Разве ж можно перед Европой – в грязь лицом? И забывают о том, как обворовывается и спаивается Сибирь. В своем праве на этот грабеж «демоплюралисты» не сомневаются.

И почему бы не побороться за *естественное* право крестьян продавать *всю* свою продукцию на внешнем рынке? Что, в животе сразу заурчало? А правда: сколько бы буханок хлеба стоило тогда точить лясы перед микрофоном, если бы такое случилось *завтра?* Вдруг бы выяснилось, что при *нормальном-то* этом расчете, в твердой валюте, полуграмотная бабка, все еще горбатящаяся в поле, пяти дипломированных «демоплюралистов» стоила?

А вот это я называю нехваткой совестливости слева.

Главное на сегодняшний день: по старости и слабосилию своему коммунизм испустил дух. И печалиться об этом не стоит. Русское национальное возрождение возможно *только* в рамках традиционных христианских ценностей, а значит – *вне* рамок марксистско-ленинского мракобесия. В свою очередь, свобода личности и возрождение экономическое возможно *только* в рамках традиционных экономических принципов, а значит – *вне* рамок марксовых экономических догматов.

Каждый потерянный год убивает надежд на пять лет. Неужелм мало этого, чтобы найти общий язык. Неужели не хватит мудрости всем жизнеспособным силам общества найти его? Ведь вопрос стоит так: будет у наших детей полноценная родина или быть им побирушками с исторической свалки под названием «советский коммунизм»?

ЗАПЕЦКИЙ Владимир Михайлович родился в 1954 году в Белгороде-Днестровском. Окончил Московский физико-технический институт и четыре курса Литературного института им. Горького. Живет в Москве.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

(Сорок девятый год издания)

Книга 179. 384 стр.

ПРОЗА. К.ПЛЕШАКОВ. Московским сумеркам. Маленькая паутина в большом мраморном мавзолее. Э.ДРЕЙЦЕР. Верная Маша. В.ГУСЕВ. Вмятина. А.ХАХУЛИН. Чекисты, как они есть. А.КОНДРАТЬЕВ. Сны. **Публикация и вступ. статья В.Крейда.** Н.КОСМАН. Безглагольный динамизм Цветаевой. В.ДМИТРИЕВ. Окна над бездной. Б.ЕЗЕРСКАЯ. Ссылка.

СТИХИ. Ю.КАШКАРОВ; М.КРЕПС – Царевна-лягушка; И.ЧИННОВ; Н.ВОЛЬПИН – Из книги стихов; К.КОВАЛЕВ – Средневековье. Из прозы в стихах; В.КУЛЛЭ; Е.ЧИЖОВА; Е.ДУБНОВ.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ. «Старые годы». Кн. П.В.ДОЛГОРУКОВ – Из «Воспоминаний». **Перевод и комментарий Д.Скалона.** А.ДРЕНТЕЛЬН – Из писем марта 1917 г. к кн В.Кочубей. **Публикация Н.Воейкова и Е.Филипс-Юзвигг.** Г.ДЕРЮЖИНСКИЙ – В Крыму. М.ИЛОВ – Русские в Польше (1919–1939).

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА. Вяч.ЗАВАЛИШИН. Из книги о Казимире Малевиче. Д.ПЛАВИНСКИЙ. Записки о прошлом. **Предисловие М.Ненарокомова.** М.ЮРЬЕВ. Несостоявшаяся премьера. В.ПЕЛЕВИН. Зомбификация советского человека.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ. Е.ФИЛИПС-ЮЗВИГТ – Годичные конференции американских славистов в 1989 г. И.МАРТЫНОВ – Новый штрих к портрету Л.А.Канегиссера.

БИБЛИОГРАФИЯ. Д.КИП. Панорама падения империи. Солженицын о революции февраля-марта 1917 г. С.ГОЛЛЕРБАХ. D.Sarabianov. "Russian art from Neoclassicism to the Avant-guard". И.МАРТЫНОВ. Елена Пудовкина. Стихи. Н.СИНАЙСКАЯ. Алла Головина. Городской ангел. Избранные стихи.

Цена №179 – 12,5 долл. Пересылка в США – 1,50 долл., за границу – 2,50 долл. Подписная цена на 1990 год (за 4 книги) для университетов и организаций – 50 долл. (пересылка в США – 6 долл., за границу – 10 долл.). Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц – 40 долл. (Пересылка в США – 6 долл., за границу – 10 долл.)

Заказы направлять в редакцию «Нового журнала»:

THE NEW REVIEW, 611 Brodway, #842, New York, N.Y. 10012.

Чеслав Белецкий

ВОПРОС ВКУСА

Мой сокамерник Адам Михник быстрее простил Ярузельскому то, что именно генерал посадил его в тюрьму, чем Валенсе – тот факт, что такие времена для Адама никогда не пришли бы без Леха. Это вопрос не этики, а эстетики борьбы. За тощими годами морализирования наступил жирный год политики. Лагерь правящей «Солидарности» использует его в согласии с той картиной истории чести польских интеллектуалов, которую создал Адам, но вписываемся ли мы в историю здравого смысла?

Проблема – не в ускорении, а в том, чтобы не тормозить перемен, чтобы за порогом мы видели что-то большее, нежели развалины тоталитаризма. Ну, скажем, кусок ровного тротуара, выметенной дороги – знаки того, что нам есть куда идти, раз мы в основном навели порядок в нашем доме.

Михник видит вещи по-другому: «И вот мы вдруг натолкнулись на сопротивление общественной материи. Мы становимся свидетелями актов насилия, слышим призывы к мести. Иногда мы чувствуем себя как ученик чародея, который выпустил на свободу безответственные силы. (...) Эти внезапно пробудившиеся амбиции, эти демонстрации запоздалой отваги, все эти интриги и конфликты вокруг личностей, обвинение политических противников в мошенничестве, в принадлежности к бывшим секретным службам или в криптокоммунизме, эти удары ножом в спину, эти с каждым днем расширяющиеся сферы нетерпимости, эта жажда бросить в тюрьму людей прежнего режима, эти мечты о мести, этот шовинизм, эта ксенофобия, эта эгалитарная психология, свойственная популизму, за которой часто скрывается заурядное желание взять реванш» («Либерасьон», 27 июня 1990).

Пора прервать эту самовлюбленную, проповедническую тираду. Вернемся к политике. Из-за избытка плохо понятой тер-

пимости поляки в прошлом потерпели немало поражений. Лешек Колаковский написал «Похвалу непоследовательности» – исповедание веры бывшего марксиста, позднейшего антимарксиста. Интеллектуальная блистательность его лозунгов недостаточна для прямого применения к политике. Так, значит, *антиполитика*? И люди культуры стали политиками помимо воли? Они обладали волей завоевания власти, поскольку получили власть. Для меня существенным остается вопрос: *оснащена ли их власть силой воли*?

Большей опасностью, чем балканизация освобождающегося лагеря, является – не так давно предложенная Михником – мексиканизация. Уже сегодня, после совершившегося раскола в «Солидарности», мы стоим перед выбором не только между адом шовинизма и небесами одного плюралистического движения, которое вывело нас из тоталитаризма к демократии.

Наш учитель этики несет свою долю ответственности за эстетику сегодняшних разногласий. А мы и в самом деле разнимся некрасиво. Именно Гражданский комитет, одним из учредителей которого был Михник, лишил профсоюз «Солидарность» людей и полномочий и в борьбе за демократию использовал недемократические методы. Именно он проложил дорогу к власти советникам Валенсы, оставив «Солидарности» и ее председателю роль пожарника, дело которого – гасить очаги забастовок. Нужно – как и по отношению ко всякой власти – внимательно следить, что делают те, кто ни разу не заикнулся о своей ответственности за неподготовленность профсоюза к атаке 13 декабря. Я, как Эва Кулик или Конрад Белинский, принадлежу к тем, у кого время до амнистии 1986 года прошло в подпольной работе, жизни в подполье и отсидках. С ощущением безвкусицы выслушиваю я сегодня замечания Михника о запоздалой отваге инакомыслящих. Напомню только, что в вышедшем на поверхность руководстве варшавского региона «Солидарности» я выступал против политики профсоюза, ограниченной выдвижением требований, и считал, что за этот популизм мы поплатимся, поскольку времена меняются и нам нужен профсоюз американского типа, который не будет губить предприимчивость. И именно ты, Адам, в 1986–1987 гг. утверждал, что мы с Мацеем Залевским и Анатолем Лавиной пытаемся тем самым прикончить «Солидарность». Знаю, что ты ответишь: тогда государство было плохое и не наше, теперь у нас наше, хорошее государство. Не

напоминает ли чего-то этот прагматизм? Люди согласны на «кровь, пот и слезы», когда видят, за что и с кем борется правительство. А если не видят, это значит, что правительство недостаточно храбро сказало: **мы боремся за связанные друг с другом демократию и капитализм без эпитетов, а противники – номенклатура (которая хочет политического капитализма а-ля Горбачев) и советизации.**

Тем временем Михник пишет: «Логика переходного периода требует пакта между главными политическими силами, который был бы пактом в пользу демократии». «Pantha rei», – писала еще летом 1989 года Барбара Спинелли. «Круглый стол» был компромиссом между оппозицией с ее нравственной «силой бессильных» и коммунистами, которые по-прежнему располагали силой как таковой: полицией и армией. Следует ли сегодня удивляться, что когда демократия обретает силу, то вождь в борьбе за нее, Валенса, хочет как можно быстрей навязать коммунистам (пусть и бывшим, но ведь они были коммунистами не по случайности) нормальные демократические правила игры.

Никто не хочет сегодня бросить коммунистов в тюрьмы или уморить их голодом, как они кулаков. Тысячам бывших членов партии живется в полусвободной Польше значительно лучше, чем миллионам сограждан, которых они эксплуатировали. «Морализирующая аргументация, – пишет комментатор журнала «Пульс» Я.К., – часто выворачивается наизнанку. Там, где существует зло (а трудно сказать, где его не существует), обращение с творящими зло вовсе не обязательно жестоко. Между согласием на зло и жестокостью по отношению к грешникам обычно есть еще немало возможностей (...). Терпимость и прощение – высокие ценности, (...) но остается неудовлетворенность, если в Польше, постепенно выходящей из коммунизма, прежде всего говорится о необходимости терпимости и прощения коммунистов, а противников коммунизма обвиняют в жестоких замыслах». Народ хочет только одного: не видеть красных возле новой власти. И это запасы ненависти, враждебности, мстительности? Мое эстетическое, а не этическое чувство страдало при виде Михника по телевидению, когда он миропомазывал партийного министра-секретаря Квасьневского перед вступлением на спокойный путь от багрянца коммунизма к розовости социал-демократии. Ощущение безвкусицы этого зрелища было тем сильнее, что еще до этого мне пришлось увидеть сияющую улыбку моего сокамерника, посылаемую Кищаку на совместной фотографии.

Я предостерегал Адама еще перед «круглым столом», что за этим столом он не выдумает шутки, которая станет достоянием истории, но станет жертвой шутки, которую история ему уготовала. Вот он, неколебимый из Варшавы, будет наделять кредитом доверия того, кому в гордом письме из тюрьмы обещал только одно: что христианским жестом откроет дверь, когда генерал в изорванном мундире будет удирать от толпы, жаждущей мести. Стилистические фигуры: никакая толпа ни за кем не гонится. Одно и то же «чувство вкуса» велит не бить лежачих, но и не дать им себя бить, когда среди бела дня на глазах новой власти они жгут архивы. Якобинский террор? Исламская революция? Воистину Михнику не хватает христианского смирения, когда этими словами он определяет тревогу бывших зэков. Он забывает, какой легкой была наша мартирология по сравнению с той кровью, которую пролили поляки во времена сталинизма. Для поэта Збигнева Херберта уже тогда сказать сталинизму «нет» было попросту вопросом вкуса. Ты забыл, Адам, о его словах: «...не твое дело прощать от имени тех, кого предали на рассвете».

Коммунизм оказался – да, временным, но миллионы людей его не пережили – торжеством идеи над материей. Только тогда, когда утопия ослабила вожжи власти, пала власть утопии. Коммуна была чиста, а капитал грязен. Но капитал распрощался с эксплуатацией образца прошлого века, а коммуна довела его до социалистического угнетения. Граждане мира, гордые сокращением ROAD (Гражданское движение «Демократическое действие»), наверно, не читали «The Road to Serfdom» – «Дороги к рабству» Хайека, в которой он показал, что из либерального эгоизма рождаются прообщественные позиции: рынок оптимизирует удовлетворение человеческих потребностей, – в то время как альтруистическое общество социалистов привело в никуда. К сожалению, для Михника (как и для де Голля) экономика – это картошка, не стоящая крупицы практического размышления. Между тем, экономику (как этику) могут и должны знать все. Рынок и деньги творят мир познания, объективного, как факт, что крестьянин, хоть бы он был распоследним хозяином, не согласится с тем, что государственный кооператив целый год покупал у него плохое молоко как хорошее, чтобы продавать его в городе вдесятеро дороже. Дзельский говорил, что Польшу

ждет судьба банановых республик. Михнику и его «Газете выборчей» положено хотя бы настолько разбираться в капитализме, чтобы встревожиться, почему польскому крестьянину стало выгодней торговать бананами, которые у нас не растут, нежели обрабатывать поле. Год – это очень много на такой переходный период. И опять – вопрос вкуса, обостренного ощущения деталей, в которых собака зарыта. Херберт, духовный учитель Михника, укрываясь от порабощения ума в склеивание коробочек в социалистическом трудовом кооперативе, понимал прозу жизни и был солидарен с гражданином, которого тиранил абсурд сталинизма. Михник видел в нем только интеллектуала, спасающего честь нации своим отказом участвовать во лжи.

Правда и ложь. Эти этические дихотомии нередко строятся на политической лжи, которая тем отличается от обычной, что всегда служит добрым делам. Нет, Михник не голосовал за Ярузельского, когда Национальное Собрание выбирало его в президенты как единственного кандидата. Но почему он теперь подчеркивает: я за него не голосовал, – если в свое время ему хватило решимости написать: «Ваш президент, наш премьер»? Он знал, что другие («ад – это другие») не позволят генералу провалиться на выборах. И правда, и ложь. Ничто не проливает на эту раздвоенность наших политиков такого света, как вопрос о деньгах.

В 1987 году, вскоре после отказа «Солидарности» от миллиона долларов помощи, предоставленной Конгрессом, и создания Фонда здравоохранения, которому предстояло переварить эти деньги, я участвовал в дискуссии для подпольного журнала «Мысль незалежна» («Независимая мысль») на тему «Другая ли страна?» (это было уже после выхода из подполья журнала «Res Publica», что Адам счел изменой идеалам). Критически оценивая многие шаги «руководящих совещаний» – да не будет забыт этот эвфемизм, – я спросил Бронислава Геремека: «Пан Бронек, почему вы все не парировали удар Урбана, когда он обвинил нас в зависимости от иностранной державы? Надо было атаковать коммунистов за то, что берут деньги от Совдепии на условиях, каких американцы нам не ставят!» Дискуссия так никогда и не появилась в nomen omen «Независимой мысли». Я сопоставляю тогдашнюю осторожность Геремека, с которой он отрекался от денег американского налогоплательщика, даваемых в помощь сражавшейся с тоталитаризмом «Солидарности», и сегодняшнее

позволение бесконтрольно сосредоточить помощь молодой польской демократии в руках двух людей – Регульского и Вуеца.

Могла ли «Солидарность» у власти таким образом построить – централизованно и сверху – плюрализм? Создает ли угрозу демократии прямой разговор о недемократическом поведении? Михник пишет: «Вот что мы знаем: наша рождающаяся демократия так слаба, что, обвиняя ее в ошибках, мы еще больше ее ослабляем». Слышу, как посмеивается Артур Кестлер.

В порядке передышки несколько слов pro domo sua. Будучи польским евреем – а я весьма забочусь о естественности своего социального статуса, – я не могу без отвращения наблюдать, как А. М. кокетничает на Западе своим еврейством, а в Польше – наоборот, польскостью и любое этническое упоминание оценивает как проявление антисемитизма. И это вопрос эстетики: человек может быть «коллажем» антипропаганды, но следовало бы знать, что то, что для интеллектуала жречество, в политике бывает шутовством. Надо обладать храбростью говорить здесь, в Польше, что мы – антисемитское общество, а не что, мол, где-то кто-то кого-то. Это знают Валенса и Качинский, лидер Соглашения «Центр», так же хорошо, как Михник и Буяк с Фрасынюком, возглавляющие Гражданское движение «Демократическое действие». И пусть нас не оправдывает то, что Западная Европа недавно показала, что не отстает от нас. Но величайшая услуга, которую может оказать польскому антисемиту поляк-еврей или еврей-поляк, – обвинять в антисемитизме или намекать на антисемитизм людей, которые просто-напросто не сходятся с ним во взглядах.

Евреи были и остаются активными по разные стороны политических расхождений. Во всем мире они гордятся местом, которое занимают в иерархии общественных элит. Кроме Польши.

Антисемитизм – дурная болезнь. Скрывать страх перед нею – тоже заболевание. Михник был Дизраели во времена тюрем и подполья. Но если сегодня поляки не видят Дизраели в Геремеке, то потому, что он не Дизраели, а не потому, что поляки не так терпимы, как англичане.

Сегодня власть снова «знает как надо». И с неизменным чванством поучает народ, что он должен набраться терпения. После миллионной волны эмиграции за десятилетие Ярузельского победоносная «Солидарность» может по-прежнему любоваться очередями перед западными посольствами. Куронь обещает

успехи и более заметные результаты реформ под конец очередного десятилетия. Кто будет ими любоваться?

Власть говорит о советизации общества, словно сама она не советизирована. Это по-прежнему государство Платона, государство знающих как надо Михников, которые воспитывают темное и глупое общество, вместо того чтобы создать рамки деятельности. Не такое уж оно темное и глупое, если воспротивилось коммунизму!

Михник-историк в текущей полемике забывает об истории Польши и Европы. Не в Центральной и Восточной Европе, а на Западе родился фашизм, эта мешанина социалистического популизма с шовинизмом. Пилсудский в 30-е годы правил не тоталитарно, а авторитарно. (Различать это столь же важно, как не путать экономику позднего Франко и позднего Ярузельского.) Довоенная Польша обладала хромой демократией, с помощью которой Пилсудский хотел спасать страну, поставленную в опасность сеймократией «Центролева» и защищающую свою независимость, которой угрожали два соседних – фашистский и коммунистический – тоталитаризма. Политик – не только сторонник тех или иных идеалов. Он еще должен заботиться, чтобы они выжили. Прежде чем поучать нас перед лицом Европы, пусть Михник выполнит домашние задания!

Перевела с польского
Н. Горбаневская

БЕЛЕЦКИЙ Чеслав родился в Варшаве в 1948 году. Архитектор, публицист, издатель, политзаключенный в 1968, 1983, 1985–1986 гг. С 1979 года в парижской «Культуре», а с начала военного положения в подпольных изданиях печатался под псевдонимом Мацей Полеский. Лауреат нескольких премий за публицистику, победитель конкурса на плакат к 40-летию «Культуры», эскиз которого сделал в тюрьме во время 11-месячной голодовки и переслал на волю. Руководит частной архитектурной мастерской «Дом и город». Один из учредителей группировки «Соглашение поверх разногласий».

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ И МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

Господа!

Группа видных ученых, религиозных и общественных деятелей нашей страны обратилась к нам с просьбой войти в Совет попечителей Международного неправительственного благотворительного фонда «Вечная память солдатам».

Мы ознакомились с программными документами этого Фонда, который ставит своей целью создание достойных солдатских захоронений и памятных религиозных мемориалов всем солдатам независимо от их национальности, расы и вероисповедания. С большим удовольствием мы дали согласие на посильное участие в этом святом и очень нужном для всего мира деле. Мы глубоко убеждены, что любой солдат, независимо от идеи, за которую он гибнет, выполняя воинскую присягу, достоин быть захороненным так, чтобы память о нем навсегда оставалась в сердцах соотечественников.

Мы знаем, как много у нас заброшенных солдатских захоронений и забытых могил, да и просто лежащих под открытым небом наших и чужих солдатских останков. Это наша боль и наш позор. Пока мы, живые, не отдадим дань памяти тем, кто погиб на полях сражений, никакого подлинного взаимопонимания в нашем мире не будет. Мертвые будут хватать живых. Забытые солдатские могилы лежат на совести человечества, а в нашей стране их больше всего. Мы должны войти в европейский дом цивилизованной, а не варварской страной.

Как попечители нового Фонда мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это святое историческое дело, за которое взялась наша прогрессивная общественность, воплотилось в жизнь.

Да поможет нам Бог.

Галина Вишневская, Мстислав Ростропович
31.05.90 г.

Амос Оз

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Случилась любопытная вещь: пока мы здесь обуяны тревогой и беспокойством по поводу характерных черт нашей национальной идентификации, пока обсуждается извечный вопрос – «откуда мы пришли и куда мы идем?», пока выясняется, есть ли в нашей «национальной копилке» существенный дефицит, – уже кое-кто вынес суровый приговор: еврейскую гениальность полностью растранжирили на сионистскую деятельность, на воплощение в жизнь целей сионизма. Евреи, мол, проявили свой гений в галуте, в рассеянии, но когда прибыли мы в Эрец Исраэль – гениальность наша растрачена втуне. И, быть может, вся эта история с сионизмом была напрасной? Как сказал однажды Джордж Стайнер: «Евреи – это витамин цивилизации, а витамин должен быть рассеян. Если сконцентрировать весь витамин в одном месте, то и ему плохо, да и пользы от этого никакой». Что ж, у галута есть своя идеология, и Стайнер излагает ее точно.

Вот уже в течение многих лет я слышу плач и стенанья по поводу того, что наш еврейский гений растрачивается впустую, наши творческие силы выброшены псу под хвост, наши тонкие галутные души здесь, в Израиле, огрубели, и тому подобные речи. Но пока плачут и причитают над нами наши собратья в галуте, я замечаю и другие явления: интерес к ивритской литературе в большом мире грандиозен. Иегуда Амихай, А.Б. Иеошуа, Аарон Аппельфельд, Иорам Канюк, Д. Гроссман – я бегло называю ряд имен, далеко не исчерпав список тех, кого хотелось бы назвать, – к творчеству этих литераторов приковано внимание и широкой читательской аудитории во всем мире, и литературной критики. (Замечу в скобках, что я отнюдь не пытаюсь представить этим списком «табель о рангах», я не раздаю места: первый, второй, последний; я не берусь обнародовать нашу «национальную сборную» по литературе – это вне круга моих интересов.)

Этот огромный интерес можно измерить количественно. Газета «Нью-Йорк таймс», к примеру, каждую неделю публикует литературное приложение, и каждую неделю одна книга, выбранная критикой, выносится на первую полосу этого приложения; такая книга выбирается из пятисот (!) книг: примерно такое количество книг публикуется в Америке каждую неделю. Но даже в Америке, в этой стране неограниченных возможностей, есть всего лишь 52 недели в году, как и у нас, и, стало быть, только 52 книги будут избраны в течение года. За истекший год пять (!) израильских книг были избраны «книгой недели», им посвящались передовицы в литературном приложении столь крупной газеты. Это больше, чем число лучших книг, представляющих всю Западную Европу, больше, чем лучшая продукция всего Дальнего Востока. Скептики скажут, что в Америке вообще много евреев, а в кругах американских интеллектуалов процент евреев довольно высок, и потому «еврейская ориентация» влияет на вкусы литературных критиков. Но вот как объяснить тот факт, что на финский, на японский, на португальский переводятся стихи, пьесы, романы, рассказы, написанные на иврите? Тут уж «еврейским засильем» ничего не объяснишь. Но в том-то и дело, что в нашей литературе, в нашем творчестве что-то произошло, и, быть может, мы еще сами не разобрались в случившемся, не смогли пока еще понять. И может так статься, что мы сами поймем последними то, что весь мир понимает про нас уже сегодня. В культурной жизни некоторых стран уже бывало такое: люди из внешнего мира приходят и говорят: «А ведь ваша литература – очень значительное явление».

Я отнюдь не являюсь специалистом по русской литературе, но как-то я прочитал, что тот огромный интерес на Западе, и прежде всего во Франции, который вызвала русская литература 19 века, привел к тому, что русская общественность осознала, что Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой – явления мирового порядка и ценность их творчества выходит за рамки только русского «местного» значения.

Нечто подобное происходит и с нами. Читатели во всем мире следят, что творится в нашей литературе. Я не утверждаю, что наша литература занимает первое место в мире, да и раздача литературных мест, по правде говоря, не интересует меня, литература – это не спорт; но хочу отметить, как вполне возможное, что мы – свидетели творческого обновления в нашей литературе, хотя мы сами не всегда вникаем в суть происходящего.

Можно ли объяснить тот интерес, который вызывает в мире наша литература?

По-моему, самое опасное занятие – это попытка объяснить то или иное литературное явление. Зачастую говорят, что именно так «складываются местные условия». А вот это как раз ничего не объясняет! Нетрудно доказать, что схожие условия сложились где-нибудь в Индонезии или Малайзии, но там нет никакого литературного возрождения. Война? Были войны и в других местах. Смешение и взаимовлияние различных культур? Могу указать на похожие явления и в других местах на нашей планете. Внутренние конфликты? На земле есть немало мест, где ситуация внутреннего конфликта обострена. Я думаю, что никакие рациональные доводы ничего не объяснят. Это как загадка зарождения жизни. Химики и биологи могут тысячу раз объяснять мне, что если аминокислоты будут подвержены таким-то процессам, сопровождаемым окислительными реакциями на таких-то стадиях, то и зародится живая жизнь. Но ведь может случиться так, что все необходимые условия соблюдены, а новая жизнь не зародилась. «Здесь сокрыта тайна великая». Я же могу указать на некоторые существенные моменты нашего бытия, которые, по моему убеждению, помогают понять происходящее.

Прежде всего, плюрализм нашего общества, я бы даже сказал – безбрежный плюрализм. Тот факт, что у каждого, кто покинул края иные, чтобы жить здесь, – есть отношения ненависти-любви к тем местам, откуда он прибыл. И совсем неважно, прибыл ли он из России или из Марокко. Когда еврею из России говорят, что он «русский», он обычно отвечает, что русским он быть не хочет, а хочет быть израильтянином, но где-то в тайниках души хранит он уголок, который навсегда останется «русским». И у «марокканца», и у «американца» есть подобный тайник.

Эта сшибка разных культур, когда внутри каждой культуры существует амбивалентное отношение к «культуре исхода», приводит к сшибке стереотипов, и стереотипы лопаются, как мыльные пузыри. Ты едва свыкся с мыслью, внушенной тебе местными легендами, что «русский» – глуповат, «марокканец» – вспыльчив, темпераментен, родился с ножом в руках, «еке», еврей из Германии – тугодум, «румын» – вороват, «парси», еврей из Персии, – скуп, – прошу прощения у тех, кого я не включил в этот список, но мы, израильтяне, все эти стереотипы знаем, мы сочи-

няем анекдоты, мы слава Богу, еще не разучились смеяться сами над собой, – так вот, едва свыкшись с заданными стереотипами, мы же сами убеждаемся, что жизнь преподносит нам сюрприз за сюрпризом и перед натиском жизни не устоит ни один стереотип. Эта взрывная ситуация – отличный катализатор творческих процессов, это разнообразие обогащает культуру. А если добавить к этому такую сложную проблему, как наша личностная идентификация, если вспомнить, что неотступно одолевают нас вопросы: «Кто мы такие? Что связывает нас воедино?» И вообще: еврей – кто он такой? «Что это значит – быть евреем в современном – последняя треть 20-го века – секуляризованном обществе?» Если это – не «синагога» (в смысле религиозной ориентации), то что же это? А если это не *только* «синагога», то что же это тогда? Мне кажется, что нет простого ответа, и эта неоднозначность – тоже фактор, убыстряющий культурные процессы в нашем обществе, и уж, несомненно, эта сложность делает насыщенной нашу литературу. И даже наши политические споры и разногласия: удерживать «территории» или отдать их; развивать поселения – свернуть поселенческую деятельность; пойдем на уступки – мы не пойдем; гуманизм и антигуманизм; патриотизм подлинный против ура-патриотов – все эти споры и дискуссии, в конечном счете, являются лишь верхушкой айсберга. Подлинная суть в таких разногласиях – это нечто более глубокое, нечто более основополагающее, чем то, что видно невооруженным глазом. Очень быстро участники дискуссий и споров добираются до главных вопросов: «Кто мы такие? В чем наше личностное определение?» И уж тут-то зачастую приводятся вслух такие аргументы: «Ты говоришь так, будто ты совсем не еврей. Ты рассуждаешь как "гой" – инородец, чужестранец». А в ответ: «Нет, это ты говоришь, как еврей из галута, а не как подлинный еврей». Подобную перепалку можно слышать в наших краях ежедневно. Меняются лишь поводы для таких бесед. Скажем, сегодня идет дискуссия: надо ли говорить с Арафатом или по-прежнему следует его полностью игнорировать? Ломать ли руки-ноги тем, кто бросает камни? Опасно ли возвращение Рамаллы, что в окрестностях Иерусалима, в руки арабов? Как бы то ни было, но все наши споры обязательно приводят нас к ключевому вопросу: кто мы такие, во имя какой цели прибыли мы в эту страну? Любые попытки найти ответы приводят к тому, что создается напряже-

ние, атмосфера электризуется, громы и молнии носятся в воздухе, и все это, по моему убеждению, плодотворно сказывается на творческих усилиях наших литераторов, художников, музыкантов и актеров.

Я уже слышу, как возразят мне, что подобные ситуации складываются тогда, когда собираются в одном месте выходцы из разных стран, что, кроме Израиля, есть и другие страны, которые принимали новых иммигрантов, скажем, Америка, Австралия, Новая Зеландия, Канада...

Но в том-то и дело, что новые иммигранты во всех этих странах обычно не задают себе вопроса: кем мы были раньше? Нет, их главный вопрос: кем мы станем в будущем? Эти люди не спрашивают себя, *что* призваны они совершить на новом месте, это им совершенно понятно: они прибыли, чтобы вписаться в местную структуру, найти в ней «свое место», привыкнуть, ассимилироваться – и чем скорее, тем лучше! Ассимиляция, даже полная, отнюдь не исключает некоего этнического колорита – воспоминания о прежней родине, но не эти воспоминания суть важны.

А вот у нас в Израиле все обстоит совсем иначе. У нас нет единого мнения и полного согласия по поводу того, кем (чем?) мы все хотим стать в будущем. Может, это несогласие и есть наше счастье, но легкой жизни оно не сулит; мы нападаем друг на друга яростно, доводя оппонентов до инфаркта и язвы желудка. Но не следует забывать, что если наши словесные перепалки – это повод для горьких обид и сердечных приступов, то в других странах подобные разногласия приводили к кровавым гражданским войнам, когда на баррикадах утверждалась правота и только пуля могла убедить противную сторону.

Религия и государство: к примеру, в такой цивилизованной стране, как Англия, вопрос взаимоотношений между Церковью и государством был решен в кровопролитной религиозной бойне, в которой участвовало несколько поколений. Америка, Франция, Россия – список можно продолжить, включив сюда и Италию, и Германию, – выкристаллизовали свою государственность и завершили формирование основных черт национального характера лишь в результате гражданских войн. Я не оцениваю людские потери – а они огромны. К примеру, только в Америке гражданская война унесла около миллиона американцев.

Итак, если иные цивилизованные народы силой оружия решали разногласия, раздиравшие жизнь страны, то у нас за сто-

летнюю историю сионизма, быть может, нашли свою смерть пятьдесят евреев, павших от рук других евреев. Эти погибшие поплатились жизнью, выразив свою точку зрения, свою позицию или несогласие с иными взглядами. Но и эти пятьдесят – огромное число! Даже один – это слишком много! От доктора де Гана, убитого в Иерусалиме примерно 70 лет тому назад, до Эмиля Гринцвайга, погибшего в 1983 году от разрыва гранаты, брошенной еврейским экстремистом в толпу демонстрантов из движения «Мир сегодня», поплатились жизнью около пятидесяти евреев – и это при условии, что идеологические конфликты поляризуют наше общество до полной невозможности любого диалога. Я считаю, это просто чудо, что наша действительность, характерная скоплением на маленьком клочке земли иммигрантов со всех уголков планеты, столь различных и по культурному опыту, и по идеологическим устремлениям, – тем не менее, сотрясаема словесными раскатами, а не взрывами и пальбой в тех, кто с тобой не согласен. Да, мы крикуны, мы вербальны. И не исключено, что именно эти факторы объясняют наше интенсивное творчество, и литературное, и философское, и даже теологическое. В оценку наших творческих достижений я не вдаюсь, не стану обсуждать, скажем, преимущества израильского театра перед иными коллективами. Я уже не раз слышал, бывая за рубежом, как обвиняют нас, что то драматическое представление, которое разыгрывается у нас в Израиле, – не самого высшего качества. Отвечу всем, и евреям в первую очередь, кто критикует нас, глядя на Израиль со стороны: «Быть может, ваша критика справедлива, но не забывайте, театр – это мы, а вы – всего лишь критики». Происходящее у нас сегодня – это Иудейская драма, единственная, коллективная; эта драма – наша жизнь.

Возможно, что первоклассная рецензия написана по поводу третьесортной драмы – этого я не знаю, это спустя сто лет кто-нибудь скажет с определенностью. Но пусть наши критики всегда помнят: мы – Труппа, а они только критики.

Кстати, я не раз обращался к критикам с предложением выйти на сцену и сорвать все лавры от разыгрываемого спектакля. Вы можете «сорвать аплодисменты» и в политике и в области технологии, и – чем черт не шутит – в новом повороте религиозной мысли. Наши ортодоксы вам не по вкусу, вам бы хотелось, чтобы иудаизм «сдвинулся» в сторону либеральных реформистских течений? Вперед! Приезжайте в окружении 200–300 тысяч

ваших сторонников и склоните чашу весов в свою пользу. И даже литература – открытое поле деятельности. Приезжайте и станьте первыми! (Замечу, что меня лично такая перспектива не особенно радует, но если приедут и попробуют – милости просим!)

Одного им никогда не добиться: руководить Израилем на расстоянии, с помощью дистанционного управления. Нельзя, сидя где-нибудь в Лос-Анджелесе, призывать нас быть более либеральными, более патриотичными. Советовать нам отдать Иудею и Самарию; впрочем, сидя в том же Лос-Анджелесе, нельзя и советовать нам ни за что не уходить из Иудеи и Самарии. Нет, я хочу уточнить: можно давать нам любые советы, я готов их выслушать и не считаю, что дача советов – занятие аморальное. Но ВЫБОР будет сделан здесь, и всякий, кто намерен повлиять на ход событий, обязан быть ЗДЕСЬ. Я говорю не только о ВЫБОРЕ в смысле политическом, но и о ВЫБОРЕ духовном.

Духовный ВЫБОР между чем и чем?

В чем противоборство? Я определяю это противоборство так: борьба за **примат прошлого.** Одна часть народа израильского считает, что мы прибыли в Эрец Исраэль для того, чтобы реконструировать, воспроизвести, восстановить: то ли царство Давида и Соломона, то ли еврейское местечко («штетл»), сметенное Гитлером с лица земли, то ли Второй Храм, то ли эпоху Талмуда, то ли синагогу – наша задача ВОССОЗДАТЬ. Память наших ушедших праотцов обязывает, и перед предками призваны мы отчитаться.

Кто же наши предки? А это уж каждый выбирает для себя. Один ведет родословную от праотца Авраама, другой – от царя Давида, третий выбирает Бар-Кохбу и Иуду Маккавея, четвертый... а пятый выбрал рабби из Воложина. Но каждый из выбирающих обратил свой взор в прошлое, и, по его мнению, надо восстановить то, что разрушили враги наши, и оживить то, что было живо во времена былые. Сторонники примата прошлого вовсе не группируются по партийному признаку. Среди избирателей наших крупных блоков – «Ликуд» и «Маарах» – можно встретить тех, о которых я здесь говорил. Правые или левые взгляды отнюдь не исключают и взгляда, обращенного в прошлое.

Иная же точка зрения, и я сразу заявляю о своей необъективности, ибо разделяю ее, утверждает, что прошлое, ВСЕ про-

шлое, столь важное для нашего национального сознания, обладает высочайшей ценностью, и я не собираюсь ни выбросить его на свалку, ни отказаться от него, ибо ПРОШЛОЕ – это СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ будущего. Я могу изменить порядок, создать новые конструкции, взяв те же «кубики»: Ученье, Мишна, Гемара, Талмуд, молитвы, синагога, еврейская традиция, я могу смешать, разобрать и собрать из этих кубиков нечто абсолютно новое, обладающее иным смыслом, я могу создать НОВЫЙ МИР.

Но что значит – новый мир? Этот мир никогда не будет абсолютно новым, он весь будет полон прошлым, от которого и я не отказываюсь. Но лишь при одном условии: и у нынешнего поколения должна быть полная Автономия, как была у каждого предыдущего. Наш замечательный писатель Хаим Бреннер сказал как-то, что гипноз прошлого таит в себе величайшую опасность. Гипноз прошлого побуждает некоторых евреев вернуться в Эрец Исраэль лишь для того, чтобы восстановить то, что было когда-то.

Я же уточню. Прийти в Эрец Исраэль, принеся с собой и прошлое, но создать из всего этого нечто НОВОЕ. Мне говорят: «Ты прав, но что стрясется, если прошлое позабудется начисто, что будет, если станем мы потерянным поколением?» По-моему, это просто галутные страхи. Почему? Пока иврит – это язык нашей жизни, живой язык нашего общения, нашего творчества и наших жарких споров, это язык, на котором произносим мы слова любви, – мы не забудем нашего прошлого, потому что гены прошлого растворены в языке. Моя добрая приятельница из Америки, еврейская писательница Нета Рапопорт рассказала как-то мне, что изречение из Мишны, призывающее уважать старость, которое она прочитала в иерусалимском автобусе, поразило ее. А ведь для меня эта надпись – привычное дело, потому что иврит – это мой родной язык. Та же Нета, читая отчет о футбольном матче, не поняла результата. А почему? Потому что «ничья» у нас на иврите – слово из Талмуда, да еще арамейского происхождения. Все поры нашей жизни пронизаны иудаизмом. Для еврея из Ленинграда, Чикаго, Лондона, Парижа вполне реальны страхи, что дети его все позабудут и после него не останется ничего. В лучшем случае его дети будут вспоминать о своем еврействе на Йом-Кипур (Судный день), Песах (Пасха) и Рош-Шана (Новый год). Но у нас в Израиле и марксист, и троцкист-

маоист, говорящие на иврите, дышат иудаизмом посредством языка. Это никогда не канет в пропасть, не растеряется, не забудется. У нас даже атеисты говорят: «Я надеюсь, что и сын мой, с Божьей помощью, будет атеистом» («С Божьей помощью» – стандартное ивритское выражение, и произносящий его не всегда отдает себе отчет в *буквальном* смысле фразы. – *Прим. пер.*) Его уши не слышат, как он произносит: «Слава Богу, и парнишка мой уже не верит во всемогущество Бога». Для него это «слава Богу» – просто стандартный оборот иврита. У нас иудаизм и традиции исчезнуть не могут, а вот измениться могут вполне.

Великое несчастье иудаизма в том, что за последние 300 лет он совсем не изменился. Застой – это подлинная катастрофа иудаизма. Я гляжу на евреев-ортодоксов в традиционных шапках с лисьей оторочкой, в кафтанах и чулках, испытывая чувство грусти и сожаления. Не презрение, не ненависть, а великое сожаление охватывает меня. Помните, как остановившиеся часы в Хиросиме точно указывают время, когда упала атомная бомба? Так я, глядя на эти чулки, кафтаны и лисьи шляпы, точно определяю время и место: застой начался в Польше в 17-м веке, потому что и по сей день ортодоксы одеваются по польской моде 17-го века. У меня в Араде, среди пустыни, где и верблюду летом трудно вынести палящее солнце, эти евреи расхаживают в черных кафтанах, какие носили польские шляхтичи. А почему? Так!! Неужели праотец наш Авраам облачался подобным образом? Царь Давид носил эти белые чулки? Пророк Исайя носил такие одежды? Арад, в котором я живу, уже во времена царя Соломона был городом с компактным еврейским населением, здесь есть остатки древней синагоги, по-видимому, похожей на Храм в Иерусалиме. И вот я представляю, что случилось чудо: воскресли те евреи, что молились в древней синагоге Арада, и пошли они к евреям, молящимся в нынешних арадских синагогах. Видится мне, как древние жители Арада в панике бегут от этих кафтанов и лисьих шапок. Просто от страха, который навели на них эти странные, невиданные создания.

К чему я клоню? Не о том сожалею я, что иудаизм претерпел столь значительные изменения, а глубоко сожалею о том, что иудаизм ПЕРЕСТАЛ ИЗМЕНЯТЬСЯ. Не огорчает меня тот факт, что группа евреев решила перенять моду в одежде у польской шляхты, а у немецких соседей позаимствовала разговорный диалект. Наоборот! Пусть усваивают, перенимают, обрабатыва-

ют. Нас это только обогатит, оплодотворит. Но ведь в то же время в иудаизме происходили и другие вещи! Мне кажется, что сработала трагическая склонность к подмене иудаизма неким душевным состоянием, которое во всем мире называется «идишкайт». Но в том-то и дело, что иудаизм не сводится к поеданию нашего любимого блюда, фаршированной рыбы («гефилте фиш»), к употреблению в разговоре сочных словечек из языка идиш, к цитированию Шолом-Алейхема и пересказу притч и анекдотов, к обильным слезам, которые льются при исполнении наших синагогальных распевов. Хочу быть правильно понятым: все, о чем я сейчас сказал, – безусловно, проявления иудаизма, ценные и важные, поскольку они укоренились среди части еврейского народа, стали частью наших традиций. Но это не ВЕСЬ иудаизм.

Величайший наш мудрец и учитель Рамбам (рабби Моше бен Маймон) никогда не ел фаршированной рыбы. Я даже подозреваю, что гениальный комментатор Библии Раши (рабби Шломо Ицхаки) не понял бы анекдота, рассказанного на идише. Я абсолютно уверен, что рабби Шалом Шабази (17-й век), поэт и певец, создатель мелодий и распевов, которые исполняются и сегодня, – никогда не слышал другого выдающегося певца – Иоселе Розенблата. А если бы и услышал, то не понял бы.

У нас иногда поступают так: отдельные элементы нашего фольклора объявляют иудаизмом и на этом основании пугают нас: если мы забудем это, то перестанем быть евреями. Наш фольклор – это только фольклор. Лично мне иногда он нравится, иногда – не очень. Но не фольклор, при всей его ценности, – главное в иудаизме. Можно ли вообще предполагать, что если мы не станем есть нашу рыбу, не наденем кафтаны, не станцуем наши танцы, не споем ритуальные песни, то исчезнет «идишкайт», вместе с иудаизмом? Вполне возможно, что «идишкайт» может и исчезнуть. Я не пророк, судьба «идишкайт» мне неизвестна. Но надо быть просто упрямым ослом, чтобы долдонить одно и то же: исчезнет «идишкайт» – погиб иудаизм. «Идишкайт» – это всего лишь один из отростков иудаизма, одна веточка, один побег. Иудаизм существовал тысячелетия до возникновения «идишкайт» и, возможно, просуществует тысячи лет после исчезновения «идишкайт». Что я лично хочу? Пусть тот иудаизм, который сложится в будущем, возьмет кое-что и у «идишкайт», как мы взяли кое-что и у Испании, и у Вавилонии, и у турков, и

у персов, и у других народов. Пуризм я отметаю, я верю во взаимное влияние культур. Смешно мне слышать, как бранятся по моему адресу на языке идиш: «Ты в своем писательстве сильно подвержен влиянию "гоев": тут влияние и Чехова, и Фолкнера. Будь оригинален. Бери пример с Ибн Габироля, Ибн Эзры, Иуды На-Леви». Отвечу своим критикам, что поэтика этих трех величайших еврейских поэтов 11-12 вв. была подвержена влиянию поэтики арабской...

Как и всякая цивилизация, иудаизм сочетался браком неоднократно, хотя, быть может, нам не совсем приятно об этом вспоминать. Кое-кому из нас приятней представить иудаизм этакой девственницей, к которой никто никогда не прикасался. Чепуха это! Иудаизм был женат на арамейской цивилизации, состоял в браке и с другими культурами: греческой и персидской, с Востоком и Западом, с Россией и Америкой. И в каждом браке били нас смертным боем, но и кое-какое приданое осталось за нами, кроме побоев. Что же мне предлагают ригористы: синяки и удары мы уже получили сполна, а теперь выбросим на свалку то имущество, что полагается нам по разводному контракту. Будто сам факт этого отбрасывания чужих влияний смоет синяки и побои. Наши мертвые воскреснут? Убитые восстанут?

Верно, что все наши браки с иными культурами не обходились без трагических моментов. Увы, трагедия – обязательная и постоянная составляющая нашего соприкосновения с другими культурами. Исключение составляет разве что культура американская. До сегодняшнего дня... Пока... Что принесет в будущем наш союз с американской цивилизацией, я предсказывать не берусь.

Но что за глупость: оглядываясь на прошлые трагедии, швырнуть к чертям собачьим все сокровища, которые взяли мы щедрой мерой! Богатства всего мира черпали мы на нашем пути, и потому Шекспир – «немножко еврей», и Моцарт – немного еврей, и Фолкнер, и Уолт Уитмен, и Гоголь – да, да, даже Гоголь – немножко еврей, не говоря уже о Толстом, Чехове и Достоевском. Все немного евреи!..

И вот теперь, здесь, в Эрец Исраэль, куда пришли мы со всеми сокровищами прошлого, предлагают нам просто так, за здорово живешь, избавиться от всего этого, чтобы не влияла на нас чужая культура. Я же считаю, что все это – камни, которые пойдут на постройку, возводимую нами. Какой выйдет наша по-

стройка? Это – вопрос открытый. Но никто не может предложить партитуру и заявить, что весь оркестр будет играть ТОЛЬКО по этим нотам. Еще сотни лет всем нам придется уживаться с тем плюрализмом, который существует в нашем обществе сегодня. И если хватит нам мудрости понять этот плюрализм и принять его, то и жизнь наша украсится.

Вот два момента из моей жизни. Летел я как-то из Стокгольма на самолете шведской авиакомпании. Стоило взглянуть на пассажиров, и сразу было ясно: кругом одни шведы. Они и выглядят похожими друг на друга, все блондины, они и ведут себя одинаково, все говорят в сдержанной манере. Я знаю, что некоторые мои соотечественники завидуют этому шведскому единообразию и, причитая, вопрошают: «Ой, вэй! Когда же и мы сподобимся походить на этих благородных скандинавов?»

Но я не присоединяюсь к этим причитаниям. Я вспоминаю, как чувствую я себя в самолете нашей национальной авиакомпании «Эль Аль». Вот сидит хасид, который возвращается из поездки в Бруклин к своему наставнику – рабби; рядом с ним хиппи с гитарой, который летит в Эрец Исраэль «делать любовь, а не заниматься войной»; тут и еврей, выходец из Йемена, продавец знаменитого блюда – «фалафеля», который, попытав счастье за океаном, возвращается в Тель-Авив; тут и студент философского факультета из Хайфы; рядом с ним – арабский парень, безупречно говорящий на иврите; рядом с арабом – ты, а рядом с тобой уселся я... И, глядя на пассажиров этого лайнера, невольно воскликнешь: «Боже праведный! Что связывает всех этих людей?» Они и выглядят по-разному, и говор у них не схож, у них в карманах паспорта-то разные; прислушайся, у каждого свой родной язык: русский, английский, идиш, арабский... Вглядись в соседей, над лицом каждого из них трудились резцы разных мастеров. Я уж не говорю об оттенках кожи...

И вправду, встань на людной улице Иерусалима или даже моего маленького Арада, окинь взглядом прохожих и убедись, что еврейской расы не существует. И снова тебе не удержаться от вопроса: «Всемогущий Боже! Что объединяет всех этих людей воедино?!!» И я знаю ответ. Он прост: достаточно лишь мимолетного взгляда, чтобы убедиться, что все эти люди – евреи.

Не спрашивайте меня, что такое еврей. Сразу видно, что ты в окружении евреев. И в самолете, и на улицах наших городов ты чувствуешь себя среди евреев, «всех мастей и оттенков», тысячи

отростков единого древа. И это – волшебство. Это – вызов, это – великое чудо, а наш безбрежный плюрализм – это не только ВНЕШНЕЕ этническое и фольклорное разнообразие, за этим есть и самобытность, и глубина. Но когда затронуты твои самые глубинные чувства, то всеми фибрами души ты ощущаешь электрический разряд, который пронзает в равной степени и уроженца России, и смуглокожего эфиопского еврея. Наши сердца бьются в унисон не только потому, что антисемитские провокации время от времени дают нам повод к грустным размышлениям. Скажу больше: есть моменты, когда мощный поток сметает даже политические барьеры, и в едином ритме бьются сердца Гэулы Коэн, из руководства одной из наших правых партий, и Меира Вильнера, главы компартии Израиля.

Вот, к примеру, поднимется один из депутатов Кнессета и спросит: «Что сталось с моральными заветами наших пророков?» И поверьте, не найдется в зале ни одного человека, который не поймет, что имеется в виду. Даже арабские депутаты, даже арабские писатели. Антон Шамас, араб-христианин из Галилеи, пишущий на иврите, тонкий стилист, безусловно, оперирует нашими библейскими «силовыми полями». Есть особые виды чувствительности ко всякой несправедливости, нашей чувствительности, которая пронизывает душу каждого из нас. Мы иногда не можем договориться, что есть несправедливость, у нас бывают разные мнения по поводу того, как эту несправедливость исправлять, но я уверен, что нет в мире такого еврея, который бы не постеснялся представить себя человеком, равнодушным к людским горестям, притеснениям и несправедливости. Впрочем, не будем на всякий случай возводить в абсолют сказанное, оговоримся, что в мире ПОЧТИ нет такого еврея, который не захотел бы в глазах всего мира выглядеть человеком, неравнодушным к притеснениям и несправедливости. А почему? Как говорится, каким боком тебя все это задевает? И почему бы не объявить всем: «Я – казак! Тысячи лет притесняли меня, так что и мне можно немножко отомстить другим». Я встречал и таких евреев, они неизменно уверяли меня, пытаясь заодно убедить и весь мир, что философия их проста и понятна: идите путем моим и, хотя по дороге придется и мне причинить зло, но я выбираю НАИМЕНЬШЕЕ зло. Я же вопрошаю: «А выход ли это?»

Еврей-казак, еврей-разбойник, который вовсе не хочет организовать погром, а хочет сотворить погромчик средней величины, дабы исключить любые погромы в будущем. Если отбро-

сить экстремистские группки, то не найдется ни одного еврея, который бы с легкостью согласился принять эти ЧУЖИЕ моральные нормы. Конечно, и среди нас встречаются такие, которые ЧАСТИЧНО готовы принять тот или иной пункт подобной программы, принять на Время, принять как экстренную меру, но с неизменной оговоркой, что до ИХ уровня мы еще все равно не докатились. ОНИ загнали нас в тупик, нет у нас выхода... Я не о политике здесь говорю, я говорю о нашей обостренной чувствительности к несправедливости... И отсюда я вновь возвращаюсь к нашему безбрежному плюрализму, который, на мой взгляд, является самой точной характеристикой израильского общества. Следует принять этот плюрализм и научиться жить среди людей, мнения которых тебе порой невыносимо слушать. Это – невероятно трудная задача. По себе знаю. Временами, взглянув на некоторых из моих оппонентов, я в ужасе восклицаю: «Между ними и мной нет не только взаимопонимания, но нет ничего, что бы могло нас связывать! Абсолютно ничего!» Я уверен, что обо мне эти люди могут сказать то же самое.

Сталкиваясь с религиозными фанатиками, и совсем неважно, принадлежат ли они к хасидам любавичского ребе, или к поклонникам рабби Баба-Сали, либо они хасиды рабби из Гура, я могу рассердиться на них ужасно, я могу их даже ненавидеть: чего это лезут они в мою жизнь, почему они навязывают мне силой то, что я принять не хочу, почему они вмешиваются в мой быт и т.д. Но стоит мне прочитать, что в Аргентине убиты трое таких хасидов, рука моя тянется к автомату «Узи», и я готов сражаться с теми, кто убил этих хасидов. Скажу больше: в приведенном мною примере проявилась вся разница между нашей критикой ИЗНУТРИ, которая по сути своей – БИБЛЕЙСКАЯ критика, и той критикой ИЗВНЕ, в столь обильных количествах изливаемой на наши головы всякими недоброжелателями. Нашу критику ИЗНУТРИ абсолютно невозможно понять вне Израиля, наша критика – это продолжение лучших традиций наших пророков Илии и Иезекииля. Но когда вплетаются и чужие голоса, твердящие: «Ах, как верна ваша критика, ну прямо не в бровь, а в глаз!» – тут уж и мы не промолчим. И даже сильным мира сего не постесняемся сказать: «Замолчите». Это вполне по-человечески. Если мать родная скажет сыну: «Ну и дурачок же ты у меня», – можно понять ее чувства. Но если подхватит и соседка:

«Правильно! Верно сказано: абсолютный, круглый дурак!» – вряд ли мать будет поддакивать ей...

Лично я обретаю душевный покой, которого, увы, лишены некоторые из моих сограждан, когда слышу вот уже четыре десятилетия эти, как говорится в русской литературе, «проклятые вопросы»: «Просуществуем ли мы и дальше? Что сцементирует нас воедино? Где он, наш общий знаменатель? Каков он, наш ИНТЕГРАЛ?»

Я же хочу ответить, что, по-моему, ИНТЕГРАЛ существует. И если остаться в плену математических терминов, то в каждой мировой культуре ведется непрерывный поединок между ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ и ИНТЕГРАЛОМ. Если ДИФФЕРЕНЦИАЛ силен чрезмерно, то дело кончается взрывом и каждый компонент уносится взрывной волной на собственную орбиту. Если же ИНТЕГРАЛ уж чересчур силен, дегенерация и застой – неизбежный результат, поскольку всегда найдутся такие, что заявят о своем нежелании интегрироваться силой, будут цепляться за старое, отвергая разумные, необходимые перемены во имя сохранения самобытности; дескать, мы такие, мы никогда не изменимся. Нам, израильтянам, за примерами далеко ходить не приходится. Не стану здесь называть наших соседей, но если поглядеть на жизнь деревень, где и поныне пашут сохой, где ослик – не только прирученное животное, а тягловая сила, где образ жизни не меняется вот уже тысячу лет, а некоторые обиходные привычки – две тысячи лет (я, правда, сталкивался с людьми, которых эта застывшая жизнь приводит в восторг), то я никаких восторгов не испытываю. Мне как-то трудно восторгаться культурой, где принятой нормой считается поведение отца, убивающего родную дочь за то, что та «осквернила честь семьи», встретившись с юношей еще до брака. Подчеркну, что мое замечание отнюдь не касается перспективы мирного сосуществования с соседями, это не проблемы войны и мира, я говорю здесь о шкале ценностей.

А затронул я все эти вопросы совсем по другой причине. Я повторю: на мой взгляд, ИНТЕГРАЛ наш СУЩЕСТВУЕТ. ФАКТ. И я чувствую себя спокойно, сознавая этот факт. Что же до ДИФФЕРЕНЦИАЛА, так он ощущается мною как интеллектуальный вызов, стимулятор в творческой деятельности, а иногда, в обыденной жизни, – раздражает меня до крайних пределов... Раздражает, но не пугает...

Пугают меня совсем иные вещи, более прозаического порядка. Пугает меня вероятность необдуманных шагов. Я боюсь, чтобы не совершили мы каких-либо ошибок, исправить которые будет уже невозможно, ибо нет у нас политического опыта. Мы, народ еврейский, приобрели ИСТОРИЧЕСКИЙ опыт, а вот ПОЛИТИЧЕСКИМ опытом пока не обзавелись.

Пугает меня до смерти наше непонимание ГРАНИЦ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ. Мы иногда думаем, что сила – это длина дубинки, которую сжимает рука. Это совсем не так. Сила физическая – сложное явление. Пугает меня и то обстоятельство, что некоторые из нас ввергают всех нас в ситуацию, чреватую тем, что можем мы потерять образ и подобие ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Пугает меня глупая предпосылка, что у нас есть достаточно СИЛЫ, чтобы делать все, что заблагорассудится: мы СДЕЛАЕМ, а остальной мир будет только ГОВОРИТЬ. Истоки этой уверенности – в глупости, кто-то по недомыслию неверно понял знаменитую фразу Бен-Гуриона: «Неважно, что скажут другие народы, важно, что СДЕЛАЮТ ЕВРЕИ». В слабоумии Бен-Гуриона не заподозришь. Он правда, сказал: «Неважно, что СКАЖУТ другие народы»... Но ведь тот же Бен-Гурион не утверждал: «не важно, что СДЕЛАЮТ другие народы»... Более того, он неоднократно подчеркивал, что ДЕЛА других народов очень важны.

Может, это вполне естественно, что народ, который тысячелетия знал лишь СИЛУ ДУХА, СИЛУ ВЕРЫ, СИЛУ НАДЕЖДЫ, СИЛУ ДЕНЕГ, а СИЛУ ФИЗИЧЕСКУЮ собственной спиной, неоднократно битой чужими дубинками, – вдруг спустя две тысячи лет получает эту самую ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ, и она опьянила его. Если человек непривычен к крепкому зелью, две тысячи лет в рот не брал ни капли, то поднеси ему стаканчик – враз голова кругом пойдет. Кое-кому кажется, что сила может все совершить. Увы, хоть сила ломит и соломушку, но возможности ее не безграничны.

Я знаю, что сила наша способна предотвратить нашу погибель. Будь у нас силы поменьше, давно уже стерли бы нас с лица земли. Каждая минута нашего существования – это результат нашей ФИЗИЧЕСКОЙ силы, которая стоит на страже нашей жизни. Честь и хвала нашей СИЛЕ, но возможности ее ограничены тем, что она нас БЕРЕЖЕТ, а решить наши проблемы, увы, невозможно при помощи силы.

Расскажу о «ловушке», которую устроил я нашим высшим офицерам, обучавшимся в колледже национальной безопасности при Генеральном штабе Армии обороны Израиля. Поясню для тех, кто в нашей Армии обороны не служил. Высший командный состав, прошедший соответствующие проверки, отвечающий определенным профессиональным требованиям и предназначенный в будущем для руководства вооруженными силами Израиля, проходит специальный курс в Колледже национальной безопасности, помимо других учебных заведений. Итак, пригласили меня в этот колледж. Я, простой сержант в Армии обороны, вижу перед собой весь генералитет: прославленные военачальники, ниже полковника никого не было, но и не выше генерал-полковника, ибо командующий армией – генерал-полковник, и он – один на весь Израиль. Думали собравшиеся, что я, видимо, буду говорить о литературе, о морали или о литературе и морали вместе, а я предложил иную тему. Я сказал: «Мне хочется поговорить с вами о силе. Не об огневой мощи Израиля, а о проблемах силы вообще». Генералы слегка удивились: пригласили писателя, а он вместо разговора о литературе завел беседу о силе.

Итак, со всем своим сержантским апломбом я спросил: «Чего, по вашему мнению, нельзя достичь с помощью СИЛЫ?» На секунду воцарилось молчание: вопрос мой показался им не совсем разумным. А кто-то угодил в приготовленную ловушку и закричал из зала: «Сколько СИЛЫ ты имеешь в своем распоряжении?» Я ответил: «Вся имеющаяся на белом свете СИЛА. Но даже с помощью этой силы можно ли достичь всего в мире?» Мой собеседник не унимается: «С чем сравнима имеющаяся СИЛА? С силой Франции, с силой Америки?» Я пояснил: «Твоя сила – это сила Германии, Англии, Америки, России и Франции, вместе взятых». Отвечает мне тогда этот офицер: «Если у тебя в руках такая СИЛА, то ты можешь достичь всего, чего захочешь». – «Нет, – говорю я, – вся СИЛА в мире не может превратить глупца в мудреца, не умерит фанатика, превратив его в человека сдержанного и терпимого, не превратит ненависть в любовь, а ненавистник под воздействием силы не станет твоим доброжелателем, ненавидящего ты СИЛОЙ принудишь покориться, но не заставишь его полюбить. Найдется ли такая СИЛА в этом мире, которая была бы всемогуща?» И я отнюдь не пытаюсь решить

одну из талмудических проблем, нет, я утверждаю, что именно таковы проблемы, стоящие перед нашим Израилем. Наши проблемы невозможно разрешить применением силы. Сила, как я уже сказал, предотвратит наше уничтожение, но всех проблем не решит. Наши национальные цели, в отношении которых есть широкое народное согласие, от коммунистов до крайне правых партий, я бы сформулировал так: создание здесь, в Эрец Исраэль, такого общества, которое как магнитом притянуло бы сюда евреев диаспоры, максимальное развитие способностей каждого израильтянина, создание богатой, разнообразной творческой жизни в нашей стране, при условии безопасности, процветания, экономической независимости. Все перечисленное недостижимо, если государство не обладает СИЛОЙ, но и одной силой ничего не решишь. СИЛА и ограждает, и сохраняет, но у нас, у еврейского народа, нет таких национальных задач, которые решались бы только с ее помощью. Есть в этом мире несчастья и беды, нам угрожающие, которые можно предотвратить с помощью нашей СИЛЫ, но у любой силы, и у нашей СИЛЫ тоже, есть ПРЕДЕЛЫ, превысив которые, любая сила становится БЕССИЛЬЕМ. И совсем неважно, получим ли мы от американцев еще пять новейших самолетов или 200 боевых машин. Это вряд ли существенно изменит ситуацию.

А кроме того, необходимо всегда помнить, что в противостоянии с нашими соседями мы – слабая сторона. Наши победы во всех наших войнах объясняются прежде всего высокой мотивацией еврейских бойцов и командиров. И что бы ни трубила арабская пропаганда, но мотивация арабов была ЛОЖНОЙ. Для большинства солдат арабских армий захват Тель-Авива не виделся жизненно важной целью, да и для всей арабской нации в целом. Если бы для арабов это был вопрос жизни и смерти, то Тель-Авив давно уже был бы в арабских руках. Вопреки пропаганде, они ЛГАЛИ, для них это вовсе не было жизнью или смертью. Если бы, к примеру, мы захватили Каир, то египетский народ растоптал бы нас, как букашку. И тут я сказал своим слушателям-офицерам, что хочу рассказать им рассказ про Бен-Гуриона. (Я надеюсь, мои читатели помнят, что рассказываю я о своей встрече с высшими израильскими офицерами.)

Итак, рассказ в рассказе. Про Бен-Гуриона.

В 1932 году Давид Бен-Гурион, бывший тогда генеральным секретарем Всеобщего объединения профсоюзов (Гистадрут),

прибыл в один из киббуцев в Галилее. Вечером в киббуцной столовой, распалясь от накатившегося на него вдохновения, заявил Давид Бен-Гурион перед собравшимися: «Мы победим Британскую империю!» После этой речи поднялся один из киббуцников и спросил: «Хавер (товарищ) Бен-Гурион, победить Британскую империю и мне бы хотелось, но не подскажешь ли ты, как это возможно?» Добавлю в скобках, что в 1932 году Британская империя была не какая-то драная кошка, это была сильнейшая держава в мире, а нас, евреев, здесь в то время было всего лишь триста тысяч душ, почти столько, сколько живет нынче в одном Иерусалиме. И было у нас немного легкого стрелкового оружия. Сегодня огневая мощь всего лишь одной роты в нашей Армии обороны Израиля превышает силу огня, которую могли обеспечить все еврейские бойцы того времени со всей Эрец Исраэль! А тут – победить Британскую империю...

Ответил Бен-Гурион тому киббуцнику: «Это очень просто. В борьбе за Эрец Исраэль на одну чашу весов лягут усилия всего еврейского народа, тогда как Британская империя на другую чашу весов положит лишь один свой ноготь. Понятно, что усилия ВСЕГО еврейского народа имеют больший вес, чем ноготь Британской империи. Если бы мы попытались отобрать у англичан Суэцкий канал, – а в то время канал был в руках Британской империи, – то на чашу весов лег бы палец, и уж, конечно, победа была бы за империей. Если бы мы претендовали на Гибралтар, то положили бы британцы руку, от нас и мокрого места не осталось бы. А если мы, евреи, нападем на Лондон, то в мгновение ока исчезнем мы с лица земли. Но... ради Палестины не станет Великобритания тратить свои усилия, более одного ноготка они в это дело не вложат. А уж ноготь империи будет перетянут всеми усилиями еврейского народа».

В этом ответе Бен-Гуриона было не только пророчество, но и гениальное понимание СИЛЫ как таковой, понимание того, чего можно достичь с помощью силы, а чего нельзя. Вопрос вовсе не в том, сколько силы накопила каждая из противоборствующих сторон, разыгрывается не шахматная партия и не баскетбольный матч, когда, скажем, наша команда наняла трех негров, обеспечивших победу над баскетболистами ЦСКА в Москве, – нет, вопрос стоит именно так: **что** готова нация положить на чашу весов. На наше счастье, лишь для палестинцев выживание в конфликте Израиля с арабскими соседями – это вопрос жизни и

смерти. А палестинцы, даже если и приложит все свои усилия, не смогут склонить чашу весов в свою сторону. Потому что они малый народ по сравнению с нами. Что же до всего остального мусульманского мира, то сто миллионов наших близких арабских соседей, 500–700 миллионов мусульман на всей планете вовсе не ощущают, что речь идет о жизни и смерти. Ни Египет, ни Сирия, ни Ирак, ни Йемен, ни Марокко не живут с трагическим ощущением судьбоносности этого конфликта. Если бы все обстояло наоборот, то Израиль давно бы исчез, а нас бы здесь не было...

Я сказал тогда офицерам и готов повторять это тем, кто желает меня слушать, что вижу высшие наши национальные интересы в том, чтобы не довести ситуацию нашего конфликта с арабами до такой точки, до такого состояния, при котором весь арабский, мусульманский мир начнет считать, что дело идет о жизни и смерти. И тогда не поможет нам ни качественное превосходство наших бойцов, ни их мужество и героизм, ни военные хитрости, ни технологические новинки. Мы будем подавлены численным превосходством наших соседей, которые, поверив собственной пропаганде, станут считать, что победить Израиль – это для них вопрос жизни и смерти.

Помню, кто-то из военных крикнул с места: «Но ведь мы лучше их в бою, наш боец – отличный солдат!» Я ответил им притчей.

В 1939 году Сталин вторгся в Финляндию. Командующий финской армией Маннергейм уверял президента Финляндии, что поводов для беспокойства нет. Ведь каждый замечательный финский солдат справится с десятью «сталинскими мужиками». Президент согласился с главнокомандующим, но спросил озабоченно: «А что делать, если Сталин пошлет на каждого финского солдата одиннадцать мужиков?»

Вот она, проблема: нельзя допустить, чтобы арабы и против нас выставили «одиннадцатого мужика». Это вовсе не значит, что мы должны быть милы с мусульманским миром, делать все, что они от нас потребуют. Но вместе с тем следует помнить, что надо вести дело так, дабы ложь арабской пропаганды не убедила их самих. Ведь что твердят арабские пропагандисты? И Багдад, и Тегеран постигнет судьба таких городов, как Хайфа и Яффа, где компактное мусульманское население вынуждено было покинуть насиженные места. Но, к нашему счастью, они сами своей пропаганде не верят. Если бы верили, то давно бы уже бы-

ли здесь. Они и сами знают, что все их призывы – суесловие. Но представьте, найдется и у нас недоумок, который взорвет мечеть Омара на Храмовой горе, – тогда «джихад» – «священная война» – неминуем. А если мусульманский мир объявит нам «джихад», то пусть из всего 500–700-миллионного мусульманского мира (точное число мусульман никому не известно) возьмет в руки ружье всего лишь ОДИН ПРОЦЕНТ, из которого наберется минимум два миллиона молодых и здоровых вояк, нам не сдобровать, даже если они и не отличные солдаты. Забывать об этом никак нельзя!

Весь мусульманский мир в среднем выделяет на борьбу с Израилем всего лишь 2–3% своего валового продукта. Конечно, и Египет, и Сирия, к примеру, выкладывают огромные суммы, а Марокко не тратит ни гроша. Саудовцы расплачиваются нефтедолларами, а Индонезия ограничивается моральной поддержкой. Но если случится так, что на уничтожение Израиля все страны ислама будут выделять 10%, нам не устоять. Я говорю обо всем этом потому, что хочу после всех отступлений, рассказов в рассказе, аналогий и параллелей прийти к тому, с чего мы начали: я обеспокоен вовсе не тем, что нам грозит опасность утратить нашу еврейскую личностную идентификацию, не тем, что позабудем, откуда мы пришли и кто были предки наши, что превратимся мы в аморфную массу. Я обеспокоен тем, что можем мы потерять разум, что физическая СИЛА может нас опьянить и мы разучимся применять эту силу с умом. Я боюсь, что наше преимущество в танках и самолетах, наши отличные сухопутные войска могут внушить мысль, что мы всего можем добиться с помощью такого преимущества, что мы можем диктовать свои условия. Нет, условия диктовать мы не можем. Слишком много евреев, и я отмечу, что, к моему глубокому сожалению, есть среди них немало евреев, выходцев из России, все еще находящихся в плену у метафорической фразы: «С Гитлером не идут на компромиссы, Гитлера следует победить и уничтожить!» Что ж, это верно, если ты Америка или Россия. Верно. Тогда ты входишь в Берлин силой оружия, а уж затем, захватив Берлин, ты создаешь там тот государственный и политический строй, который тебе по вкусу. Аденауэр или Ульбрихт, это уж на твой выбор. Ты создаешь государство, но ты же за это расплачиваешься.

Мы же ни при каких обстоятельствах не можем войти в Каир или Дамаск и создать там такой строй, который мы бы хотели. Не в наших силах дать им «план Маршалла» и научить их си-

онизму. Это нам не под силу! И нет даже намека, что когда-нибудь в будущем это станет возможным. Поэтому те, для которых эмоционально формирующим событием их жизни была 2-я Мировая война, а это – многие из уроженцев России, да и не только России, – не могут даже предположить иного завершения конфликта. Только тотальная наша победа увенчает дело, а иначе все будет тянуться до бесконечности. Я же скажу, что наш конфликт с палестинцами совсем не похож на модели из прошлого. Я не хочу сейчас вникать в оценку ситуации и судить: ОНИ такие же наши ненавистники, как Гитлер, или все-таки Гитлер пострашнее палестинцев. Я лично думаю, что Гитлер – несравненно страшнее палестинцев. Но если, допустим, поставить знак равенства между Гитлером и ними, то к делу это не относится: даже и в этом случае мы не можем добиваться ТОТАЛЬНОЙ победы, потому что нет у нас СИЛЫ. Ибо не следует забывать: нашу мощь и силу мы получили как милостыню, в качестве подарка. Нам ли строить из себя льва рыкающего, если когти получены от президента Америки, а зубами снабдил нас Пентагон. И будет у льва ровно столько зубов и когтей, сколько захочет дядя Сэм. Разве что хвост, которым ты волен вилять по своему усмотрению, – он твой безраздельно. Но один хвост еще не делает погоды, он хоть и львиный, но всего лишь хвост...

Говоря о пределах применения силы, я еще раз хочу подчеркнуть: я вовсе не предлагаю сдать в арсеналы все наше оружие, немедленно «перековать мечи на орала». Только слепец может не увидеть тех опасностей, которые нас окружают. Да и вообще, всякая живая жизнь сопряжена с опасностями. В определенном смысле еврейская жизнь в рассеянии была «легче», потому что опасности всегда были извне – так сказать, опасности ВНЕШНИЕ. Мы почти всегда могли заявить: «Мы не виноваты. В свалившихся на нас несчастьях виноваты другие: Гитлер, казаки, гнусный Аман, враг иудеев. Мы же молились, уповая на будущее». Нынче же озабоченность моя не столько от угрожающих нам опасностей, сколько от возложенной на нас ответственности: в первый раз за последние 2000 лет мы – хозяева собственной судьбы. Что сделаем мы, как сложится наша судьба?

Есть у нас в Израиле люди, которые хотели бы превратить Эрец Исраэль в теократическое государство. Я не думаю, что они преуспеют в этом. Поясню.

Но здесь сделаю отступление. Израиль видится мне иногда поделенным на две части: Иерусалим, с одной стороны, а вся остальная территория – с другой. Как ни странно, за рубежом меня частенько спрашивают: «Ты из Иерусалима или из Израиля?» И дело тут не только в политике, в разделении города на Западный и Восточный Иерусалим. Иерусалим всегда был городом сложным, по многим причинам, в которые мне здесь не хотелось бы вникать, Иерусалим и сегодня город непростой, и в будущем я не вижу, что ситуация изменится. Поэтому если где-нибудь в Израиле проклюнутся ростки теократии с некоторыми шансами на успех, то произойти это может только в Иерусалиме, в чем я, разумеется, до конца не уверен. Прибрежная низменность, от Нагарии на севере до Ашкелона на юге, т.е. та территория Израиля, на которой проживает большинство населения, явственно превращается в одну из стран Средиземноморья, все более походя на Грецию, Италию, может, на юг Франции, на Испанию (увы, я не знаком с Северной Африкой). Население этой прибрежной зоны все чаще проявляет свой темперамент, сентиментальность, шумливость, дружелюбие, сердечность, гедонизм, материализм – короче, все признаки столь любимых мною бытия и культуры Средиземноморья.

Правда, Герцль мечтал об «австро-венгерской» тишине с 2-х до 4-х часов пополудни, о прекрасных манерах, о вежливом обращении «герр директор, фрау доктор», это мечта, прекрасная мечта, к которой я отношусь с уважением. Но, ясное дело, здесь эта мечта не может стать реальностью. Здесь не Бавария, не Австро-Венгрия. Те же, кто хотел создать здесь рай по рецептам Льва Николаевича Толстого, кто мечтал воплотить толстовство на земле Ханаана, это великолепно, это чудная мечта, но и это не могло никогда стать действительностью.

А тот, кто собирался построить у нас настоящее марксистское общество, да так, чтобы сам Сталин явился сюда и сказал: «Вы здесь сделали больше коммунизма, чем мы в России», – убедился, что это только сон.

А этому в мечтах наша страна виделась эдакой Скандинавией – наше общество даже перещеголяло и экономические достижения скандинавов, и их социальные гарантии.

Тот собирался создать здесь «Царство Давида и Соломона», тогда как его сосед хотел, чтобы у нас возродилось «местечко» («штетл»), сожженное революцией и войнами, а у того еще одна, совсем иная мечта, достойная воплощения.

Все эти сны и мечтания – «строительный материал», который пошел не на возведение воздушных замков, нет, наш Израиль создан из этих снов.

Но практически наша страна становится еще одной из стран Средиземноморья. У меня слово «Средиземноморье» вызывает длинный ряд ассоциаций: это и определенный человеческий темперамент, это и климат, это и краски, это солнце и море, это стиль городской жизни, это и музыка, и одежда, и еда, – короче, я лично очень люблю все то, что обнимает понятие «Средиземноморье».

Я убежден также, что привычная взгляду картина шумного населения, уничтожающего тонны жареного мяса на пикниках, переполненные наши пляжи и уличные кафе, всенародные гулянья по случаю победы любимой баскетбольной команды – все эти внешние признаки могут заслонить те глубокие культурные процессы, которые происходят в нашем обществе.

Обуздав чувства, отбросив догадки и предположения, обращусь к голым фактам, буду оперировать только сухими цифрами.

В Израиле число прочитанных книг на душу населения – наибольшее из всех стран, которым светит солнце, кроме Исландии, но ведь Исландия – это не совсем уж «под солнцем». Но шутки в сторону: если наша страна, живущая в таком напряжении, где цепь трагических происшествий кажется бесконечной, где все взрослое мужское население соответствующего возраста проводит 30–40 дней в армии на резервной службе, где заботы о хлебе насущном еще не окончательно сняты с повестки дня, – если наши читатели соревнуются с книгочеями Исландии, то нельзя считать это случайностью.

В нашей стране ежегодно продается в ВОСЕМЬ раз больше билетов в театр, чем на футбольные матчи. ФАКТ. Циники скажут, что футбол можно посмотреть и по телевидению. Но ведь и театр показывают по телевидению. Еженедельная телепрограмма, обсуждающая новинки литературы, собирает рекордное число зрителей. ФАКТ.

На оригинальные театральные постановки в Тель-Авиве зачастую приходится заказывать билеты за несколько месяцев вперед! А ведь мы – маленькая страна, и хотя финансовое положение наших театральных коллективов оставляет желать лучшего, но какая бурная театральная жизнь клокочет под нашим

палящим солнцем. Я сейчас не вдаюсь в оценку наших театральных достижений, это дело специалистов, но израильский театр прочно утвердился на европейской сцене. Достаточно посмотреть программы европейских театральных фестивалей.

О нашей литературе я уже говорил выше. Но культура – это не только театр, литература, концерты, опера. Кстати, такая концепция культуры – это восточноевропейская концепция, где критерием служит статистика посещения театра и оперы.

Культура, по-моему, это когда люди, стоящие утром в очереди на автобусной остановке, начинают дискутировать на тему: «Чего Бог от нас хочет, и что есть мораль». А это именно то, что каждое утро случается у нас в очереди на автобус. И для меня это КУЛЬТУРА. К примеру, в Лондоне люди, стоящие на автобусной остановке, не заговаривают друг с другом, а если случится, что и заговорят, то темой послужат цены на пиво, которые поднялись на полпенни, и уж это из рук вон плохо! В Америке, если и случится, что в очереди завяжется разговор, то речь пойдет о преступности, о тотализаторе, о лотерее. Лотерея есть и у нас, тема выигрыша в лотерею и у нас весьма популярна. Но эта тема – лишь стартовая искра, из которой «возгорится пламя» дискуссии, развернутой в семинар по философии, политике, богословию и морали, с выходом в сферы метафизические: «Что позволено и что запрещено», «Что приличествует евреям и что делать ни в коем случае не следует», «Какие уроки можно извлечь из еврейской истории, чему учит нас КАТАСТРОФА», «Каковы побудительные мотивы убежденных нацистов и кто их ученики сегодня», «После пережитой евреями КАТАСТРОФЫ должны ли они проявить большую твердость или, наоборот, быть по возможности мягкими». Такие дискуссии случаются в наших краях повсеместно: будь то на автобусной остановке, будь то за обедом в субботу, либо в очереди к зубному врачу. Я утверждаю, что и это показатель КУЛЬТУРЫ, барометр ее состояния.

Культура, по-моему, это интенсивность нашей духовной жизни. И наш средиземноморский темперамент способствует этому интенсивному переживанию, потому что люди нашего Средиземноморья – это люди открытые. Стороннему наблюдателю, снобу, который мигом заметит отсутствие оперы в Израиле (это не совсем верно, но не об этом речь!), легко втиснуть ситуацию в четкую формулировку: «Есть опера – есть и культура. А уж коли оперы нет, то...» Так думали и родители наши, да и многие из моих русскоязычных читателей, как я знаю, болез-

ненно переживают ситуацию с израильской оперой. Пусть поймут меня правильно: я и сам люблю оперу, но не могу согласиться, что наличие регулярных оперных спектаклей – истинное мерило культуры.

Пройдется такой любитель оперы, скажем, по центру Натании, одного из наших курортных городков на побережье, и завопит: «Караул! Что за бескультурье! Люди вопят истошно в общественном месте! Оперы не создали, а пять минут посидеть в кафе без криков не могут!» Но прислушайтесь, о чем кричат эти незнакомые друг другу люди, которые случайно встретились за чашкой кофе. Один говорит: «Мы не МОЖЕМ убивать, ломать руки и ноги, мы не можем воевать против детей и женщин, ибо мы – народ избранный Богом, нам это запрещено». А второй отвечает: «Мы – народ, который перестрадал больше, чем кто-либо в мире, нельзя допустить, чтобы Освенцим повторился еще раз, мы обязаны один-единственный раз быть самыми сильными». Я не сужу, кто из этих двоих прав. Весь спор для меня – это только модель, спор этот – большее свидетельство КУЛЬТУРЫ, чем наличие оперы. Глубина и интенсивность переживания израильтянами моральных аспектов наших событий текущей политики – это и есть в моих глазах КУЛЬТУРА. Поэтому мы читаем такое обилие книг.

Почему израильтянин покупает роман местного автора в немыслимых для нашей страны количествах? (Для Израиля книга, разошедшаяся в 40 тысячах экземпляров, подобна русской книге, разошедшейся в 3-х миллионах экземпляров. А ведь были у нас тиражи и побольше, чем сорок тысяч!) Причем у нас читательский успех не обошел целую плеяду наших хороших писателей. В чем же причина? Почему покупаются книги? Чтобы убить время? Экзотики ради, чтобы узнать из книги, что было здесь тысячу лет тому назад? Из любви к фантастике, которая расскажет о жизни на планете Марс? В попытке убежать от реальности, погрузиться в сны, увлечься романтикой, узнать, о чем говорила принцесса с принцем, в каком платье она танцевала на балу?

Наш читатель открывает ту или иную книгу – я не собираюсь оценивать: хороша они или плоха, – читает и спорит, одобряет и негодует, иногда ненавидя и книгу, и автора лишь потому, что он ищет ответ на вопрос: «Кто мы такие, что пришли совершить мы н этой земле, куда путь держим?» Есть у нашего чита-

теля и такие вопросы: «Кто Я такой? Что Я призван совершить? Существует ли Бог? Есть ли какой-либо СМЫСЛ во всей этой жизни? Каковая ИДЕЯ, внутренний смысл, МИСТИКА, что кроется за всем этим?» Но даже если читатель, поглощая книгу, одержим ненавистью к писателю и его писаниям, а в наших краях случается и такое, то и это, на мой взгляд, явление КУЛЬТУРЫ. Я не думаю, что от подлинной культуры разит одеколоном, а аплодисменты – это обязательный элемент всякого культурного события.

Я намеренно хочу опуститься до «презренной прозы» и сказать, что КУЛЬТУРА – это как пищеварение, как секс, как рождение, как смерть. КУЛЬТУРА – это фундаментальные функции человеческого существования. КУЛЬТУРА – это не одеколон, иногда она источает дурной запах и попросту ВОНЬ, иногда – это безобразно, иногда крикливо. Но есть одно место, где КУЛЬТУРА навсегда кончается, – КЛАДБИЩЕ. Место, где поутру люди встают, идут на работу, получают зарплату, после работы заходят в бар, слегка пьянеют, возвращаются домой, усаживаются перед телевизором, а затем идут спать. Там нет КУЛЬТУРЫ. Туристу такие места, может быть, и нравятся. Очень тихо, вежливо говорят: «Доброе утро, добрый вечер», «данке шён, битте шён». Все хорошо, но КУЛЬТУРЫ там нет. А там, где есть КУЛЬТУРА, там всегда и гнев, и злость, и взрывы негодования, и темперамент, и многое другое. У нас, увы, многие не понимают происходящего, потому что находятся в плену РОМАНТИЧЕСКОЙ концепции КУЛЬТУРЫ: все должно быть в ГАРМОНИИ, выглядеть симпатично, в красивых одеждах. Я думаю, что это ошибочный взгляд. Тоталитарные режимы очень часто воплощают на практике такой ИДЕАЛ КУЛЬТУРЫ. Выходцам из России не надо многословно рассказывать об этом.

Тоталитарные режимы преднамеренно путают понятие КУЛЬТУРЫ с понятием ВЕЖЛИВОСТИ. Потому что диктаторы хорошо знают, что ВЕЖЛИВОСТЬ – это ключ к покорности. Вежливый, воспитанный человек хорошо понимает и неукоснительно исполняет требование «ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ». Ясно, что не станет такой гражданин заниматься революцией, а уж плюнуть на портрет вождя ему и в голову не придет.

КУЛЬТУРА не равна вежливости. Следует позабыть такую концепцию КУЛЬТУРЫ. Кстати, я имел в виду не только диктаторов в России. Это в равной степени относится ко всем режимам, где заметны признаки диктатуры.

Я иногда говорю самому себе: «Ну как можно! Члены нашего Кнессета, парламентарии, избранники народа, орут во всю глотку. Бескультурье». И тут же отвечаю: «В Рейхстаге да и в Верховном Совете в былые времена такого бы не случилось». Но зависти ни к Рейхстагу, ни к Верховному Совету не испытываю.

В любом демократическом обществе такие крики в парламенте – не новость, в том числе и в английском парламенте. Разве что темпераменты различны. Но так же остро, жестоко...

Интенсивность и темпераментность конфликта по жизненно важным вопросам существенно определяют состояние КУЛЬТУРЫ данного общества. Если конфликт разыгрывается вокруг вопроса: кто раньше войдет в автобус или кто кому предшествовал в очереди, то это к КУЛЬТУРЕ отношения не имеет. Когда конфликт – это «как жить?», «Каковы они, наши основополагающие ценности?», то, понятно, что у нас в Кнессете люди теряют самообладание в споре, и слава Богу, что так происходит!

Только человеку глубоко несчастному может прийти в голову мысль: «Ах, эти крики! Так неловко! Что весь мир, глядящий со стороны, может о нас подумать?»

Кто подумает? Если это «человек культуры», то он, вслушиваясь в обсуждение происходящих в стране арабских беспорядков, не сможет не отдать должное нашим парламентариям, которые видят боль обеих сторон, вовлеченных в конфликт, и, судя по крикам депутатов, можно убедиться, что боль подлинная, переживания глубоки. Человек же, стоящий вне культуры, услышит только крики и скажет: «Фи! Несимпатично». Что ж, трагедия разыгрывается не только на сцене. Гамлету кричать дозволяется? А нам в нашей ситуации нельзя завопить, нельзя сойти с ума? Можно. И мне, и моим политическим противникам. Я признаю за ними и боль, и глубину переживаний.

Драма, происходящая ныне здесь, в Израиле, – это драма КУЛЬТУРЫ, замешанная на ФИЛОСОФИИ, МОРАЛИ, ТЕОЛОГИИ. И не забудем: у этой драмы есть и опасные аспекты. Некоторые ее компоненты лишают меня сна и покоя. Всякий раз, когда я слышу: «Пора заткнуть глотку этим крикунам, и тогда МОЙ голос услышат все!» – я содрогаюсь от страха, боли и гнева. Увы, для затыкания глоток выдумали у нас кучу лозунгов: «Ты заткнись, ты – предатель!» Или: «Ты заткнись, ты – нацист!»

Когда кричат «хором», даже если это и лишено гармонии и один силится перекричать другого, я спокоен. Но если один из

голосов этой полифонии требует, чтобы слушали только его, а остальные голоса должны умолкнуть, мое сердце бьется в тревоге.

Мои разногласия с ортодоксальными евреями – если помнит читатель, мы начали с этого – отнюдь не в том, что ортодоксы цепляются за тот иудаизм, который, на мой взгляд, – полный застой, окаменелость, реликт. Хотите так, это ваше дело, хотя мне это и не нравится, но мешать я вам не буду.

И когда ортодоксы заявляют мне: «Позволь, а ведь ты еврей похуже, чем мы», – я и здесь готов уступить. Говорите, мне все равно. Но когда ортодоксы пытаются вмешиваться в мою жизнь, чтобы сделать из меня «хорошего еврея», чтобы заставить меня быть евреем на их вкус, – я озабочен.

КУЛЬТУРА кончается там, где вместо убеждений, слов, дискуссий и обмена мнениями пускают «красного петуха», как это было и у нас недавно, затыкают глотки, привешивают ярлыки. Мы стараемся не убивать политических противников: говорено на этих страницах, что за всю историю сионизма примерно 50 евреев пало от рук евреев. Но более всего боюсь я, когда призывают меня прекратить всякие споры и разногласия, потому что это производит дурное впечатление на весь мир. Я заявляю: до «остального мира» мне дела нет. Нет, нет, я не призываю к самоизоляции, мы – часть КУЛЬТУРНОГО МИРА, и, смею думать, существенная часть, но не пойду на свертывание дискуссий, чтобы «прилично» выглядеть в глазах мира.

Пришлось мне побывать в одной из американских еврейских общин. Один из ее руководителей сказал так: «Не могли бы вы там, в Израиле, который мы все здесь, конечно, любим, сделать для нас маленькое одолжение? Мы внимательно следим за спорами и дискуссиями, которые у вас там ведутся, все это приводит нас в смятение. Не могли бы вы спорить потише, дискутировать без криков, ибо нам перед соседями стыдно! Поймите нас: весь мир смотрит в нашу сторону, мы здесь живем в доме из стекла, и если вы там, в Израиле, вынуждены спорить так жарко, то, быть может, удастся вам "убрать громкость", снизить тон, разговаривать приличнее?»

Я ответил по-английски: «Never in a million years!» А по-нашему говоря: «Ни за что на свете!» А почему? Потому что для меня одним из воплощений сионизма, одним из сущностных проявлений известной строчки нашего национального гимна «Га-

тиква» («Надежда») «быть свободным человеком на нашей земле» и является то, что наконец-то после двух тысячелетий у меня есть чувство СОБСТВЕННОГО ДОМА. И если заблагорассудится мне в доме своем кричать и ссориться с близкими, то наплевать на то, как отнесутся к этому соседи.

Человек бездомный, везде ощущающий себя только гостем, – вот оно, подлинное проклятье рассеяния, настоящая его горечь! Иногда это гость – в ранге «почетного гостя», к которому относятся с уважением, но – гость, существо на всю жизнь перепуганное: не насорил ли в гостиной, не наследил ли в ванной, не разбудил ли хозяйку, не взял ли любимую чашку хозяина?

Мои соотечественники, привезшие сюда, в наш дом, эти страхи из жизни в рассеянии, продолжают порой и дома вести себя так, будто они в гостях: что скажут соседи, что подумает весь мир, как мы выглядим в его глазах, а вдруг – о ужас! – мир решит, что мы – бескультурная масса?

Но меня это не заботит. Нет, нет, мне очень важно, как выглядим мы в глазах всего мира, но важно лишь в одном аспекте – в МОРАЛЬНОМ. Эстетические чувства наблюдающих за нами меня заботят мало.

Что мы делаем, а не как мы ВЫГЛЯДИМ – вот что для меня важно. Иногда и я напуган тем, как выглядим мы в глазах всего мира. Но это лишь потому, что я думаю в эту минуту о том, как выглядим мы в СОБСТВЕННЫХ глазах: жестокость, дикость, отсутствие моральных «тормозов» – а такое случается время от времени и нами! – вот что пугает меня.

Прежде всего, Я НЕ МОГУ примириться со всем этим, а уж потом – неприятные чувства в связи с тем, что пишут газеты во Франции или Америке. Если зарубежная пресса выходит из себя, гневно обличая Израиль, одергивая и поучая МЕНЯ, но я ВНУТРЕННЕ чувствую, что правда на моей стороне, – я пренебрежительно отнесусь к заушательской критике. Но истинную боль причиняет мне СПРАВЕДЛИВАЯ критика. Иногда наши критики правы. Иными словами, не то важно, как мы ВЫГЛЯДИМ, а то важно, что МЫ ДЕЛАЕМ.

Приведу два примера, когда критика в наш адрес обоснована.

Первый пример: критика с МОРАЛЬНЫХ позиций. У нас имеется немало людей, которые хотели бы, как говорится, «ухватить палку сразу за оба конца». С одной стороны, утверждают

они, мы – особый народ, народ избранный, народ-страдалец, мы дали миру десять заповедей, и потому мы входим в «высшую лигу». С другой стороны, мы хотим получить патент на преимущественное право вести себя так, как президент Сирии Асад, как Брежнев в Афганистане или полковник Каддафи, предъявляя немедленные претензии всему миру, который судит нас за мельчайшую провинность и прощает Асаду, скажем, варварский обстрел жилых кварталов, больниц и госпиталей в Бейруте. Одно из двух: если ты хочешь уподобиться Асаду или Брежневу – без меня, между прочим, – то не апеллируй к миру с напоминанием об «избранном народе», «народе Библии», «народе-беженце», «народе-жертве».

Если же ты считаешь, что пора бы нам перейти в «лигу», где играют Брежнев, Асад и иже с ними, потому что только «нечестивый живет долго в нечестии своем» (Екклезиаст 7,15), я пойму такое желание. Оно меня испугает, я с ним не согласен, но понять мотивы такого желания я могу. Я лично считаю, что переход в лигу Асада – глупость, ибо не велико счастье быть, скажем, Каддафи, особых успехов за ним не числится, равно как и за Брежневым, Асадом и Хомейни. Я готов обсудить все аспекты такого перехода, но я точно знаю, что невозможно плясать на двух свадьбах одновременно: нельзя упрекать весь мир за то, что, судя нас, он применяет ИНЫЕ критерии, чем те, по которым судят Каддафи, Асада и прочих негодяев. Тут правы наши критики: невозможно удерживать палку за оба конца сразу.

Правы наши критики и тогда, когда говорят нам: «Где же, черт возьми, ваш РАЗУМ?» Мы иногда ведем себя как динозавры, чудовища с гигантским телом и крохотной головой. Пример такого динозаврового поведения: «Мне наплевать на весь остальной мир, у меня есть ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВА», – заявляют некоторые у нас. Почему же я считаю это «поведением динозавра»? Потому что о твоих ИСТОРИЧЕСКИХ правах спору нет! Права за тобой, они признаны всеми. Ну и что?

Приведу здесь притчу, которую рассказывает израильская писательница Шуламит Хар-Эвен.

Стоим мы с тобой, к примеру, у пешеходного перехода, собираемся пересечь шумную городскую магистраль. Переход обозначен белыми полосами («зебра»), все законно! Светофор дал нам зеленый свет; и даже полицейский с противоположного конца делает нам знак, что перейти улицу МОЖНО. Есть ли у

нас ПРАВО перейти? Да! И спору о праве быть не может! Но если я вдруг вижу, как мощный грузовик, потеряв управление, приближается к перекрестку со скоростью сто километров в час, то у меня есть ПРАВО не реализовать свое ПРАВО на переход. Когда вокруг меня кричат: «ПРАВО! ПРАВО! ПРАВО! Воспользуемся правом пересечь улицу, потому что это ПРАВО праотцов наших», – я отвечаю: «Друзья! Вы пользуетесь словом ПРАВО, чтобы украдкой ввернуть слово ОБЯЗАННОСТЬ. Даже если нас раздавят, но мы ОБЯЗАНЫ, ибо таково ПРАВО праотцов». Это возвращает меня к спору о праотцах, о предках, о традициях, о прошлом.

Если прошлое воздействует на тебя гипнотически, то ты пересечешь улицу, невзирая на опасности, потому что и отец твой, и дед, и прадед пересекали улицу именно здесь. А будешь раздавлен – судьба! Но я же говорю, что у нас есть ПРАВО не воплощать ВСЕ ПРАВА в жизнь немедленно.

Все очень просто. У нас в Израиле приняты кредитные карточки, которые позволяют обладателям таких карточек извлечь из банковского автомата определенную сумму денег. Но у меня есть право НЕ ИЗВЛЕКАТЬ эту сумму, оставить ее в банке, это совсем не вменено мне в ОБЯЗАННОСТЬ. Да и глупо было бы в кратчайший срок извлечь ВСЮ НАЛИЧНОСТЬ с текущего счета. Вот оно в чем дело, по-моему. Мир справедливо потешается над нами. Мы не в судебном заседании, но сегодня нет споров о том, есть ли у нас ПРАВА праотцов на Шхем, заселенный ныне арабами. И вопрос, по-моему, не в этом. Предположим, в интересах дискуссии, что у нас есть все существующие в мире ПРАВА праотцов на Шхем, и вправду, об этом пишется в БИБЛИИ, и если арабы не читали ее, то следует дать им прочитать, и уж тогда они окончательно поймут... Я же задаю вопрос: «Нужен мне Шхем или нет? Станем ли мы сильнее, взяв себе Шхем, либо это нас ослабит? ЦЕНА, за это заплаченная, цена МОРАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, оправдывает удержание Шхема? Если цена неоправданно высока, а ведь я, кроме перечисленных СЛАГАЕМЫХ цены, добавлю еще и ЦЕЛИ СИОНИЗМА, и положение Израиля на МЕЖДУНАРОДНОЙ арене, – то свое неоспоримое ПРАВО на Шхем я предпочту реализовать в следующий раз, при иной раскладке. Но ведь и противная сторона, с которой я хочу прийти к согласию,

заявит о своих исторических претензиях на Хайфу, на Яффу, на Рамаму, – пусть заявляет. Мой ответ на их претензии: решительный отказ. ОНИ хотят ХАЙФУ, а Я хочу ШХЕМ. Такова жизнь, таков исторический ход событий.

Нельзя вести наш спор, словно это – ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ семинар. Жизнь, увы, не семинар по ТЕОЛОГИИ. Мне кажется, что в спорах о правах мы теряем наш РАЗУМ и ведем себя как динозавры.

Есть и другие, менее значительные примеры, когда ТРЕЗВЫЙ расчет, РАЗУМНЫЙ подход был подменен эмоциями.

Мы всегда заявляем, что страна наша должна «расправить плечи», разогнуть согбенную спину. Такая «прямоходящая» страна должна построить боевой самолет. Обсудив возможности, эта страна приходит к выводу, что в ее силах построить превосходную боевую машину под именем «Лави» («Лев»). Все прекрасно: и спина распрямилась, и новоприбывшие техники, инженеры, рабочие будут трудоустроены, и определенным образом этот самолет развяжет нам руки. И я без иронии говорю: «Это прекрасно! Честь и слава нашим ученым, рабочим, промышленникам, обеспечившим технологическую базу для такого проекта!» Но... С первой же минуты мы знали, что самолет «Лави» мы построить можем, а вот двигатель к нему – это не в наших силах. Отлично. Мы построим машину, а американцы поставят нам двигатели. Международное сотрудничество, вещь обычная. Только одна загвоздка: дядя Сэм решительно заявляет «Нет! Двигателя я вам НЕ ДАМ! Забудьте и не мечтайте!» Причем заявил это дядя Сэм с самого НАЧАЛА, не в разгаре работы, а еще ДО начала работ. Тем не менее... мы строим! Почему? А вдруг случится, как в той притче: либо ишак умрет, либо эмир умрет, либо сменит гнев на милость, либо нам удастся его соблазнить. Проходит год, проходит второй, третий, упорствует дядя Сэм, может, по глупости упорствует, но двигатель дать не хочет. Что тут делать? Объяснить несговорчивому дяде, что он не умеет руководить Америкой, счастья своего не понимает, объяснить ему, что все это в американских интересах? Собрать по всей стране двигатели, скажем, от вентиляторов, бросить клич, добровольцы соберут все вентиляторы, мы их засунем в «Лави», и самолет взлетит в воздух?.. Конец этой истории известен. Был построен прототип, который на испытаниях в воздухе показал, что «Лави» – од-

на из лучших боевых машин в мире, но с американцами к соглашению не пришли, и... проект пришлось закрыть.

Где наш-РАЗУМ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?

Пример с «Лави» примыкает к предыдущему примеру. Не в том дело, что у нас нет ПРАВА на собственный боевой самолет, ведь у Франции он есть, и у Англии есть, а уж у России и подавно есть. Не в том дело, что некрасиво, неэтично, чтобы маленький Израиль имел свою боевую машину. Вон и танк свой сделали, и наш танк «МЕРКАВА» («Колесница») – самый лучший в мире, говорят. Но если самолет построить НЕВОЗМОЖНО – не начинай! Проверь, где они, ГРАНИЦЫ твоих ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Если не будешь знать свои РЕАЛЬНЫЕ возможности, то, одержимый лучшими побуждениями, справедливыми идеями, ты останешься ослом. Так сказать, ослом от СИОНИЗМА. И поверьте, даже стопроцентный осел не добавит чести сионизму.

Итак, мы снова вернулись к тому, о чем уже говорили: о границах применения силы, о границах наших реальных возможностей. Спор по этим кардинальным вопросам – это не спор между ПАТРИОТАМИ и ПРЕДАТЕЛЯМИ, это не спор между ХРАБРЕЦАМИ и ТРУСАМИ, между ПРОВИДЦАМИ и МАЛОВЕРАМИ. Зачастую это спор между галутным евреем и евреем, который из галута ушел. То есть если пересечь улицу – это мое законное право, то я буду ее пересекать, и пусть взорвется весь мир! Пусть ВЕСЬ мир увидит, что сегодня я уже НЕ ТОТ, кем был прежде, пусть знает, что я – ОБНОВЛЕННЫЙ ЕВРЕЙ, и если ПРАВО пересечь улицу за мной – мне до мчащегося во всю прыть грузовика дела нет! Такова первая модель поведения. А вот и противоположная поведенческая модель.

Я живу здесь совсем не для того, чтобы что-то «доказать» кому-либо. Государство Израиль – это не ДЕМОНСТРАЦИЯ. Я здесь не затем, чтобы русские знали, что жид – не жид, и не в том цель и смысл моего пребывания здесь! Я здесь не потому, что хочу доказать немцам, что евреи – это не ростовщики, ссужающие под грабительский процент. Я не собираюсь доказывать американцам, что евреи – это не только адвокаты, не хочу доказать арабам, что евреи – еще и хорошие бойцы ко всему прочему. Я никому не собираюсь ничего доказывать и показывать. Я не хочу устраивать БОЛЬШУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ, чтобы все народы, увидев нас, раз и навсегда убедились: «Боже мой! Как мы ошибались насчет евреев!»

Вопрос вот в чем: куда устремлен наш взор? Вовне или вовнутрь? Взгляд на галерку в ожидании аплодисментов? И это, конечно же, поведение галутного еврея, это у тех, кто все время думает о «развернутых плечах», о «походке в полный рост», у тех, кто говорит от имени ВЕЛИКОГО СИОНИЗМА.

Либо это пристальный взгляд группы людей, которые хотят построить здесь НЕЧТО, превозмогая РЕАЛЬНЫЕ трудности, памятуя слова нашего национального поэта Х.Н. Бялика: «Кто презирает серые будни, будет презрительно осмеян», помня призыв: «Еще одна коза, еще один ар». То, что невозможно сегодня, станет возможным завтра. Трезвым рассудком следует оценить, что сулит ВЫГОДУ, а что влечет УБЫТКИ. Что СРОЧНО следует воплотить в жизнь, а с чем можно и повременить.

Одно из двух: либо пески – это самое важное в мире, и тогда не отдавай ВЕСЬ Синайский полуостров в обмен на подписание мирного договора с Египтом; либо пески – это не столь важно, и тогда не разворачивай конфликт вокруг территории Таба, маленького пятачка неподалеку от Эйлата, нашего порта на Красном море.

Вот еще один пример из нашего недавнего прошлого, где мы вели себя как динозавры, не просчитывая на два-три хода вперед.

Сначала одним махом, «джентльменски», без всяких переговоров, отдали египтянам весь Синай, а затем зубами держались за Табу, пойдя и на международный арбитраж, и на прочие ухищрения. А почему? Просто кто-то построил там гостиницу. А почему построена ТАМ гостиница? Потому что какой-то осел передвинул пограничный знак, установил его на новом месте, не взорвав как следует стоявший прежде пограничный камень, по недомыслию полагая, что, авось, не заметят, не обратят внимания. Такие вещи в принципе делаются, и секрета я не раскрою, что моральные барьеры никого не останавливают. Но мне бы не хотелось, чтобы из этого раздули «дело» международной важности, расходуя национальную энергию по столь незначительному поводу. Потому что на дела, по-настоящему важные, национальной энергии может и не хватить. Арбитраж мы проиграли, Таба перешла к египтянам. Но представим, что завтра египтяне введут на Синай десять танков, чепуха, стоит ли обращать внимание, особенно нам; ведь неудобно спорить с египтянами «по пустякам» после проигранной тяжбы за Табу.

Я же заявляю, в качестве «голубя», представителя «левых сил» и прочая, и прочая, – что если египтяне введут в Синай десять танков, которые им по соглашению с нами вводить ЗАПРЕЩЕНО, то немедленно следует эти танки разбомбить. Без арбитража, без переговоров – РАЗБОМБИТЬ. Предварительно, ясное дело, следует предупредить египтян, но если они не послушают нас – ДЕЙСТВОВАТЬ немедленно! А вот после истории с Табой мы этого и не сделаем! Мне же эти десять воображаемых танков видятся опасным прецедентом. Ведь к десяти можно добавить еще пять, и еще двадцать, а мы из-за «таких пустяков» не пойдем на них войной, так докатимся мы до того, что придется нам, как и в былые времена, держать огромные силы против египтян. И ради этого отдал я им весь Синай и подписал с Египтом мирный договор? Из-за «дела Табы» снизилась наша способность противостоять международному давлению. Потому что наша национальная энергия растрачена впустую...

Побольше здравого смысла! И не следует поднимать шум без достаточного повода.

А вот еще одна тема, по поводу которой много говорено и которую мне бы хотелось втиснуть в соответствующие рамки, отвечающие истинным, а не раздутым пропорциям. Результаты последних выборов, по словам многих израильтян, увеличили силу религиозных партий, что внушает серьезную тревогу определенным кругам израильской общественности.

Взглянем же на дело трезвым взглядом.

В Кнессете первого созыва, который собрался весной 1949 года, было шестнадцать (16!) религиозных депутатов. Спустя сорок лет (40!) религиозные силы совершили «головокружительный взлет»: и семьи их многочисленны, и эмиграция в страну состояла на значительный процент из людей верующих (особенно из Северной Африки), и из Америки прибыло немало религиозных евреев, и повсеместно распространенное явление – «возвращение к корням», возвращение к религии – привело в стан религиозных сил определенное число новых сторонников, – и что же? теперь в Кнессете последнего созыва у религиозных сил целых 17 мандатов. Сенсационный прыжок! Если этот процесс будет продолжаться в том же духе, то есть реальная угроза, что в 2906 году будет у них 30 (!) депутатов в нашем парламенте. Так «о чем шумите вы?»

Согласен, что на каждого, кто «вернулся к религии», о чем всегда шумит пресса, – есть сто (!), кто покинул религию. Сотни тысяч израильтян, многие из них голосуют за блок «Ликуд», которые по субботам, загрузив автомашины, отправляются на побережье, в то время как родители их субботу проводят в синагоге. Повторю: сотни тысяч отправляются по субботам на пикник, а не в синагогу. Стоит ли говорить об ортодоксии, которая набирает силу?

И все-таки следует отметить существенную перемену. Не сила религиозных партий возросла, а укрепились их политические позиции. В прошлом, когда в Кнессете доминировала ОДНА большая партия – Партия труда («Маарах»), религиозные силы, вступив в коалицию с правящей партией, получали то, что им ВЫДЕЛЯЛОСЬ. Теперь же, когда в Кнессете есть ДВА крупных блока с примерно равным числом мандатов, укрепились позиции и религиозных сил, которые получают соблазнительные предложения от КАЖДОЙ стороны. Таким образом, сегодня 17 религиозных мандатов стоят намного больше, чем 16 мандатов во время оно, и это существенная перемена! Итак, прежде всего – правильный диагноз, иначе истеричный доктор предложит ампутацию как радикальное средство для лечения опухшей ноги.

Политическая структура Государства Израиль и в самом деле претерпела существенные изменения. Подлинную тревогу внушает мне сам механизм власти. Я подразумеваю не изменение системы выборов, я говорю о необходимости изменить МЕТОД управления страной. Поясню. Нынешние наши государственные институты не в состоянии создать такой исполнительный орган, который распределил бы власть пропорционально РЕАЛЬНОЙ силе политических партий, что хорошо видно на примерах религиозных партий, получивших при дележе «пирога власти» значительно больший кусок, чем полагался им в том случае, если бы каждый блок получал свой кусок в соответствии с реальной силой.

Необходимость перемен назрела в последние годы, с появлением на нашей общественной арене двух блоков примерно равной силы. А поскольку ни один из этих блоков не в состоянии обеспечить себе достаточное парламентское большинство, то каждый из крупных блоков вынужден заискивать перед религиозными партиями для создания коалиционного правительства и тем самым идти на существенные уступки, вопреки воле избирателей, голосовавших за эти блоки. Здесь я вижу необходимость

перемен. И, тем не менее, нет повода для паники. Нынешние 17 мандатов в руках у религиозных партий – это вполне отвечает в процентном выражении соотношению общего числа избирателей в Израиле к избирателям верующим. Для справки: 17 мандатов – это чуть больше 14 процентов от состава нашего Кнессета, и эта пропорция сохраняется со дня первой сессии Кнессета. Так что поводов для паники о «засильи клерикалов» я пока не вижу. Газеты шумят по поводу мощного потока «возвращающихся к вере отцов»? Но те же газеты молчат о встречном потоке, о тех, кто родился в строго ортодоксальных семьях, но изменил свою жизнь. За примерами далеко ходить не надо: Иуда Амихай, талантливый поэт, Адам Барух, интересный писатель, да и многие, многие другие, имена которых не столь известны.

Увы, те, кто пытается бороться с вмешательством религиозных кругов в частную жизнь граждан, например, за открытие кинотеатров в субботу, за привлечение религиозной молодежи к службе в армии, избрали, на мой взгляд, неверный путь.

Шумные демонстрации с лобовыми столкновениями принесут мало пользы, по-моему. Все, что необходимо сделать, – это прийти к религиозной молодежи с ТЕКСТАМИ, теми самыми текстами, которые сто восемьдесят лет тому назад увели из ешиботов целое поколение, ставшее поколением, воплощавшим в жизнь идеи сионизма. Надо взять тексты Бялика, Бреннера, Ахад-а-Ама, Файерберга – тех, кто создавал новую ивритскую литературу, изготовить «самиздат» для ешиботников, и уверяю, эти парни будут читать тайком, как это уже бывало в нашей истории. Быть может, только десять таких парней увлекутся идеями, изложенными нашими классиками, быть может, только эти десять пожелают изменить свою жизнь. Но, по-моему, нет другого пути вести войну за души людей, чем словом, текстом, идеей, книгой. Наши снобы-атеисты совершают фатальную ошибку, выходя на шумные демонстрации и гвоздя противника в прямом и переносном смысле, отвечая на каждый брошенный камень. Не так следует вести войну идеологий. Следует сначала определить поле битвы. А поле – это души людей, которые, не справившись с тяжкой действительностью, обращаются к крайностям. И снова мы вернулись к тому, с чего начали: что составляет СУЩНОСТЬ еврейства, всего ли можно достичь, применяя СИЛУ, каким путем пойдет духовное развитие нашего общества. Узел этих взаимосвязанных проблем, по-моему, не следует разрубать. Только плюрализм нашего общества даст возможность

ужиться разным мнениям, только демократический характер нашего государства позволит любой точке зрения быть донесенной до общественного сознания. Плюрализм и демократия – вот они, необходимые условия для расцвета культуры. И я верю, что создаваемые в нашей стране культурные ценности послужат не только израильтянам, но и всему миру...

Записал и перевел с иврита
ВИКТОР РАДУЦКИЙ
Арад, весна–лето 1989

ОЗ (Клаузнер) Амос родился в Иерусалиме в 1939 году в семье выходцев из России, прибывших в туда в начале 30-х годов. Его отец, крупный библиограф – один из основателей Национальной библиотеки, а дядя (брат отца) Иосиф Гдалия Клаузнер - выдающийся историк, литературовед, лингвист, один из инициаторов возрождения национальной культуры на иврите.

В 1954 году Амос восстает против мира своих родителей, принадлежавших к возглавляемому Владимиром Жаботинским ревизионистскому направлению в сионизме, покидает Иерусалим, поселяется в киббуце «Хульда», где заканчивает среднюю школу. Вскоре киббуц посылает его в Иерусалим, где он работает с молодежью.

В 1961 году, завершив срочную службу в Армии обороны Израиля, Амос Оз возвращается в киббуц, работает на хлопковой плантации. В 1961–1963 гг. он печатает свои первые рассказы в журнале «Кешет», основанном прозаиком, поэтом и переводчиком Аароном Амиром в 1959 году и поставившим своей целью публикацию лучших произведений современной израильской литературы.

В 1965 году, завершив образование в Еврейском Университете в Иерусалиме (ивритская литература и философия), куда был послан киббуцным движением, Амос вновь возвращается в киббуц, работает в поле, пишет, преподает в средней школе.

В 1967 году в Шестидневную войну он в составе танковой роты воюет на Синае; во время войны «Судного дня» (1973) сражается на Голанских высотах.

Начиная с 1967 года Амос Оз неоднократно выступает по проблемам арабо-израильского конфликта, ратуя за компромиссное решение, основанное на взаимном признании и мирном сосуществовании двух народов, за образование палестинского национального очага на Западном берегу реки Иордан и в Газе.

Амос Оз опубликовал четырнадцать книг, тиражи которых побили все рекорды и в Израиле, и за его пределами. Его книги переведены на 23 языка в 28 странах. Самый популярный роман «Мой Михаэль» (1968) был экранизирован в Израиле, фильм имел большой успех.

Амос Оз широко известен как эссеист и публицист – он напечатал в израильской и мировой прессе около 300 статей по проблемам литературы, идеологии, политики.

Амос Оз – лауреат многих почетных литературных премий, израильских и зарубежных. Он избран почетным доктором ряда университетов, с 1987 года – полный профессор ивритской литературы в университете Бен-Гурион в Беер-Шеве.

В феврале 1991 года выйдет из печати его новый роман. В 1991 году в Москве и Киеве будут изданы его книги в переводе на русский и украинский.

В настоящее время Амос Оз с семьей живет в городе Араде, в Негевской пустыне на юге Израиля.

Виктор Каган

ВОСПОМИНАНИЯ О Н.В.ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

71-я камера Бутырской тюрьмы была неширокая, но большая. Вдоль длинных стен тянулись сплошные нары – от двери с большой парашей к окну, закрытому «намордником». Пространство между нарами на ночь перекрывалось дощатыми переплетами, на которых спали тоже, а кому не хватало места, залезал под нары. Людей было примерно 70–80. По традиции каждого вновь пришедшего спрашивали, что он может рассказать интересного, и днем, когда утренняя оправка и завтрак были позади, а обед или вечер где-то далеко впереди, камера его слушала. Один из активистов, знакомившихся с новичками, я так познакомился с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским летом 1946 года.

* * *

Для нескольких интересовавшихся (в их числе был А.И. Солженицын) Николай Владимирович провел цикл лекций-бесед по биофизике. Научное содержание примерно соответствовало тому, что написано в книге Э. Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?», где, кстати, есть ссылки на «прекрасную работу Н.В. Тимофеева-Ресовского» и на совместную работу его, М. Дельбрюка и К.Г. Циммера.

Помню, он рассказывал о застольях в Бухе, на которых биологи и физики «в изобилии пили водку и трепались о науке». А потом высказанные за столом идеи немедленно проверялись в лабораториях. Из физиков – участников застолий он называл Нильса Бора, Паскуаля Иордана и Джона Бернала. Эйнштейна привлечь, по-видимому, не удавалось, он был погружен в теорию относительности, и Тимофеев, помню, отзывался о нем даже с некоторой антипатией. Бору он симпатизировал чрезвычайно, говорил, что «это настоящий джентльмен». Про Иордана сказал, что тот был «страшно худой и прожорливый». Надо сказать,

впрочем, что Николай Владимирович и сам был непрочь покушать... С Берналом он сотрудничал особенно тесно; тот предложил модель вируса из длинных молекул, расположенных по образующим цилиндра.

Быть может, именно эти застолья выработали у него убеждение, высказанное через много лет со ссылками на друзей-физиков, в том числе и на Бора, что формулы – это лишь способ выражения, а по существу все фундаментальные идеи можно высказать простыми словами.

Николай Владимирович особенно подчеркивал открытость работ по генетике, отсутствие борьбы за приоритет и соперничество школ. Он говорил, что это вообще было характерно для американских ученых в противоположность немецким, и в этом видел одну из важных причин, почему атомная бомба была сделана именно в США, а не в Германии. Другой причиной, по его словам, было нежелание немецких физиков давать в руки Гитлеру такое оружие: они пользовались работой в области атомного ядра главным образом, чтобы увиливать самим и спасать своих сотрудников от мобилизации в армию.

На вопрос, почему он не принял приглашения поехать в США, ответил, что ему не нравится деляческий характер и стиль жизни средних американцев, а с другой стороны – не ожидал такой крутой расправы в СССР. Николай Владимирович был настоящим русским барином, так и держался в быту. Легко представляю себе, что американский образ жизни не был ему приятен и что его тянуло в Россию. Но мысль, будто в СССР он может рассчитывать отделаться легким испугом, показалась мне тогда крайне наивной. Много лет спустя, уже в Обнинске, его жена Елена Александровна рассказала мне о судьбе их старшего сына, схваченного гестапо, и я подумал, что действительной причиной, удерживавшей Тимофеевых в Германии, была надежда все же разыскать Фому. Впрочем, надо вспомнить, что поразительную наивность и легковерие по отношению к советской власти проявили в те годы очень многие: и старые эмигранты, и «перемещенные лица», в том числе и интеллигенты. А Николай Владимирович жил наукой, политикой не интересовался, как многие интеллигенты его поколения, любил Россию независимо от того, кто ею правит.

Как мог мог жить и работать в гитлеровской Германии? Так же, как могли все мы жить и работать в сталинском СССР. И ему

это было проще, потому что гитлеровцы вмешивались в науку меньше, чем сталинцы.

Для всей камеры он прочитал лекцию о жизни в Америке. Кто-то из соседей, видимо, предупредил, что, донесенная начальству, она может навлечь неприятности, и Тимофеев прочел дополнительную лекцию о теневых сторонах американской жизни, выдержанную в духе тогдашней советской пропаганды. Помню, я ее воспринял как «подоходный налог», объясняемый простой и естественной трусостью. Думаю, я тогда ошибся – все было сложнее. Он ведь не боялся рассказывать о достижениях генетики, о научных заслугах арестованного Н.И. Вавилова и его вражде с Лысенко. А отсюда вырисовывалась картина «облысения биологической науки» в СССР не менее криминальная по тем временам, чем «восхваление жизни в одной из капиталистических стран». Дело было скорее в том, что аполитичный Николай Владимирович не сознавал себя врагом советского режима и духу его в этом случае не на что было опереться.

Помню, он резко отрицательно отнесся к рассказам о спиритических сеансах и отказался их обсуждать. Сказал, что предсказания бывают правильные и неправильные, и число тех и других соответствует статистике случайных событий. Обсуждать же какое-то одно из таких событий нет смысла.

– По каким законам обрушился, скажем, Охтенский мост? Да по законам механики!

Помню, он сказал, что Достоевский – величайший оптимист в мировой литературе, потому что у него и Свидригайлов, и Смердяков – оба покончили с собой. Петра Верховенского, который остался жив-здоров, он почему-то игнорировал.

Года два спустя после нашей встречи я узнал, что Николай Владимирович лежал в больнице Бутырской тюрьмы.

* * *

На уральской «шарашке» он жил в коттедже с женой и сыном, которые считались вольными. Сын учился в университете в Свердловске и ездил туда в сопровождении лейтенанта. Николай Владимирович получал 5.000 рублей в месяц. Бывший мой однокурсник, пропущенный на «шарашку» по специальному разрешению, был поражен роскошным застольем с выпивкой и закуской. А освобожденный, Тимофеев оказался почти без средств. С последнего курса Ленинградского университета его в свое время выгнали за дворянское происхождение, у Фохта в Германии требовалась работа, а не диплом. Елена Александровна в

шестьдесят с лишним лет спешно защитила кандидатскую диссертацию, и содержание семьи легло на ее плечи. Ходатайства о присвоении Николаю Владимировичу докторской степени успеха не имели: Лысенко пользовался покровительством Хрущева. В конце концов решили, что Тимофееву нужно написать диссертацию. Он ее блестяще защитил, после чего она года два лежала в ВАКе без движения – вплоть до «малой октябрьской революции». После падения Хрущева положение Лысенко пошатнулось, и Николаю Владимировичу сразу утвердили докторскую степень. Это мне рассказала Елена Александровна.

* * *

Николай Владимирович читал лекцию в Ленинградском университете, кажется, на заседании кибернетического общества. Тему я уже не помню. Было что-то очень глобальное о Дарвине, роль которого он сравнивал с Ньютоном. Выступивший в прениях Александр Александрович Любищев, помнится, оспаривал роль, приписанную Дарвину, и подчеркивал заслуги Георга Менделя. Тимофеев отклонил экскурсы Любищева в то, что он назвал философией, но, помню, сказал:

– Меня нельзя заподозрить в недостаточном уважении к Менделю. Еще в те времена, когда обвинение в менделизме было вполне членовредительным, я рекомендовался: живой менделист, будем знакомы.

И ткнул себя пальцем в грудь.

Философию он, в противоположность Любищеву, не любил и, ставя очень широко научные проблемы, не связывал их, насколько помню, с мировоззренческими.

Отвечая еще кому-то, Николай Владимирович сказал:

– Вы основываетесь на понятии о прогрессе. Но никто не умеет определить, что это такое и был ли он вообще.

Несколько лет спустя, в Обнинске, он снова вернулся к этой теме:

– Способность человека воспринимать окружающее, по-видимому, не изменилась. Изобрести в свое время лук было так же трудно, как сейчас космический корабль.

И.А. Полетаев заметил:

– Пожалуй, даже труднее. Ведь тогда новым был не только предмет, но и сам факт изобретения.

После лекции я подошел к нему. Он сразу меня вспомнил. Рассказал о своем семинаре на Урале, сказал, что там участву-

ют и физики, назвал С.В. Вонсовского. Я напомнил о модели вируса и спросил о Бернале. Он рассмеялся:

– Бернал теперь борется за мир, ему не до науки.

В Обнинске я был у него только раз в конце 1964 года. Он тогда заведовал сектором в Институте медицинской радиологии. Некоторое время мы там пробыли, а потом он сказал своей жене:

– Лёлька, пошли жрать!

– и мы отправились к нему на квартиру. Николай Владимирович надписал и подарил мне оттиск одной своей работы. Говорил про жизнь в казахстанском лагере, про описанный в «Архипелаге ГУЛАГ» семинар умиравших от истощения. Рассказал, что жизнь ему спасли уголовники, доводившие под руки на работу.

– А то упадешь – конвоир застрелит. И ведь стрелять-то чучмек не умеет, всего переранит, пока убьет.

Поставил немецкую пластинку – запись хора казаков Сергея Жарова. Рассказывал историю его и хора. Там было, помнится, 30 артистов. Каждый получал определенный высокий и твердый оклад, а остальные деньги из огромной выручки за концерты клались в банк, и из них выдавалась стипендия русским эмигрантам, кто не мог платить за обучение. Почти все русские ученые за границей – бывшие стипендиаты хора Жарова.

Говорил о старинной русской церковной музыке:

– Куда до нее Ивану Севастьяновичу Баху!

О текущей жизни, помню, сказал:

– Чтобы нормализовать жизнь нашего общества, нужно строжайше запретить перевыполнение каких бы то ни было планов и отменить новый год. В Германии мы за несколько лет накопили денег и купили нейтронный генератор, а здесь год кончился – и все неистраченное отбирают.

* * *

В 71-й камере все мы были уравнены в бесправии. Каждый сперва лежал под нарами, потом, перейдя на нары, постепенно передвигался от двери и параши к окну. Чины и звания остались позади, на воле, и только личность имела значение для оценки человека. Четверым новичкам в знак особого уважения уступили без очереди место на нарах. Одним из них был Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

Яков Айзенштат

МАЛЕНКОВ И ДРУГИЕ

После смерти Сталина, когда на первых порах значительная власть сосредоточилась в руках одного из сталинских приспешников, а именно в руках Маленкова, Наум Коржавин писал:

В тяжелом мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче вся твоя судьба?

Эти слова относились к России. Но я мог эти слова отнести и к моей личной судьбе, в которой встреча с Маленковым была большой бедой. Эта встреча произошла еще при жизни Сталина, когда Маленков был наиболее приближенным к диктатору лицом, пользовался наибольшим доверием «вождя и учителя».

Весной 1952 года я, московский юрист, был вызван на заседание Секретариата ЦК партии. Заседание проходило в здании ЦК на Старой площади в Москве. Секретариат ЦК состоял тогда из нескольких человек, и возглавлял его Сталин. В этот день руководил заседанием Секретариата не он, а Маленков.

Зал заседаний Секретариата ЦК подавлял каждого входящего своими размерами, его площадь составляла явно более 300 квадратных метров. На одной из стен зала висела громадная сводка хода выполнения плана хлебозаготовок по республикам, краям и областям.

В центре зала стоял длинный стол, и за ним сидели Суслов, Хрущев, Шверник и другие партийные чины. Например, такие, как начальник Политического управления Советской армии, председатель Комиссии партийного контроля. Маленков сидел не за этим большим столом, а за стоящим сбоку небольшим столиком, за которым обычно сидел Сталин.

Маленков истошно кричал на меня. Его голос звучал истерично. В этом голосе и общем облике Маленкова было что-то бабье. Недаром он имел прозвище «Маланья». Порой мне казалось, что он просто пьян. Но на большом столе, за которым си-

дели высокие чины, и на председательском столике, за которым сидел или около которого прохаживался Маленков, алкогольных напитков видно не было. Стояли бутылки со специальным черносмородиновым напитком, изготовляемым в специальном цехе Московского завода фруктовых вод на Русаковской улице. Раньше этот завод был поставщиком императорского двора. Маленков подходил к своему столику, попивал из хрустального стакана спецнапиток и орал: «Политическая провокация!»

Следует напомнить, что это был 1952 год – год, когда расстреляли еврейских писателей и других деятелей еврейской культуры, когда определенным лицам стало не по себе, что большая научная монография о государственном строе Болгарии была опубликована под моей еврейской фамилией. Я и директор издательства осмелились на Секретариате ЦК возражать Маленкову, и тогда, чтобы похоронить нас по всем правилам, была создана специальная комиссия под председательством Суслова, на заседания которой нас стали позже вызывать. Но расскажу о Маленкове и обо всем этом по порядку.

В начале 1951 года отдел печати ЦК ВКП(б) принял решение о публикации научных монографий, посвященных государственному строю стран «народной демократии». К этому времени была готова лишь моя монография о государственном строе Болгарии, и было решено ее опубликовать. Она вышла в свет осенью 1951 года. В ней была среди прочего подвергнута критике брошюра о Болгарии, написанная лицом, которое к моменту выхода моей книги из печати стало инструктором ЦК по Болгарии. К тому же в отделе печати ЦК сменилось руководство, и новое руководство решило показать, что старое ошиблось, рекомендуя издать мою книгу.

Решающее значение имело то, что обострилась еврейская проблема, готовился закрытый судебный процесс над арестованными еврейскими писателями и деятелями еврейской культуры, а тут какой-то еврей публикует монографию о такой славянской стране, как Болгария. Решили поднять вопрос «на принципиальную высоту» и довести его обсуждение до Секретариата ЦК.

Меня обвинили в том, что в книге критикуется Болгарская коммунистическая партия. В действительности в книге содержалась лишь такая критика этой партии, которая неоднократно излагалась в советской печати. Выдвинули и другие несостоятельные обвинения.

Вместе с моей книгой под огонь критики попала и брошюра профессора Зиновия Михайловича Черниловского «Государственный строй Китайской Народной Республики» и книга «Международное право», написанная большим коллективом авторов. На заседание Секретариата ЦК были вызваны авторы этих книг, директор юридического издательства, член партии с 1905 года Дмитрий Федорович Татаркин, главный редактор издательства Пронин, министр юстиции СССР, прокурор СССР, министр иностранных дел СССР, начальник Главполиграфиздата СССР Грачев, в подчинении которого находились тогда все советские издательства.

Маленков орал: «Болгарская коммунистическая партия – это не Рязанский или Тульский обком партии, которые можно критиковать. Критиковать болгарских коммунистов – это политическая провокация!»

Директор юридического издательства Татаркин и я стали возражать Маленкову. К этому времени уже были опубликованы положительные рецензии на книгу не только в советской, но и в зарубежной печати. В Польше в журнале «Паньство и право» крупнейший польский юрист, председатель комиссии по выработке польской конституции, профессор Стефан Розмарин опубликовал рецензию, в которой указал, что изложенные в моей книге мысли о коллегиальном президенте и по другим вопросам государственного права могут быть полезны при выработке соответствующих положений новой Конституции Польской Народной Республики.

Когда Маленков кричал на меня, то остальные члены Секретариата ЦК в основном молчали. Хрущев сидел безучастно с отсутствующим видом. Маленкова поддержал лишь несколькими репликами Суслов.

В связи с нашими возражениями была создана комиссия под председательством Суслова, в которую вошли Шверник (тогда председатель президиума Верховного Совета СССР), Шкирятов (тогда председатель комиссии партийного контроля) и другие. На заседаниях этой комиссии я познакомился поближе с Сусловым. Он был отвратителен и внешне и внутренне. Его фарисейская сущность проявлялась в том, что он бессовестно искажал содержание книги и в каждом абзаце находил политические ошибки, которых там вовсе не было. Книга соответствовала взглядам того времени.

Но в книге было много чисто юридических моментов, и Суслов себе в помощь пригласил на одно из заседаний комиссии Вышинского. Вышинский был тогда министром иностранных дел СССР. Он явился на заседание комиссии в дипломатической форме, со всеми регалиями, вел себя перед Сусловым угоднически, буквально дрожал перед ним. Министерство иностранных дел входило в число ведомств, подконтрольных Суслову, и боязнь Вышинского в чем-либо не угодить Суслову чувствовалась во всем его поведении.

Вышинский при всей своей подлости, проявившейся особенно, когда он помогал Сталину в кровавых расправах, был человеком образованным и эрудированным юристом. Я много раз видел и слушал его в качестве умелого научного оппонента при защите докторских диссертаций видными учеными-юристами. В комиссии Суслова он прекрасно понимал, что все обвинения против моей книги – плод клеветы, что это вымысел от начала до конца. Он был приглашен на роль эксперта-специалиста, на роль арбитра. И он без всякого смущения на черное говорил «белое», а на белое – «черное». Он четко знал, что нужно Маленкову и Суслову.

После этого нас больше на комиссию к Суслову и в Секретариат ЦК к Маленкову не вызывали, а затем мне было объявлено решение Секретариата ЦК, подписанное Маленковым, о снятии меня с работы и исключении из партии.

На протяжении девяти месяцев после этого я не мог поступить на работу. Мне предлагали работу не выше, чем учетчиком в сапожной мастерской. Я настаивал на работе по специальности, обращался по этому вопросу с письмами в разные инстанции и в конце концов получил должность рядового юриста.

Тем временем в газете «Правда» и в журнале «Большевик» появились статьи, основанные на решении Секретариата ЦК, где нас предавали анафеме. Возникает естественный вопрос о том, почему меня, Черниловского и других тогда не арестовали. Ведь это было страшное время. Когда мы поднимались в здании ЦК ВКП(б) на заседание Секретариата к Маленкову или в кабинет Суслова на заседание комиссии, то у каждого лестничного марша стояли лица в форме Министерства государственной безопасности и среди них трудно было найти кого-либо со знаками различия ниже подполковника. Они проверяли документы и окидывали каждого взглядом, от которого не поздоровится. А главное

было в том, что ведь Маленков кричал мне: «Политическая провокация!» Это ли не основание для ареста? Тем более, что после смерти Сталина он соединил в одном лице полномочия главы Президиума ЦК и главы правительства. Когда спустя год я случайно встретил профессора Черниловского на улице в Москве и мы обсудили с ним эту проблему, то решили, что то, что нас не арестовали, – это чье-то упущение, чья-то ошибка. Мы понимали, что эта ошибка может быть исправлена. Черниловский, специалист по истории государства и права и по истории политических учений, эрудит и умница, напомнил себе и мне английское выражение: «Бодро смотри вперед, худшее впереди!» Но нас так и не арестовали. Предполагаю, что это было связано с тем, что вопрос формально касался коммунистических партий Болгарии и Китая. Но ведь сколько раз такие обстоятельства не мешали арестам. В конце концов, почему нас не арестовали, так и осталось непонятным. Поскольку моя участь была определена решением Секретариата ЦК ВКП(б), то обжаловать его я мог только в более высокую инстанцию, а таковой был только съезд партии. Я обратился к XIX съезду и получил отказ, ибо Маленков был еще в полной силе.

Я дождался XX съезда КПСС. Маленков оставался еще членом Президиума ЦК, но прежней силы уже не имел. XX съезд передал мой вопрос на решение парткомиссии при Московском городском комитете партии. Меня стала вызывать для подготовки решения партийный следователь Дубровина. По ее тону и некоторым фразам было ясно, что она не собирается ставить вопрос об отмене решения, подписанного Маленковым. Имело решающее значение то, что он оставался членом Президиума ЦК. На заседании парткомиссии мне пришлось выступить резко и подробно опровергать всю клевету, возведенную на мою книгу. Председатель парткомиссии, в прошлом школьный преподаватель литературы, предложил: «Давайте отложим решение и почитаем книгу». Прочитали книгу, и уже без моего присутствия на своем заседании парткомиссия приняла решение в мою пользу.

Однако это решение должно было быть утверждено бюро Московского городского комитета КПСС. А в это время происходят события 1956 года в Венгрии, обостряется политическая обстановка. Меня вызывают в парткомиссию и просят принести несколько экземпляров книги, ибо члены бюро МГК КПСС

прежде, чем утвердить решение парткомиссии, якобы хотят прочитать книгу. Меня уверяли, что один из членов бюро читал книгу, лежа на излечении от какого-то недуга в Кремлевской больнице. В результате решение было утверждено, и возник вопрос о моей дальнейшей работе. Я предпочел стать членом Московской городской коллегии адвокатов. В этой коллегии я проработал 21 год.

Вспоминая события 1952 года и последующих лет, я не могу забыть тех чувств, которые испытывал, находясь на Секретариате ЦК у Маленкова и в комиссии Суслова, общаясь с Маленковым, Сусловым, Вышинским. У меня было чувство человека, попавшего в серьезнейшую катастрофу. Я представляю чувства человека, попавшего под автомашину. Я же чувствовал себя человеком, попавшим под громадную партийно-государственную машину. Я чувствовал, что эта машина всей своей тяжестью готова раздавить меня. Это чувство усилилось, когда подписавший гибельное для меня решение Маленков после смерти Сталина на некоторое время стал первым лицом в стране. Тогда мое положение казалось мне безвыходным.

Я могу засвидетельствовать точность слов Наума Коржавина о тяжелом мутном взгляде Маленкова. Его взгляд, тяжелый и мутный, у меня до сих пор перед глазами.

В 1952 году никто не мог предвидеть последующего хода событий. Судьба распорядилась своеобразно. Никто тогда не мог предполагать, что Маленков, ближайший приспешник Сталина, кричавший на меня на Секретариате ЦК и олицетворявший тогда высшее руководство партии, закончит свою жизнь прихожанином и хористом подмосковного православного храма.

Слава Богу, если ему удалось замолить перед смертью свои грехи. Но никто тогда не мог предполагать и то, что тот, на кого Маленков кричал, сможет покинуть страну и станет научным сотрудником Иерусалимского университета.

Владимир Лемпорт

МАЛЮТА СКУРАТОВ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Человек наполнен прошлым, как мешок зерном, а настоящее – всего лишь завязочка, едва заметная бичева, которая все время поднимается по мере наполнения этой тары, а будущее – предполагаемая продукция нового урожая, и когда она наконец перестает поступать и мешок завязан, это означает, что человек умер. Поэтому пользуйтесь урожаем, пока живы: потом завязочку никто не развяжет.

Если бы люди не раскрывали своего прошлого (а всякая литература – это раскрытие своего прошлого), то не было бы и времени. Кто докажет, что человек жил, если он сам ничего о себе не рассказал?

Слово «Воспоминания» мне ненавистно. Я живо себе представляю человека, севшего за стол, приложившего палец ко лбу и предавшегося воспоминаниям. Конечно, ты пользуешься памятью и выхватываешь из нее то или иное происшествие, тот или иной образ, но происшествие еще не является «событием», пока ты его не построишь по законам композиции, как и положено всякому писателю, а не мемуаристу. Конечно, тем писателям, которые нанизывают, как грибы на нитку, вялые изречения из своих недр, имя – легион.

«Я родился в семье такой-то. Первое, что я помню, – то-то...» И пошло, и пошло... Одно за другим, как караван верблюдов. А ведь прошлое нельзя выстроить в последовательный ряд. Второстепенное отступает назад, важное выпячивается. Отношение к людям, занимавшим большое место в твоей жизни, меняется, любовь на ненависть или на равнодушие, а иных людей просто и узнать нельзя. Память же наша со временем слабеет. Чем больше возраст, тем хуже память, но почему-то считают, что мемуары – это вид творчества стариков. Да они ничего толком и не помнят, путают одно с другим. Тем не менее, что мы пи-

шем, мы добываем из своего прошлого, из своих наблюдений, из опыта. Не будем называть литературное творчество мемуарами, воспоминаниями, а возвращением к жизни того, что давно ушло, растворилось, расплылось, размазалось.

* * *

Преступника лучше изловить и повесить в момент преступления, а не через 20 лет. К этому времени он примет такую благородную внешность и настолько забудет, что совершил, что на него даже рука не поднимется.

На совести президента Академии художеств Александра Герасимова столько загубленных судеб и даже жизней, что страшно подумать. Да все эти: Филонов, Тырса, Лапшин и множество других, умерших в 41-42 годах в возрасте примерно шестидесяти лет, когда началась война. У них не было денег, продуктов, а пайками их не обеспечили, закупкой их произведений – тоже, и они умерли от элементарного голода.

Когда Герасимова увидел я – а это было на нашей групповой выставке молодых художников в Академии художеств на Кропоткинской летом 1956 года, – он был уже стар, с желтым лицом калмыцкой бабушки, и не верилось в его всемогущество и кровожадность. Казалось, что его можно перешибить щелчком, выкинуть из комнаты за шиворот. Но в этом, видимо, была извечная ошибка всех, кто с ним встречался. Внутри него сидел Александр Великий, Юлий Цезарь, Наполеон; а главный в нем – Малюта Скуратов.

– Заходите, ребятки, заходите, – позвал он ласково из своего президентского кабинета, когда мы, трое выставляемых, проходили по коридору мимо.

Мы вошли в просторный кабинет, Александр Герасимов сел на диван, а мы устроились напротив в кресла. Неужели это и есть тот самый тиран, разрушивший революционное талантливое изобразительное искусство и вместо этого насадивший унылый бюрократический протокол? Ничего злодейского в его облике не было, скорее он был похож на крупного лилипута. Такая же желтая морщинистая кожа, свисавшая от глаз симметрично по сторонам носа, как театральный занавес. Черные киргизские глаза под опущенными дряблыми веками казались грустными. Может быть, он был кастратом? Была бы объяснима его злобная неукротимость. Его агенты неустанно выискивали непо-

корных и тащили к нему на суд. Непокорство же усматривалось в любых человеческих ощущениях. Писал ли художник мазками – следовало обвинение в «импрессионизме». Приговор был всегда – смертная казнь. А что же, как не казнь, для опального художника непринятие с этого момента любого его произведения, лишение всякой работы? Впрочем, казнь подлинная где-то в подвалах из ружья или из пистолета тоже была во власти Александра Герасимова.

По принципу круговой поруки, которой Петр I связал все свое окружение казнью стрельцов собственноручно, так Сталин связал всех руководителей творческих союзов необходимостью санкции на арест. Кто помнит сейчас пострадавших художников в период так называемого «культа личности»? Мое поколение (а оно выбивается в старшее) уже не помнит. А предыдущее или все вымерло, или в предсмертной агонии. До войны подростком, вынужденным работать из-за ареста отца, я поступил оформителем в Центральный Дворец пионеров.

Александр Александрович, мой начальник, старший художник, красивый молодой человек, но на лицо которого напала вдруг волчанка на нервной почве, говорил мне, втиравшему сухой кистью масляную краску в портреты вождей для демонстрации:

– Не рисуй на сшитом из четырех полотнищ холсте. Проступит крест – посадят, и никто о тебе не узнает. Даже великий сухокистник Бендель на этом пострадал!

– Как Бендель?! Да ведь все же портреты на Большом театре, Совнаркоме и гостинице «Москва» висят до сих пор.

– Да. Это так, но он сделал портрет Сталина на огромном десятиметровом холсте, сшитом из восьми кусков. Был дождливый ноябрь, и во время праздника сшитые места выступили, обозначилась сетка, которую судебные органы квалифицировали как решетку, и сам художник попал... – и Саша изобразил скрещенными пальцами решетку, – за антисоветскую агитацию.

– Я припоминаю тоже. Года четыре или два назад у нас в Чакинской неполной средней школе отобрали все тетради: на них был напечатан портрет Сталина, и кто-то в текстуре печати различил фашистские знаки... Под лупу или микроскоп. Я сам сколько ни старался, разглядеть не мог.

Органы были вездесущи и подозрительны и в мазках живописи или фактуре скульптуры могли прочесть какие-нибудь ка-

балистические слова, как ученые-египтологи что-то расшифровывали во вновь обнаруженной клинописи.

В стихах Ахматовой усматривали упадок тогда, когда, как воздух, требовался подъем. У Зощенко находили непростительное злорадство. У Шостаковича заметили какофонию вместо музыки, мешающей, очевидно, реалистической гармонии типа Дунаевского, социалистической по содержанию. А сейчас, когда Шостакович признан гением (посмертная канонизация, причисление к «лику святых»), его поруганная тогда «Катерина Измайлова» идет, собирает аплодисменты; самое печальное, что мне совсем она не нравится. Гений, мною не признанный.

Но за что тогда пострадал Вано Мурадели? Он грузин, стало быть, земляк, опера о его любви к товарищу Сталину и называемая «Великая дружба» вдруг почему-то вызвала гнев Властелина! И Вано не дожил до положенных грузину ста лет, а умер каких-то шестидесяти с хвостиком!

– Я смотрел вашу выставку, – говорил Александр Герасимов, закурив затейливую трубку с крышкой, – мне она понравилась. Так все трогательно, живо. Чего это вы все трое с бородами? Ну, этот, – сказал он, указывая на меня, – похож на мужика, а вы, – Сидуру, – на шкипера, а вы, – Силису, – на профессора богословия. Вы знаете, я ведь пятерку с плюсом имел по Закону Божьему. Хотите, все молитвы прочту? «Отче наш, иже еси на небесех...». – И прочел... «Богородице, Дево, радуйся...» – и без запинки... «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» Эту он даже пропел.

– А вы знаете, сколько на Тамбовщине пирогов в Рождество собирали, славя Христа?

Рождество твое, Христе Боже наш,
Воссиянию миру свет разума,
В небе звездою светящею
И звездою чахося.
Ангелы с пастырями слова сло-овят,
И со звездою волхвы путешествуют,
Бог наш роди и роди-иса,
Отроче младе превечный Бог...

Неистощимого обаяния человек, Александр Михайлович! Но за что же он искусство-то убил? Он, возможно, и обладал ог-

ромным талантом, но что мы помним из его произведений? Ленин среди знамен и речь Сталина на 16 партсъезде тоже среди знамен. На выставки он пропускал только картины из их жизни или косвенно связанные с ними.

С плохо выученным или невыученным уроком (плохо учиться – извечная непростительная детская доблесть) в школу лучше не показываться. Я шел в музей Ленина, где, осмотрев экспозицию с этими двумя картинами, попадал на просмотр единственного фильма, демонстрировавшегося 5 раз в день, – хроники. Быстрый, нервный Ленин с живыми глазами. То он жестикулирует на трибуне, то с кем-то оживленно беседует, на месте не стоит, то кошку гладит неспокойной рукой. Он вызывал чувство, близкое к симпатии. А вслед за ним – после морозных похорон на трибуне – Сталин. Полная противоположность умершему. Подчеркнуто обыденный, спокойный, самодовольный, размеренный, сытый, что контрастировало с худощавым Лениным, говорит с грузинским акцентом, непрерывно пьет из стакана чай, отчего его жирный подбородок то исчезает, то вяло падает на стоячий воротник военного кителя еще без наград и знаков различия. Демократическая игра с колхозниками: переодевается в подаренный ему бухарский халат, девочка Мамлакат на руках. Объятия с челюскинцами, Чкаловым, папанинцами, Расковой и Стахановым. Зайдя однажды на комбинатовский склад на Сокole, я был потрясен несметным строем цементных фигур Сталина с фуражкой за спиной. Этих статуй были тысячи и тысячи. Видимо, не только город, но и каждый поселок приобретал эти изваяния, «как в зеркалах, друг на друга похожие»... И колоссальные монументы Меркурова, Вучетича на Волго-Донском канале. Впрочем, после развенчания Сталина их сменили на не меньшее количество статуй Ленина.

– Галанина, Галанина! – закричал Герасимов, и тут же появилась его пожилая секретарша. – Слушай, Берта! Сделай-ка кофе нам покрепче! Вы любите крепкий? Я люблю. Как варят кофе на Монмартре в Париже! Я часто бывал там и очень любил ходить в музей модерного искусства, в особенности зал импрессионистов. Вы знаете Клода Моне, Эдуарда Мане?

Еще бы не знать! Убегая с уроков, я возмещал свое общеобразовательное невежество изучением импрессионистов в Музее нового западного искусства. Прекрасный был музей и располагался в тех самых залах, где сейчас поместили нашу выставку.

Во время войны музей был закрыт – и, наверно, не без участия Александра Герасимова. Все иностранное было символом вражеского. Многие картины осели в апартаментах любителя живописи, всем известного Лаврентия Павловича Берии. Но больше он был всем известен как палач и, что страшнее, как сексоманьяк. Другие были заключены в запасник Музея изобразительных искусств, некоторые – в склады ленинградского Эрмитажа. Здесь же расположился президиум Академии.

А Герасимов, оказывается, любит импрессионистов! Не чудеса ли?! Почему же он так рьяно против них боролся? И вот сейчас в залах Академии выставляемся мы, трое модернистов, во всяком случае, по тому времени. Ни одной политической скульптуры, столь активно насаждаемых Александром Герасимовым. Керамические этюды произвольных пропорций, непростительных до этого, живость движений, что-то не поддающееся определению, что это: экспрессионизм, импрессионизм, имажинизм. Да нет, что-то свое, наше. Противоположное Герасимову. А он с нами беседует и распивает кофе.

– Вы как, ребятки, – говорит он, – изучаете иностранные языки? Изучайте! Вот я на четырех языках читаю, а на трех свободно говорю. Когда я за границей, мне переводчик не нужен. Всегда объяснюсь, если не на английском, то на французском, если не на французском, то на немецком. Что человек без знания иностранного языка? Так, фонвизинский недоросль!

Мы поражались еще больше. Он нам советует изучать иностранные языки! Каких-нибудь семь лет назад пронеслась, как опустошающая буря, кампания против всего иностранного, обозначенного кодовым названием «космополитизм», а он был в голове этой компании. Везде вылавливались творческие работники, имеющие тягу к иностранному, и жестоко наказывались. «Космополит безродный!» – было самое страшное клеймение, площадное проклятие, после чего виновный уже не мог найти работу или сбыть свою продукцию. Видимо, Герасимов был не из бедняков, раз получил такое хорошее образование. Его детство и юность как раз пали на последнее двадцатилетие девятнадцатого века и первое десятилетие двадцатого. Революцию он встретил почти сорокалетним, сложившимся человеком. Классы помещиков и капиталистов ликвидировались, но, видимо, самые цепкие их представители перекрашивались в красный цвет,

бежали под сень революции и занимали ключевые позиции и разоружали ее изнутри.

Евгений Вучетич, первый скульптор двора, вернее, Кремля, вскользь заметил, что его отец – серб и белый офицер, а сам он сумел сколотить капитал. К 1956 году у него было многомиллионное состояние, расширенное скульптурное воспроизводство. Умел годами не платить или недоплачивать своим «неграм» – рабочим и служащим, чем намертво привязывал их к себе. Чем не капиталист? У него был управляющий Шейман. И когда нанятые им скульпторы, т.е. «негры», обращались к хозяину за деньгами, тот направлял их к Шейману, а у того никакими силами нельзя было выудить ни копейки. Какие деньги? Сами перебиваемся с хлеба на квас!

Граф Алексей Толстой сделался первым соловьем России после Горького (на самом деле он был, правда, приемным сыном графа). И Маяковский был не из бедных, а после нескольких поэм сделался одним из первых владельцев автомобиля, несмотря на собственное утверждение: «Мне и рубля не накопили строчки...» Очевидно, умел их хорошо тратить. Он первым из советских поэтов совершил кругосветное путешествие, не раз бывал и даже хотел «жить и умереть в Париже».

А на истинно революционных художников была организована планомерная охота. В самом деле, подозрительность властей требовала предельной ясности того, что изображалось на холсте. А вдруг за пятнами и мазками Кандинского кроется какой-то зашифрованный призыв против чего-то, вдруг его кто-то сможет прочесть!

Вот картина Исаака Бродского «Ленин в Смольном». Ничего неясного. Ленин предельно похож, кресла покрыты белыми чехлами, выписано так, что можно угадать сорт холстины. Картина не вызывает беспокойства.

А «Пир королей» Филонова! Это черт знает что! Почему пир? Почему королей? Почему такие пропорции фигур? Почему они искажены? Почему кроваво-красный цвет? Что за намек? Вызывает сто тысяч «почему»? По мнению властей, художественные произведения не должны вызывать никаких вопросов. Посмотрел? Ну и проходи дальше, не толпись!

Произведение искусства имеет свои временны́е пределы. Какой-то период современники могут отставать от произведения искусства того или иного художника. Художник больше других

размышляет, его могут и недопонимать, но проходит время, произведение не демонстрируется, и современник вырастает из него, как школьник из прошлогодней формы, или в своем развитии уходит в сторону. Эстетическую. А произведение остается чужим, как свет далекой звезды.

На выставке «Москва–Париж» 1981-го года я увидел картины Филонова. Он был впервые выставлен после пятидесятилетнего лежания в запаснике. Пятьдесят лет назад он был предан анафеме. Конечно, это гений! Но гений 1930 года. Он был тогда поруган и побит, уничтожен морально, а для художника это физическая кончина. Несмотря на гениальность, сейчас его картины так не звучат. Прошло время! Так, пожалуй, будет и с нашими скульптурами. Они простоят свое время в подвале, то есть в мастерской, а потом потеряют актуальность. Невозможно смотреть старые кинокартины: они наивны и глупы, но в свое время они занимали умы современников. Зритель с каждым годом становится все более взрослым, требовательным и насмешливым, а художник – ребенок, сын своего времени.

Глупость борьбы Александра Герасимова со всем ярким, со всем талантливым, революционным, со всем новаторским сейчас очевидна почти для всех. Она была очевидна нам (да и, пожалуй, ему самому) уже в 1956 году, через три года после смерти Сталина. И во время нашей беседы нам хотелось спросить: «Не считаете ли вы всю вашу деятельность глупостью?»

А ему, может быть, хотелось признаться: «Да, я старый дурак...» Но побежденные им художники уже умерли, произведения их ошельмованы или уничтожены, а теперь они устарели. Непоправимо!

– Самое важное, – сказал Александр Герасимов, – это ухватить жизнь за хвост. Ее неповторимость. Не гонитесь за особо официальными полотнами. Деньги получите, а художника в себе потеряете.

76-летний Александр Герасимов, видимо, уже собирался в дорогу с живописным багажом из двух картин, наполовину состоящих из алых знамен. Не густо! Зато, увешанный всеми орденами и лауреатскими медалями, обремененный всеми званиями, кроме воинских (впрочем, кто знает, может быть, и ими тоже). Маленький сморщенный старичок. Желтый калмык!

– Как это вам удалось отрастить такие бороды? – удивлялся он. – Сколько я ни пробовал, у меня вырастало четыре воло-

са под губой и три на подбородке. Как у хана. А ведь я чистейший русский! Тамбовчанин. Как, и вы тамбовский? – среагировал он на мою реплику. – Ракшинский, Ржаксинский? А я Инжавинский! Но татары в моем роду, видимо, побывали основательно. Мне бы на коне сидеть, под седлом вяленую бастурму отбивать, пить, если захотел, конскую жилу подрезать, крови напиться. Впрочем, я и так крови всяких формалистов, и имажинистов, бубнововалетчиков насосался вот так... Больше не хочу, тошнит...

Здесь Александр Герасимов как-то ушел в себя и стал неразборчиво бормотать какие-то слова.

– Галанина! Галанина! – очнулся он. – Берта! Налей-ка ребятам по рюмке коньяку! Вы пьете? А я не пью. Никогда не было никакого желания. Даже удивлялся, почему это людям нужно глотать какую-то гадость.

Мы пили президентский коньяк, а Александр Герасимов сидел, закрыв глаза, видимо, чтобы не смотреть на такое безобразие. А, может быть, просто задремал, старец ведь.

Да, попил он крови формалистов, имажинистов и бубнововалетчиков!

Неразумный отрок, я убегал с уроков, к которым не подготовился накануне. Кроме музея Ленина и Музея нового западного искусства, был у меня и музей Голубкиной, где можно было проболтаться и повысить свой эстетический уровень. Красивый двухэтажный музей-мастерская, где сохранилось все нетронутым после смерти скульптора-подвижника. Меня Голубкина всегда поражала своим мужским подходом к форме. Заведовала музеем, насколько помню, ее сестра, милая пожилая женщина, а служителями были люди, игравшие какую-либо роль в жизни скульптора. Где-то в 47-48-м году под маркой борьбы с космополитизмом музей был закрыт. Вспомнили, что Голубкина училась в Париже у Родена, кажется, они лепили одну и ту же натурщицу-старуху. Стало быть, она была западницей – хороший предлог закрыть музей, тем более, что Вучетичу нужна была мастерская. И занял бы, если бы не подвернулся лучший вариант в Соломенной Сторожке, где он построил дворец. Но музей скульптора Голубкиной был все же закрыт. Покойница Голубкина не была ни формалисткой, ни имажинисткой, ни бубнововалетчицей, но все же пострадала и надолго по решению Академии художеств.

В 49-м был закрыт крупнейший художественный Музей изобразительных искусств.

Как-то утром в нашем общежитии, что располагалось под самым боком Третьяковки, в низком подвале, приспособленном под бомбоубежище, а не под жилье, раздался бодрый клич:

– Подъем!

Оказалось, что наше общежитие должно было грузить подарки в честь 70-летия товарища Сталина – дань Строгановского училища. Моим напарником по погрузке оказался двадцатилетний Силис в черной шинели ремесленного училища, принятой на вооружение Строгановским училищем. Мы построились, а веселый от здоровья Силис пел в такт нашим шагам, подражая Эрнсту Бушу:

Айн, линкс, цвай-драй,
Айн, линкс, цвай-драй...

Мы взобрались на грузовик, на который Строгановское училище отгружало свою лепту в виде мраморной фигуры и нескольких портретов великого вождя. Дул пронзительный ветер со снегом, нам с пустым желудком и в холодных строгановских шинелях было довольно неуютно. В музее было торжественно от красного бархата. Ни Артемид, ни Аполлонов. Огромная фигура Сталина из мрамора на входе возглавляла строй фигур поменьше.

В каждом из 2.500 экспонатов обязательно присутствовал или образ, или хвалебное изречение в честь великого Друга и Вождя. По гранитным ступеням, а далее по мраморным святилищам искусств были протянуты деревянные лаги. Сначала по доскам мы спустили мраморные бюсты, а потом принялись за полутонную мраморную фигуру. Силис, закончивший курсы мраморщиков, командовал, четверо на машине держали веревки, один подкладывал металлический бур под головную часть ящика, двое лагами страховали по бокам.

– В зубы дай! В зубы! – командовал Силис. Этим он хотел сказать, что нужно подложить новый каток в голову ящика, чтобы он катился.

– Ты полегче с зубами-то, – предупредил мастер Свистунов. – Ты видишь, сколько милиции и гражданских в серых воротниках? Услышат, увидят, кого выгружаем, подумают, что издева-

ешься, в зубы хочешь ему дать! Загремишь к Макару телят пасти!

– Ладно, буду говорить «новый бур», – согласился Силис.

Наконец благополучно спустили и стали поднимать по лагам. Теперь передние тащили за веревки, Силис подкладывал катки-буры и покрикивал:

– Новый бур!

Задние толкали вагами. После двухчасовой работы наш нежный груз был втащен на второй этаж и подвинут на соответствующее место. Мы разобрали доски, и после еще часового усилия фигура Сталина в полной маршальской форме была водружена на постамент. Фигур в гражданском и военном, в мраморе, граните и бронзе было 250. Бюстов около 500, около 800 ковров со сценами из жизни вождя, фарфоровых ваз со словами благодарности за прекрасную жизнь было без счета, медалям из бронзы, чугуна, стали и других металлов не было числа.

Так Академия художеств превратила Музей изобразительных искусств в Музей подарков товарищу Сталину. Итак, за короткий срок были закрыты: Музей нового западного искусства, музей Голубкиной и Музей изобразительных искусств. Оставалась лишь Третьяковка, наполовину занятая также подарками Великому Сталину.

Наступил эстетический голод. Нам, учившимся в высшем художественном заведении, это было особенно чувствительно и вредно. Никаких учебных пособий. Музей подарков продержался до весны 1953-го. Его разобрали только после смерти Великого Вождя. Артемиды и Аполлоны были возвращены на место своего постоянного жительства. Потом открылся музей Голубкиной, но почему-то частично, нижний этаж был занят какой-то художественной организацией. А в Музее нового западного искусства выставились мы и мирискусник Александр Яковлевич Головин. Неплохое соседство! Академия так и не уступила место законному владельцу западной живописи. Последняя была не полностью размещена в Музее изобразительных искусств и в ленинградском Эрмитаже (поделена). Несколько картин было продано, некоторые хранятся в запасниках. Великая коллекция Щукина перестала существовать как единое целое.

Да, попил крови наш любезный собеседник!

– Как вы относитесь к западной живописи, уважаемый Александр Михайлович? – рискнул задать вопрос Сидур.

– Как отношусь? – ответил тот. – Как всякий нормальный человек. Перед импрессионистами преклоняюсь. Гогена люблю, Пикассо не понимаю. Может быть, потому, что стар стал, хотя Пикассо – мой ровесник, я с ним встречался в Париже и удивлялся его моложавости.

Оказывается, он нормальный человек, так почему же он огнем и мечом искоренял формализм, абстракционизм, импрессионизм, футуризм?

– Но искусство – это политика, – продолжал он, как бы читая наши мысли. – И большая политика. И наша борьба против формализма и других «измов» абсолютно соответствовала борьбе великого Сталина против всяких партийных фракций. Вам сколько лет, а? Вам этого не помнить, но в тридцать втором появился некий Рютин, который требовал ни мало, ни много, а устранения и даже убийства Сталина, вождя мирового пролетариата, с него все и началось. И нас, руководителей Союзов, собрали у него в кабинете, где Сталин со своей беспощадной логикой доказал нам необходимость искоренения всех инакомыслящих. Во имя сохранения революционных завоеваний.

Герасимов снова закрыл сборчатые веки, он задремал или глубоко задумался. Берта Галанина, женщина лет пятидесяти пяти, подлила нам кофе и сказала:

– Когда освободитесь, подойдите ко мне, мне надо посоветоваться насчет своего сына Игоря.

Огромный светлый кабинет президента Академии художеств я хорошо знал, бывал в нем до войны. Это была редчайшая гравюрная коллекция и уникальная библиотека западного искусства XIX века. Подлинные, вернее, первые оттиски литографий и гравюр Тулуз-Лотрека, Валлотона, Бердслея, Ропса, рисунки Матисса, Пикассо, Шагала и Брака. И самое интересное, что все это можно было брать в руки, смотреть. А какие книги! Иной том можно было поднять только вдвоем. Куда все делось?

Говорили, что многими сокровищами этого музея завладел Берия. У этого Малюты Скуратова был отличный вкус и нежная душа. Бездуховная обстановка всеобщего сыска и дознания его учреждения, жестокая и безрассудная исполнительность подчиненных, душераздирающие крики жертв, подвергаемых самым крутым мерам для скорейшего получения от них нужных сведений в различных закоулках и подвалах, грозные окрики и даже

выстрелы – все это страшно утомляло Лаврентия Павловича, который, как и все, делал одно, а думал о другом. Он поднимался или спускался (не знаю) или уезжал в свой особняк на обед. Вытирая платком вспотевшую лысину, сменял пенсне на очки и с любовью рассматривал висящие картины Матисса, Моне, Пюви де Шаванна и Ван Донгена. Листал бесценные книги по западному искусству, потом снова уезжал к государственным делам на Лубянку, вершить суд и расправу, как говорят, даже собственноручно.

В узком кругу поздно вечером встречалась элита. Может быть, опять-таки в его большом синем особняке, за хорошим крепким забором на Садовой.

– Здравствуйте, дорогой Александр Михайлович, – радушно приветствовал гостя с сильным грузинским акцентом.

– Рад вас видеть, уважаемый Лаврентий Павлович (или, может быть, товарищ маршал, товарищ министр, не знаю), – отвечал президент Академии художеств Герасимов.

Гости (самые высокопоставленные) шли через анфиладу комнат, рассматривали галерею картин, удивлялись тонкости ее подбора.

– У меня в Академии, куда я переезжаю, уважаемый Лаврентий Павлович, несколько картин Пикассо и Дерена только проходы загромождают, если хотите, пополните ими свою коллекцию.

– Ай спасибо, ай спасибо, дорогой друг Александр Михайлович, – говорил хозяин растроганно. – Завтра же пошлю к вам своих людей. Век вам этого не забуду.

Может быть, все это и не так, но в живых уже никого нет, документов нет, кто меня поправит? Но то, что Хрущев указал на Берию как на похитителя картин Музея нового западного искусства, это точно. 20-й съезд был в том же году, когда состоялась описываемая мною наша групповая выставка, и, скорее всего, благодаря ему Александр Герасимов был тих и любезен. Разговоры вертелись вокруг хрущевских разоблачений. Для некоторых они были настолько ужасны и рушили мироздание, что они кончали с собой – вроде Александра Фадеева. И для Александра Герасимова это было крушением, не так уж долго он после этого прожил. До этого он не был тихим и мирным. Он был грозным. Это был жуткий, желтолицый, морщинистый косоглазый дьявол!

«Ату! Ату! – кричал он академикам и членам-корреспондентам Академии художеств. – Грызите, травите всех инакомыслящих, думающих, чувствующих, созерцающих, наблюдающих, собаки мои борзые!» Я не придумал эту фразу, а ее донес до нас заведующий кафедрой скульптуры Строгановского училища Георгий Иванович Мотовилов почти в том виде, в котором я ее сейчас записал. Она и относилась ко времени борьбы с космополитизмом, при которой каждый мог свести счеты со своим противником. Закрытие музея Голубкиной, постановления против Шостаковича, Мурадели, Зощенко, Ахматовой, о журналах «Звезда» и «Ленинград» – все это было градом ударов по всему чувствующему. А в этом великом 1956 году к нам пришли и из Академии, и из Союза художников с любезными улыбками:

– О! Да у вас целая галерея скульптур! Скорее на выставку, и не на какой-нибудь Кузнецкий Мост, а прямо в Академию.

А простор! Для десятка керамических фигурок величиною с палец – целый зал! Для двух скульптур в полнатуры – огромный холл. У нас еще не было такого завала скульптурой, как сейчас, мы только начинали, но заняли пяток комнат, сколько и Головин со своими декоративными полотнами. Пресса не скупилась на похвалы. Двадцать пять лет потом не слышал такого в свой адрес. И молодые, и талантливые, и своеобразные, и изобретательные! И новаторы! Мы попали тогда в уникальную благоприятную экологическо-демографическо-эстетическо-политическую щель. Больше такой не было. В довершение триумфа нас пригласил выставиться комбинат печати «Правда».

Оттепель!

– У меня сын рисует, – сказала Берта Галанина, когда Александр Герасимов вышел в туалет, – но он окончил лесотехнический институт и распределен на Урал в Малый Шугор на лесосплав. Что делать?

– Вы же секретарь президента Академии художеств, не проще ли попросить его?

– Александр Михайлович никогда не слушает просьб своих подчиненных, – ответила она.

– Пусть ваш сын отбудет свой двухлетний срок и придет в нашу мастерскую, может быть, мы ему что-нибудь подскажем.

Забегая вперед: однажды где-то в шестидесятом к нам пришел маленький и очень тонкий человек, который представился:

– Игорь Галанин, моя мать, бывшая секретарша президента Герасимова, вам обо мне говорила. Я был инженером на лесосплаве, теперь хочу быть художником. Мастерская у меня есть, идеи есть, мне нужна глина. Можете одолжить?

Мы дали ему керамическую глину. Мастерская его была рядом на Метростроевской. Галанин работал на керамической фабрике, в мастерской лепил декоративные вазы, рисовал натюрморты, писал картины. Он, бывший инженер лесосплава, теперь рабочий-керамист, вел себя как художник с именем. Он даже вступил в Союз художников каким-то образом. Организовал свой художественный салон, создал целый ряд иллюстраций к детским книгам. Сделался известным графиком. Любил поговорить о своем древнем дворянском роде, идущем чуть ли не от Рюрика.

И вдруг в Аргентине оказался родной дядя Хаим, брат мамы Берты. Дядя был не просто дядя, а король кнопок для бархатных джинсов, следовательно, мультимиллионер, семидесятивосьмилетний холостяк.

Игорь Галанин сделался единственным наследником, совладельцем филиала этой фирмы в Нью-Йорке и ее главным художником. Не раз говорил по «голосам», что входит в десятку известнейших художников из последней эмиграции.

– Пройдемте немного по залам, где расположилась ваша выставка.

– Это гений, – сказал Александр Герасимов, когда мы проходили мимо декоративных, красочных полотен Головина. – Какой мастер живописной композиции, какой божественный цветовик! Как вам? Согласны со мной?

– Более чем согласны, – отвечали мы трое хором, как и положено единому творческому коллективу. – Мы счастливы, что выставляемся одновременно с ним. Это и народ привлекает на нашу выставку, иначе кто бы пошел на неизвестных художников.

– Не преуменьшайте своего значения, – сказал Александр Герасимов. – Головин умер четверть века назад, и искусство его тоже. Кому нужны теперь эти яркие полотна? Разве только Бахрушинскому музею, а вы надежда людей в это смутное, обескураживающее время.

Александр Герасимов шел впереди, он был на полголовы ниже меня, хотя я и сам не так уж высок. Его лысина была искусно закрыта начесом из его собственных черных волос, белых у

самых корней. «Красится?» – подумал я. Видимо, старость ему была отвратительна. А кому она приятна? Может быть, лишь Бернарду Шоу, поэтому тот и долго прожил.

Первый зал, в который мы вошли после Головина, был скульптора Иконникова, члена нашей групповой выставки. Его мраморные бюсты были тщательно отшлифованы и не отдавали никаким вольнодумством.

Сам Иконников, с сумрачными карими глазами под густыми сросшимися бровями и резкими складками на щеках и на лбу, был похож на молодого Жана Маре. Он что-то объяснял худощавой стройной девице. Он показывал ей мраморную фигуру балерины, стоящую в третьей позиции. Оригинал и копия были очень похожи. Кто же это? Ясно! Балерина Майя Плисецкая.

Увидев нас с Александром Герасимовым, Иконников было встрепенулся и направился к нему, но президента не заинтересовала эта скульптура, и он пошел дальше.

Был звездный час и у Олега Иконникова. Во время визита президента Кубы Кастро Иконникову удалось подарить тому его мраморный бюст. В награду бородач пригласил скульптора в свою резиденцию. Там Фидель принимал Олега по первому разряду и, угадав в красавце любителя женщин, предоставил в его распоряжение пять красивейших кубинок из личных президентских фондов, за которыми Олег параллельно или последовательно, но победно ухаживал.

Не так давно, лет этак десять назад, Иконников упал с лесов, с восьмиметровой высоты, когда создавал какой-то памятник. Он отступил на шаг назад, чтобы полюбоваться содеянным (самая опасная манера у творческих работников в отличие от рабочих), и загремел вниз. Исключительная удачливость и прочность черепа спасли его. Он остался жив после длительного лежания в больнице, но у него был задет какой-то важный участок в мозгу, ограничивающий страсть к спиртному. Короче говоря, сорвал предохранитель. Потерял чувство меры. Впрочем, многим из нас для этого не надо падать с такой высоты.

– Это мне напоминает Эрзю, – сказал Александр Герасимов, указывая на двух деревянных девочек, выполненных из березы и заполированных до блеска Силисом.

Силис застеснялся, не велик ли комплимент в его адрес.

А что Эрзя? Приехал из Буэнос-Айреса со всем своим творчеством. Маленький старичок с огромными скульптурами. Какой-то миллиардер предлагал за это собрание несколько милли-

онов долларов. Но Эрзе не нужны были миллионы, ему нужна была слава! Слава КПСС. И он прибыл на двух трансатлантических теплоходах. На одном прибыла его скульптура, на другом стволы реликтового дерева, каменного красного дерева, твердого, как базальт.

Старичок с седенькими усиками оказался в Москве на Песчаной. Кроме семидесяти восьми лет, он имел собаку, такую же седую, как и он сам, и, возможно, такого же возраста. К своему удивлению, он не ощутил ни уважения, ни поклонения соплеменников. К нему, правда, приходили, он открывал, седая голубоглазая собака подбегала к посетителю, принюхиваясь к его задней части. Но это зря! Это же были друзья! Они шумно выражали свое восхищение и восторг. Но ему было нужно совсем не это. Ему нужен был музей его имени, как у Коненкова, выставки во всех городах Советского Союза. Наконец – закупки, заказ на величественный монумент. Но ничего этого не произошло. Министерство культуры было холодно, как лед, к прибывшему из-за рубежа гению, своих некуда девать. Эрзе было скучно со случайными посетителями. Ну и что, если те восхищаются. В Буэнос-Айресе ему предлагали гранитную скалу, доминирующую над городом, для вырубки фигуры Иисуса Христа, он и глазом не повел, больно нужен ему католический заказчик.

Вот на родине бы найти православного!

Но здесь ничего ему не предлагали.

Пришел лысый с рождения Сысоев, начальник Главизо, и сказал, оглядев мастерскую:

– Не наше! Нам такого не нужно!

Сысоев был не дурак, несмотря на лысину. Он понял, что один такой Эрзя может пошатнуть протокольный стиль социалистического реализма. Одна трехметровая голова Моисея из реликтового дерева может все разрушить.

И однажды маленький старичок (великий гений) с закрученными внутрь седыми усиками был найден мертвым посреди мастерской, а усатый голубоглазый индейский седой пес, потомок ацтеков, выл над ним, как брошенная женщина. У Эрзи был пробит череп, выбит глаз, сломаны ребра, но заявлено было официально: влез на два стула, ввертывая лампочку, и упал. Инсульт.

Свидетелей нет.

Прессы нет.

Шерлоков Холмсов тоже.

Чтобы не было соблазна, почти все его скульптуры на всякий случай отправили в Саранск.

– Нет, – сказал Силис, – на Эрзю мы не похожи и не хотим разделить его судьбу.

– Я и не настаиваю, – ответил Александр Герасимов. – Будьте самими собой. Это самое лучшее, что может придумать художник!

Замечания Александра Герасимова были дельны и умны. И именно это вселяло в душу печаль.

Умер Цаплин – возможно, от недоедания, современник Эрзи и Коненкова, не обнародовав своего творчества. Обладатель подвала на улице 25 Октября напротив Центральной аптеки Ферейна, он множил из камня скульптуру за скульптурой, редкой красоты и силы.

Я не знаю, был ли он столь беден, но под его потертым пиджаком был только шелковый шарф, белья никогда не было. Петушиная грудь была гола, и было видно, как натруженно бьется его сердце. И Эрзя и Цаплин были однокашниками и ужасно не любили друг друга. Левые художники, в отличие от правых, вечно не любят друг друга. Цаплин считал Эрзю салонным, а Коненкова слабым. Эрзя думал о Цаплине как о создателе неинтересных каменных ящиков, а о Коненкове как о подхалиме и лизоблюде, так как тот, в отличие от Эрзи, вернувшись из эмиграции, получил при жизни музей-мастерскую на улице Горького, высокие звания, какие только существуют для художников в СССР, заказ украсить театр в Петрозаводске. Кроме того, он имел молодую жену Маргариту (лет шестидесяти пяти), а ни Эрзя, ни Цаплин тогда уже жен не имели: некогда было заводить – работали; Коненков же говорил, что не знает никаких Эрзей и Цаплиных. Впрочем, к 90 годам можно перезабыть всех друзей и врагов молодости. Так или иначе, все они умерли и вкушают, надо думать, райское блаженство за многотрудную жизнь. Ловкие, предприимчивые люди растащили превратившееся в камень реликтовое дерево и бесценный электро- и пневмоинструмент для его обработки скульптора Эрзи.

Подвал Цаплина закрыт, там сейчас какой-то склад.

А где сотни скульптур? Что-то в музеях не видно!

Александр Герасимов рассматривал нашу керамику. Его смешило, что какая-нибудь еле заметная штучка подписана тремя фамилиями.

– И не ругаетесь? – хитро спросил он. – Ведь наверняка это лепил кто-то один из вас. Значит, он делает бесценный подарок двум остальным, он дарит свою индивидуальность. Ведь не каждый из вас сумеет отдариться. Ой, попомните мое слово: вы разойдетесь, вернее, разлетитесь, как галактики. Это вы держитесь вместе, пока вы юноши, а наступит зрелость – ох, какая она жестокая. Особенно старость.

Тройной наш коллектив продержался после этих слов еще четыре года.

В нашем содружестве, этой маленькой республике, стали выявляться все пороки коммунистического государства.

Нас было трое. Три сгустка тщеславия, самолюбия, себялюбия, самолюбования, предпочтения себя остальным.

Для подавления этих чувств была выбрана коллегиальность. Местоимение «я» было изъято из обращения и было заменено «мы». Младший из нас – Силис – настолько отрекся от этого, естественного для каждого человека, чувства имени, что однажды, знакомясь с кем-то, представился Владимиром Лемпортом. Я не вру и не преувеличиваю, спросите у него, он подтвердит.

Коммунистическое самосознание настолько овладело нами, что посторонним было, видимо, дико слышать: «Мы думаем...», «Мы считаем...», «Мы полагаем...», «Мы решаем...», «Мы любим...», «Мы хотим есть...», «Мы хотим выпить..».

И если один из нас по телефону проговаривался какому-то своему личному другу или личной подруге (криминальное для нашего коллектива приобретение): «Ты знаешь, я сегодня работал над...», то тут же два других члена этого странного коллектива бросались на вольнодумца, махая руками и буравя его злыми глазами, шипя, как рассерженные змеи:

-- Ты что! С ума сошел? Раскрываешь тайну творчества! Это мы все работали над...

Виновный лишался красноречия, ему неинтересно становилось рассказывать смешную историю или анекдот от лица коллектива.

А подавление меньшинства большинством! Если двое сговариваются или совпадают их желания, мнения, суждения, то они жестоко подавляют третьего. Возникала диктатура, как во всяком тоталитарном государстве. И как в государстве, можно было различить среди этих троих три различных линии.

Идеалиста, провозгласившего идею.

Прагматика, который ею воспользовался и склонен захватить власть в свои руки.

И наивняка, слепо поверившего в эту идею до полного самоотречения.

Коллектив существовал, пока идеалист не заметил, что его свергают, воспользовавшись его же идеей, а наивняк не обнаружил, что одурачен и рискует оказаться в полном подчинении у двух других.

Наш коллектив развалился, так как, с одной стороны, он стремился в творчестве к оригинальности и новизне, а коллегиальность требовала нивелировки. Это было неразрешимое противоречие.

* * *

В залах людно, народ выставками был не избалован. Он рассматривал нашу керамику с видимым удовольствием, ощущая какую-то жизнь после музеев подарков товарищу Сталину. Трех лет еще не прошло, как они закрылись, а что показывалось? Да наша выставка, считай, первая неофициальная после мундиров и орденов.

В светлом помещении четыре стеклянных горки, в которых три стеклянные полки, на полках огненно-оранжевые фигурки обнаженных вводили некоторых после тридцатилетнего пуританства в сексуальный шок. Впрочем, нашим неиспорченным людям голый палец покажи или рукава засучи – это уже порно! Сексуальность усматривали в музыке, в балете, а приехавший в этом году в Москву Жерар Филипп скупил предметы женского туалета и сделал выставку в Париже. Лифчики – как латы римских легионеров, закрывающие божественное женское тело от шеи до пупка. Панталоны из синего бумажного трикотажа, широкие, как галифе, до колен. На панталоны надевался пояс твердости жести, от пояса шли длинные розовые мятые резинки, зацепляющие простые чулки, доходящие чуть выше колен. Башмаки без каблуков. С такой могучей чувственностью, писал Жерар Филипп, русские непобедимы. Угадать в таких доспехах женщину и возжелать ее могут только сверхмужчины. А чукчи в кухлянках! А казашки в никогда не стиранных шароварах! Их ведь тоже страстно желают соплеменники мужского пола! Филиппа бог покарал за неуместную насмешку над нашей бедностью, он

вскоре умер, но мы прославились, изобразив женщин без синих рейтуз и закрытых купальников. Они у нас сидели не для спорта, не для отдыха, не для труда, а просто так. Просто так, ни для чего! Мы открыли (вновь, после долгой пустыни), что стояние человека – событие, сидение – происшествие, лежание – это сенсация, без всякого сюжета.

Тематизм стянул петлю на нежной шее Художника. Ни слова без умысла! «Утро нашей Родины». Красивый пейзаж, но он лишь фон для непородистого усатого узколобого человека с плащом через руку. И все картины более или менее были таковыми. Кремль как антураж для двух усатых людей в шинелях и фуражках. Сталин и Ворошилов. Ни чувств, ни характеристик: запрещено. Даже беседы изображать запрещено, иначе возникнет вопрос, о чем они говорят? Рост одинаковый, а не то опять вопросы, а ответы – на Лубянке. Закомплексованные некультурные люди очень подозрительны. Их преследует страх: вдруг все увидят, что они дураки! А у нас никаких тем. Как всем стало легко и приятно. Никто никого никуда не зовет, не тащит, не волочит, не призывает. И люди от этого издавали вздох облегчения. Не это ли цель искусства?

– Мы перегрузили мозги и чувства людей тематическими полотнами, – сказал Александр Герасимов. – Ваша задача – их разгрузить. Вы не Родены и не Бурдели, что у вас за форма? Ничего особенного, так, ерунда! Но в наших условиях это подвиг. Желаю вам удачи!

Мы поблагодарили старика, бледного, усталого, морщинистого. Да, сейчас это был всего лишь старец. Я же сказал вначале, что преступника нужно ловить за руки и вешать. Завтра будет поздно: он раскается. Покаяние этой зловещей личности было очевидно. Оголтелый сталинизм, который он насаждал, не дал ничего. Люди стали только хуже. Они увидели, что для процветания не нужно быть особо умным или ученым. Нужно быть всего лишь подлым. Правда, сделаться таковыми могут не все. Как у джентльмена в роду должно быть шесть поколений джентльменов, так и у подлеца в родословной должно быть не менее шести поколений негодяев. Таковых хватало в искусстве, родовитых подлецов.

Казалось бы, знакомство с президентом Академии художеств – большая удача. Почему бы ему нас не наградить, если мы ему понравились, не натравить на нас благожелательную прессу

или закупочную комиссию, которая приобрела бы несколько скульптур, чем укрепила бы баланс нашей фирмы. Этого не произошло. Люди четко делятся на дающих и берущих. Даже не берущих, а отнимающих последнее. Таких раз в тысячу больше, чем первых. Александр же Герасимов был из тех, кто только берет. И его разговор с нами, который в общей сложности не занял и часа, означал не больше, чем жест человека, треплющего по загривкам трех безродных псов и в карманах для них ничего не припасшего.

Он вошел в свой кабинет и отдался мелочным заботам мамы Игоря Галанина.

Наталия Кузнецова

ВОЗЛЮБИТЬ ВРАГА, или ОТСЕБЯТИНА КРИТИКА АННИНСКОГО

Свидетельствует Грант Матевосян:

«Когда-то Лев Аннинский посоветовал мне возлюбить врага. То ли под воздействием этого совета, то ли своим ходом, – годы спустя я понял, что ненавидеть врага – значит подчиниться его логике, а возлюбить – значит стать хозяином положения. Иначе смешиваешься со своими героями и, став одним из них, исчезаешь. Поняв это, я увидел, что мне дали превосходный совет»[1*].

Свидетельствует Василий Белов:

«Множество отсебятины о Шукшине я обнаружил, например, в работах Льва Аннинского...»[2].

Хотел ли наш прозаик сделать комплимент критику или вышло случайно? По мне, не только в критике, но вообще в литературе одна из самых высоких ценностей – именно «отсебятина», да и сам Василий Иванович лет этак двадцать назад не был таким уж ее противником, скорее – сочувствующим. Помните ли – в его замечательных «Бухтинах вологодских» – сценку суда над Кузьмой Барахвостовым, сильно невзлюбившим «бубновское движение» и посредством коромысла высадившим окошко в женсовете, куда его жена повадилась убегать в любое время дня и ночи? «Скажи, с каких позиций пазганул по окну?» – спрашивали судьи, на что Кузьма Иваныч отвечал немудряще, но и не без достоинства: «С улицы». Подобного рода «отсебятину» невозможно осу-

---

* Примечания см. в конце текста. – Ред.

дить, не теряя престижа правосудия, ни по «классовым признакам», ни «по фулиганству», а можно только рукой махнуть: «Ладно, ступай домой».

Лев Аннинский – упрека не оспорил, с обезоруживающей легкостью и даже радостно согласился: «...все, что я пишу, есть, разумеется, вообще сплошная и несомненная отсебятина». То есть – по Барахвостову – «пазгает» он не с позиций классовых, не от правых и не от левых, не от какой-нибудь группировки, бандочки, мафиюшки, а – с улицы. Отчасти, правда, бывает и жаль, что прекрасные прозаик и критик «в этом мире друг друга не узнали». Все же упрек возымел действие: «Я его боюсь задеть своей невольной чужестью, своей... отсебятиной». И Аннинский не написал о романе «Всё впереди», об этой уже как будто не вызывающей споров неудаче Белова; мы только гадать можем, предвкушать впустую, какая это могла быть статья.

Может быть, он бы нам доказал, что на этот роман подвигло Белова не отрицание цивилизации и не презрение к ней, но ощущение бессилия цивилизации. Ведь все русские «деревенщики» – и особенно Белов – исходили из той кардинальной идеи, что обаяние и иные ценности деревенского мира и старины должны благотворно воздействовать на современную действительность, скомпенсировать ее, выправить, «научить». Но, как заметил тот же Аннинский более десяти лет назад, «русская модель мира не вместилась в Тимониху» – как вместилась, скажем, армянская модель в Цмакут у Матевосяна: «На самые больные вопросы мира можно ответить, не покидая Цмакута».

Так или иначе, но ни Белов, ни Астафьев, ни Крупин, ни Распутин в новую книгу Льва Аннинского «Локти и крылья»[3] не вошли, чем сильно огорчена была «русская читательская душа» другого критика, Сергея Чупринина, сказавшего об этом с «замечательной прямотой»:

«Знаете, тут во мне, в моей "русской читательской душе", просыпается самолюбие и даже обида. Почему обойдены те русские писатели, для которых мистика рода, корней и истоков как раз в высшей степени характерна?.. Без них русская литературная ситуация непредставима».

Я, однако, смею думать, что и «Локти и крылья» – бесспорно, книга о русской литературе, хотя половина этой книги посвящена «националам» – Ч. Айтматову, А. Нурпеисову, Я. Кроссу, Анару, О. Чиладзе, М. Слуцкису. Это книга и о «русской чита-

тельской душе», встречающейся с литературами других народов – близких и вместе с тем глубоко своеобразных и отличных от русской по психологическому складу и духовному опыту. Большинство писателей, рассматриваемых Аннинским, пишут по-русски (вернее – сами себя переводят) и, конечно же, привносят в русскую прозу много такого, чего не найдешь у русских писателей, обогащают и обновляют самую ткань русской речи – вплоть до сдвига лексической или семантической нормы. Со временем лингвисты подведут этому процессу итог – как взвесили исследователи, скажем, украинские интонации Гоголя, – но уже за одно лишь последнее десятилетие различимо означилось многое, что может быть принято и освоено «русской читательской душой»: литовская школа «подводного видения», эстонская «лабораторная проза», белорусский тип реалистического письма, грузинская притча, восточный орнаментальный стиль.

Нужно сказать, сами писатели-националы без ложной скромности оценивают привносимое ими в мировую культуру. Послушаем Олжаса Сулейменова: «В искусстве главное – естественность. Европа, потеряв органическую связь со мной, кинулась воссоздавать утерянный примитив. Меня спасают корни. Правда, не всегда. Корни, болтающиеся в воздухе, – как коровьи хвосты. Мы – как предмет в шаре, вращающемся со скоростью, достаточной для того, чтобы перепутать полюса. Падающие вершины и взлетающие системы корней...»[4].

Но не слишком ли это большая роскошь – полкниги о националах? И по какому принципу они здесь объединены? Может быть, следовало привлечь для рассмотрения только тех из них, чьи корни уже не «болтаются в воздухе», но хоть как-то прижились на русской почве, и отсеять, оставить для дальнейшего совершенствования тех, кто еще не «дозрел», никаким боком не вписался в русскую традицию и остается пока феноменом сугубо национальным, экзотическим?

В том-то и дело, что принципа объединения нет. И прекрасно, что его нет. Мы потому и можем довериться выбору Аннинского, много лет занимавшегося т.н. «братскими литературами» и «межнациональными связями», что для него «подопечные» авторы равно дороги, вне зависимости от той доли, какую каждый из них привнес для духовного пропитания «русской читательской души». Правда, сам Аннинский этого не формулирует, но, кажется мне, он здесь солидарен с Сергеем Аверинцевым, сказавшим по этому поводу так:

«...были народы, внёсшие уникальный вклад в развитие цивилизации, и народы, не давшие почти ничего. Есть народы, давшие больше, и народы, давшие меньше, хотя всякий суд, который взялся бы разобрать – насколько именно больше или меньше, взял бы на себя ответственность значительно большую, чем человеку стоило бы брать. Но важно не это. Важно то, что народы, давшие меньше, не давшие почти ничего, всё равно внесли уникальный вклад, то есть того немногого, что они внесли, нельзя заменить ничем другим».

Вероятно, не найти лучшего места для встречи, где бы писатели разных народов могли обменяться своими уникальными вкладами, сообщить о них друг другу, чем под обложкой одной книги. А в наше время – обострения межнациональной розни, взаимной ненависти – такая книга представляется не только лучшим, но, пожалуй, и единственно возможным форумом. Когда так трудно понять друг друга народам, вся надежда – что хотя бы писателям это удастся. К слову сказать, они при этом и себя самих лучше поймут. Лев Аннинский:

«Русские чувствуют себя русскими более всего тогда, когда соединяют в себе встречные токи: Азия – Европа, юг – север. Эстонец чувствует себя эстонцем, когда встречается с неэстонцем – "внутри круга" он – просто человек».

Ну, а сам Аннинский – кем себя ощущает среди этого многообразия? Где та духовная ось координат, от которой он ведет отсчеты? Никого не отвергая, он все же признаётся, что у одного автора ему мешает «холодная аналитичность», у другого – смущает «экзальтация», в третьем – пугает «чрезмерный волевой напор», в четвертом – «сугубая и тяжелая истовость». В целом же – все «национальные» статьи сборника написаны с точки зрения *русского читательского опыта*.

Подобно Битову, лучше понявшему Россию в Армении, Аннинский, везде побывав и все поняв «теоретическим разумом», когда доходит до «разума практического» (выражение Канта), в конце концов обнаруживает себя дома все-таки в русской традиции, под небом Толстого–Достоевского, в окружении родных ему Шукшина, Трифонова. Поэтому лучшая, наверное, статья сборника – о русском поэте: под названием «Кремень», с подзаголовком «Владимир Корнилов: "портрет и вокруг"». В ней наиболее ясно кредо самого Аннинского, по ней читатель легко дорисует не только портрет поэта, но и пишущего о нем критика –

родом из военного детства и послевоенного отрочества, человека спасенного и не забывающего своих спасителей, достаточно погруженного в современность, но памятью, детским сыновним горем – гибелью отца на фронте – навсегда прикованного к войне, пересекшей некогда жизнь, разделившей ее на «до» и «после». Воспитанный в школе на «категориях типического» и прочих занудствах, он приветственно и с облегчением встретил «оттепель» и, как ни была она коротка и сумбурна, не отошел от впитанных при ней идеалов. Во времена «застоя», когда верность этим идеалам потребовала и мужества, и изворотливости, он проявил их – легко, естественно, как инстинкт самосохранения, – духовно присутствуя в жизни интеллигенции и многими своими статьями, и заметными книгами: «Лесковское ожерелье», «Охота на Льва» (издательское название – «Лев Толстой и кинематограф»), «Контакты». Поколение, к которому принадлежит Аннинский, прошло через «застой» и оказалось в нынешнем, довольно-таки страшном, времени «перестройки», где нет пока тверди под ногами, одна хлябь, и надо ее пройти. Пока что, худо-бедно, а именно это поколение, «шестидесятники», приняло на себя главное бремя «перестройки», взошло на командные высоты, не столь сегодня заманчивые, как вчера и позавчера. Не мудрено, что чаще всего, охотнее и успешнее Аннинский обращается к этому, своему поколению.

В статье, посвященной Корнилову, он исследует формы и пути осуществления личности в нашем меняющемся времени. Способна ли она, личность, реализоваться, если откажется воспроизвести все изгибы ситуации в своих телодвижениях, покориться диктату обстоятельств? Откуда возьмет она материал для своей реализации? На чем ей держаться, личности? Один из ответов – судьба Корнилова, «человека двадцатого века», рождения 1928 года. «Один год отделяет Корнилова от той черты, за которой призывались и шли в огонь последние рекруты войны; один год – расстояние тоньше сердечной стенки, – и Корнилов попал бы в тот обжиг, из которого вышли в поэзию Слуцкий, Самойлов, Окуджава, Орлов. Но его повернуло в "мирную жизнь". И эту "мирную жизнь" он увидел, понял и познал так рано и так жестко, как мало кто из его поколения». Естественно, такие достижения разума и морального чувства должны поощряться, поэтому никого чаще, чем Корнилова, не исключали из Литературного института – четыре раза! И после каждого исключения – ар-

мия. Если вспомнить, какие еще имена исключенных украсили историю сего заведения: Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Г. Айги, Ю. Мориц, – можно представить себе, что за казарма был этот «лицей». И наверное, нет нужды объяснять слишком долго, почему с 70-х годов имя Корнилова вообще исчезло из прессы. Речь в статье – о возвращенном Корнилове, выплывшем «из какой-то гравитационной могилы», и чей голос сегодня так сильно ударил в «нервные узлы нашей поэзии», прозвучал словно бы «изнутри нашего очнувшегося сознания».

«...десять или двенадцать лет полного отключения. А не забылся же! – изумление и гордость слышатся мне в голосе критика. – Ему и при зажатой глотке все-таки хватало репутации обозначить уровень, на который оглядывались писавшие в то неличное время». Пишет Аннинский о Корнилове мало сказать с теплотой – с любовью, объявляя в первых же строках: «из всех поэтов моего поколения Корнилов – самый близкий мне». Поэтому и статья о нем – в наибольшей степени авторская, «аннинская», исповедальная. Расточать в таких случаях похвалы – это как себя хвалить, и вообще нужно знать особенность этого критика – оценочных статей у него нет, не найдете вы у него всех этих «глубоко», «проникновенно», «поэтично», «с большим мастерством», «ярко», «свежо», «убедительно – не убедительно», «удалось – не всегда удалось». Его награда – точный и очень жесткий разбор, необходимый для проникновения в духовную реальность произведения, к истокам, корням психологии автора, особенностям его художнической судьбы. Вот как может выглядит его оценка, итог исследований: «Его < 165орнилова одиночество – не случай, не ошибка, это характер, это одиночество медведя-шатуна, одиночество личности на последней черте, когда надо платить по счетам, не ожидая помощи извне».

Уже замечено (Р. Киреевым), что Аннинский «берет на вооружение приемы художественной прозы». Скорее соглашаясь с этим, Аннинский лишь отказывается считать это своей особенностью: «Приемы – изначально общие, и вооружены в принципе ими все...» Скажу, что и вооружены-то не все, и далеко не всякий вооруженный владеет своим вооружением. Аннинский – владеет, и это придает его произведениям легкость в чтении, запоминаемость, делает тебя соучастником его раздумей. Статьи его *красиво написаны*, и это зачастую действительно проза, особенная, критическая проза, героями которой становятся разбирае-

мые авторы. Иной раз сюжеты ее даже детективно закручены. Разбирается, к примеру, стихотворение Корнилова «Лермонтов» – в жанре модного для начала 60-х годов плача об убиенном поэте: «Дорога вьется пропыленной лентою, то вверх ползет, то лезет под откос. И засыпает утомленный Лермонтов, как мальчик, не убрав со лба волос...» Критик обращает наше внимание, как автор «срифмовался с тогдашней молодежной модой: слышно в его стихе что-то ахмадулинское». Действительно, вот оно, «патентованное, ключевое» именно для ахмадулинской эстетики: «как мальчик». Вторая строфа нас тоже не слишком разубеждает в сказанном, хотя «Корнилов... эту элегию быстро прожег огнем: "А солнце жжет, и, из ущелья вынырнув, летит пролетка под колесный шум, под горный шум, под пистолет Мартынова на молньями играющий Машук"». И, точно мало нам своего ощущения, лукавый критик еще подначивает: «Типичные 60-е годы, не так ли?» Действительно – «вынырнув – Мартынова», «шум – Машук»... Рифмы совершенно тогдашние.

«Наконец, – предлагает нам критик третью строфу, – пик психологической боли:

Когда с собой приносишь
Столько мужества,
Такую злобу
И такую боль, –
Тебя убьют.
И тут-то обнаружится,
Что ты и есть
Та самая любовь.

...И этот мотив запоздалого воздаяния, чувство "отвергнутого дара" – тоже абсолютно в духе времени: молодая обида, неразделенная преданность, неоцененная верность, – всё продолжает Аннинский нас убеждать. – Евтушенко в эту пору весь держался на таких эмоциях: вы нас еще оцените!» Перед строфой четвертой нас, правда, уводят в сторону от Ахмадулиной и Евтушенко, куда и зачем – еще не ясно, но похоже, нам готовят какую-то неожиданность:

«Нет, Корнилов другой. Последней строфой он все переиначивает. Строфа кажется странной, "лишней", но в ней самая суть:

Тогда судьба
Растроганною мачехой
Склоняется
К простреленному лбу.
И по ночам поэмы пишут мальчики,
Надеясь
На похожую судьбу».

Теперь и у нас нет сомнения – другой. «Лобастые мальчики революции», с которыми аукались лирики 60-х годов, это все же не такие мальчики, чтоб возлагать надежды на то, что их тоже в свой срок и так же неотклонимо ухлопают на дуэли – или же посредством иного какого мероприятия их лбы, породившие единственный к ним прилагаемый эпитет, будут простреляны. Для корниловских мальчиков заведомо «судьба не мать – мачеха. И к этой доле, к этому испытанию духа человек готовится как к единственному для себя возможному... счастью? – спрашивает критик. И отвечает: – Нет, не к счастью. К доле. К предназначению, которое надо выдержать. Вот эта горечь – только у Корнилова, ею мечены только его стихи. Так и звучали они наперекос поэтическому хору начала 60-х годов, вроде бы и сливаясь, а – наперекос».

Теперь, так блистательно пройдя вдоль стихотворения Корнилова, когда мы уже вполне доверились нашему поводырю-критику и целиком в его руках, он предпринимает завершающий детективный кульбит:

«Теперь я скажу самое поразительное: когда написано стихотворение "Лермонтов".

В 1948 году.

Господи, что делали в 1948 году поэтические светила шестидесятых? Что в том году делала Ахмадулина?.. А Евтушенко?.. А Соколов, умница Соколов, корниловский ровесник, – что тогда делал?..» Но – остановимся здесь, не станем цитировать, вот уж это нам решительно неинтересно. Коль скоро зашла речь о возрасте и сравнивают поэтов летами, зачем нам сегодня выслушивать тот лепет, о котором наши поэтические светила предпочли бы не вспоминать – и вправе, естественно, рассчитывать на нашу благосклонность. Корнилова нужно не с ровесниками сравнивать, чуть постарше или младшими, его нужно сопоставить с годом 1948-м. Не то поразительно, что он написал «Лермонтова»

20-летним и был не только на уровне шестидесятников, но уже тогда их обогнал – могло б ему быть и 16, и даже 14. Поразительно другое – написать то, что он написал, во время такой крепости общественного маразма, не соблазниться ничем из господствовавших тогда мотивов, мелодий, сюжетов и тем, ни обрывка их не подхватить в свое творчество! Велика ли доблесть опередить тогдашних Ахмадулину и Евтушенко, даже и умницу Соколова? Но вырваться из питоньих объятий своего времени – для этого нужно было хоть на день, на час, но быть гением! Такому – непременно должны были постараться сломать хребет, и ломали с удовольствием, со страстью.

Не согласившись с Аннинским, что «степень прозрения нужно брать с непременной поправкой на возраст», отметим все же как находку критика (и победу его метода), как безошибочно он вывел всё, что должно было произойти и произошло в судьбе Корнилова, из его далекого юношеского стихотворения. Воистину, «все, что было загадано, в свой исполнилось в срок...» А метод Аннинского прост – и вместе с тем сложен: «искать не там, где автор говорит, а где он проговаривается или оговаривается», – как написал ему в письме один из авторов, им «подловленных»[5]. Действительно, все проговорки, неточности, ошибки авторского текста у Аннинского идут в дело, подлежат объяснению с точки зрения «подсознательного» и помогают понять внутренний мир писателя, скрытый подчас от него самого. В рассказе Юрия Трифонова «Вера и Зойка» зоркий глаз Аннинского углядел, что интеллигентную клиентку районной прачечной работницы называют между собою по номерку на ее белье: «58–10». Сам автор этому не поверил, со словами «Не может быть!» заглянул в собственный текст. Так и есть – знаменательнейшая статья УК РСФСР, на коей весь Архипелаг ГУЛАГ зиждился, заглотавшая почти всю семью Трифоновых, прочно сидела в «подсознании» автора, въелась, можно сказать, в поры его души.

Андрей Битов процитировал столь памятные многим из нас строки Фета с ошибкой, отмеченной здесь курсивом: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над *мраком мирозданья*, и в ночь идет, и плачет, уходя». У Фета – «над целым мирозданьем», он не воспринимал мироздание как мрачное; при всем трагизме жизни, в этом стихе ощущаемом, оно для него – целостное. Ошибку заметили многие, но только Аннинский высказал и доказал, что она

характерна для Битова. В другом случае, приведя слова Битова «Ах, жизнеутверждающей может быть только чужая жизнь!», Аннинский твердо возразил: «На земле нет *чужой* жизни, как нет чужой боли и чужой вины. Только твоя»[6]. Здесь два кредо, две позиции, два мировоззрения, нет лишь случайной проговорки, ни к чему не обязывающего минутного сетованья.

Наконец, и свои собственные оговорки Аннинский так же пристально рассматривает и истолковывает. В журнальный вариант статьи о Корнилове вкралась ошибка при цитировании:

Не готов я к свободе –
По своей ли вине?
Ведь свободы в заводе
Не бывало при мне...

Так у Корнилова. Аннинский же процитировал: «Не бывало во мне». Что это простая случайность, Аннинский, разумеется, не согласен: «*Моему* внутреннему состоянию больше соответствует именно тот вариант, который *"вкрался"*... Корнилов пишет, что свобода бывает *вне* человека, *при* нем или *не при* нем. Я же склонен думать, что она прежде всего внутри человека». Различие существенное, хотя кажется мне, Корнилов говорит несколько иное: его «при мне» означает – в мое время, на моем веку не было свободы, «в заводе» не было; я, как сказали бы зэки, «век свободы не видал» – и моя ли вина, что неоткуда мне было ее набраться, научиться, усвоить? При таком прочтении позиции поэта и критика уже сближаются, и сам Аннинский склонен согласиться, что тут «не более, чем разница формулировок. А суть одна: тяжкое, глубинное, внутреннее – самому себе – признание: "Не готов я к свободе". Это – главное». Остается добавить, что само такое признание уже отчасти и есть свобода, по крайней мере, требует ее – и той, что вне человека, и той, что внутри.

Любопытно, однако: кто же это признаётся в своей «неготовности»? Поэт, еще в 1948 году ощутивший в себе такую редкостную свободу, так много сделавший для ее приближения, – и это при том, что нашлось сколько угодно готовеньких, перескочивших из «застоя» в «перестройку» с легкостью дерзновенной, нисколечки этой переменой не травмированных! Не готов критик – на мой взгляд, самый яркий из современных, которому его кол-

леги (А. Бочаров) вот такую навесили на грудь медаль: «Пожалуй, только Л. Аннинскому удалось с полной внутренней свободой, подобно щеглу в клетке, выводить неистощимые рулады»[7]. Медаль не совсем бутафорская, в грубоватой ироничности чувствуется благородная зависть сказавшего. Но как же быть с ощущением «неготовности»? Что сделается с песенкой щегла, когда клетка рухнула или в ней столько полопалось прутьев, что можно и выпорхнуть? Когда не потребуется больше «вещать из-под пресса» (как любил говорить о себе Аннинский), появятся ли в руладах новые коленца или рулады останутся те же? Хочется верить, что да, те же и останутся.

В наши дни, когда столько прихлынувшей к литератору свободы тратится на партийные разногласия и размежевания, на сведение счетов, на войну юдо- и русофобии (современный вариант Алой и Белой Розы, такой же нескончаемый и малопонятный, но еще много противнее), Аннинский этой свободе не присягает и шпагу свою не дает иззубрить и затупить в групповой борьбе. Возможно, его отвращает оголтелый, если не сказать резче, характер этой борьбы, войны всех против всех. Однако и в своей обычной роли одиночного стрелка он также не проявляет особой запальчивости и драчливости. Проявляется, напротив, его профессиональное свойство – но теперь уже как присущее ему, природное, а не вынужденное, – способность не пьянеть от запаха крови и кликов схватки, не туманить свой взор гневом и жаждой мести. Похоже, его не очень и привлекает возможность выговориться «на всю катушку», сказать нечто сверх того, что он ухитрялся говорить в пору безгласия, – наверное, это бы означало себя же дезавуировать, как будто говорил тогда лишь полуправду, четверть правды. И вообще – не дурновкусие ли, господа, безоглядно эксплуатировать дарованную сверху гласность?

Все сказанное здесь может быть подтверждено маленькой рецензией-шедевром Аннинского на знаменитую, нашумевшую, шокирующую книгу Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского»[8]. Рецензия называется «Карабчиевский против Маяковского»[9] – сквозит в этом заголовке еле слышимая усмешка, будто вызываются на арену два участника цирковой борьбы, один из которых, именно первый, заведомо слабее; при этом едва ли Аннинский знал и имел в виду, что в данном случае оба участника – поэты. Состояние же Карабчиевского, когда он писал

свою книгу, уловлено Аннинским с поразительной точностью: «Какая-то ледяная решимость, самоотречение. Безогляд человека, решившегося на всё». Да уж, только в состоянии полнейшего отчаяния, безысходности, будто вот этот горластый, из себя видный, победительно удачливый застил весь белый свет, загородил собою все пути в литературу, к известности, к славе, только в этом состоянии и могла свершиться такая беспощадная экзекуция, такое тотальное изничтожение поэта и человека, что даже не любившие Маяковского, на дух его не переносившие – и те потупились в смущении: «Ну, уж так-то – зачем?.. Помилосердствовать бы, право...» Да тут было не до милосердия, тут жертва требовалась, тут такая сенсация была нужна, чтоб перекрыла все достижения и вершины Самиздата и Тамиздата, и притом сенсация разрушительного свойства, разрушители – они крепше запоминаются. И сенсация состоялась: «бедный мой Евгений» повалил Медного Всадника!..

Но вся беда, что Всадник-то был не совсем бронзовый, а очень даже живой – о чем, к слову, столько он предупреждал! – и конь-то его, Пегасушка, тоже ведь живой был, отчего и возникло у Аннинского ощущение «коновального профессионализма, с кровью, стекающей на фартук, и с запахом карболки...» Да уж, не Софронова убивали с Шевцовым, с тех бы столько не натекло. Ну, а понимал ли автор «в сей миг кровавый, на что он руку поднимал»? Чувствуется по книге – да, вполне. А так ли страшен, так ли виновен был убиенный? Вспоминается Аннинскому школьный эпизод, когда он не отважился встать и ответить на вопрос учителя: «Есть ли такой, кто не любит его стихов». И следует признание: «За эти мгновения стыда и страха я успел возненавидеть Маяковского». Не припомню, чтобы в моей ленинградской 87-й средней женской школе так была бы запретна нелюбовь к «лучшему, талантливейшему», но не в этом же дело, а в том, что предмет ненависти, центр мишени находятся вне его крупной фигуры, хоть и рядом с нею. Вот и Карабчиевский в «Литгазете» формулирует главную свою обиду на Маяковского: что «именно он был назначен главным советским поэтом и в этом качестве – после смерти – долгое время существовал. Убежден, что так можно поступить далеко не со всяким, должно быть в человеке нечто такое, что этой должности соответствует. Не удалось же назначить главным Пастернака, хотя и пытались одно время»[10]. Это обвинение, известное в юридической практике как

«ответственность не за вину» (так осуждали за «ЧСИР», что расшифровывается как «член семьи изменника родины»), напоминает мне обвинения совсем недавние, инкриминировавшиеся неугодным, инакомыслящим: «А почему именно вас хвалит западная печать, именно вас поднимает на щит буржуазная пропаганда? Задумались бы!» А что, если б умер Пастернак в 30-х, когда «пытались», и «цезарь» объявил бы его посмертно первым? Мы бы прочли «Воскресение Пастернака»? Только существование презумпции невиновности не дает мне ответить утвердительно. Еще одно обвинение – «дал язык этой власти» – тоже пролетает мимо, и, к слову, я не припомню случая, когда бы Сталин процитировал Маяковского, зато помню его цитаты из Щедрина, Гоголя, Некрасова, Уитмена...

Но вот пришла «перестройка». И книга Карабчиевского – уже не та, что была в Тамиздате, не так читается. И говорит Аннинский о Маяковском: «Теперь я его "защищаю". От нового либерального истеблишмента, который способен втоптать его в грязь просто потому, что "так повернулось" и он теперь "внизу".

Карабчиевский, разумеется, этого не хочет.

Но есть логика переворотов, особенно в нашей нешуточной стране...»

Мне тоже кажется, что теперь, достигнув благодаря своей книге желанной известности, не хотелось бы Карабчиевскому остаться в истории нашей литературной мысли «тем, кто ударил первый». Тут же на ум приходит блатное, из Высоцкого: «Ударил первым я тогда, так было надо». Но, благодаря ли «логике переворотов» или иной какой логике, а впрочем, и благодаря тому блеску, шуму и ярости, с какими написана книга, но будет так, как пророчествует Аннинский: «...в любом случае книга "Воскресение Маяковского" в истории культуры – ***остается***». Едва ли приятно автору такое пророчество, он-то помнит, кто в истории культуры разделил славу храма Артемиды Эфесской. Да, остается – но как литературное убийство, критическое распятие. «Я, признаться, не очень люблю говорить об этой книге...» – сказано в «Литгазете». «Сегодня я написал бы эту книгу иначе, – сказано в журнале «Театр». – Уж наверное она была бы трезвее, добрее, сдержаннее, выверенней, справедливей и ближе к тому, чему-то такому, что принято называть объективной истиной». Да простит меня Карабчиевский, но читается это как отказ от книги, которая, по зрелому размышлению, оказывается, и не трез-

ва, и не добра, и не выверена, и несправедлива, и не близка к объективной истине...

А ведь и верно, теперь он пишет иначе – добрее по крайней мере, но, разумеется, не к Маяковскому. Всегда бывает любопытно, если кого-то громит зоил, посмотреть – кого же он хвалит? Полезно это для полноты облика, портрета, для уравновешивания оценок, для притупления крайностей. Кавалергардская атака на фильм «Покаяние» воспринимается иначе, если за нею следуют похвалы «Детям Арбата»[11].

Вообще соседство имеет свою причудливую логику. Трагическая судьба Анатолия Марченко как бы меркнет в своем трагизме, если список из трех мучеников, вовсе не алфавитный, открывает Кронид Любарский. И история Самиздата, «великая эпоха в нашей культуре», возглавленная Пастернаком и Солженицыным, как-то не устремляется к большему величию, завершаясь именем Бориса Хазанова. Мы здесь, в эмиграции, так научились читать эзопов язык «обойм», что не удивились бы, наткнувшись на всемогущего М. Поповского – в одном ряду с Андреем Сахаровым или даже на полшага впереди него. Что касается «агитатора, горлана, главаря», ему в книге Карабчиевского отказано едва ли не во всем: в уме, в образованности, в остроумии, в редкостном голосе и росте и – смешно сказать – в длинноногости, в физической силе, в обаянии, в красоте, в мужественности, чуть ли не в мужской потенции, в женской к нему любви, в искренности его дружбы и сыновней любви к матери, в правдивости слов и чистоте поступков, в простой даже занятности его в обществе, даже в глубокой затяжке папиросного дыма – ну, словом, как высказывался Ильич об интеллигенции, «не мозг нации, а – говно», в лучшем случае – «гипсовая маска».

Когда так много отнято у человека, что ему и впрямь остается пуля в себя (но и за последним этим выстрелом не остановится запыхавшаяся погоня: а почему заложил один патрон? надеялся выжить?), когда и предсмертное письмо становится «компроматом», предметом насмешек над мелочностью мыслей и нищетой слов (хотя ведь известно – ни одно произведение в жанре предсмертных писем еще не удалось авторам-самоубийцам), возникает вопрос: да найдется ли в подлунном мире хоть один пиит – исключая, конечно, Мандельштама с Пастернаком и Цветаеву с Ахматовой, – к которому наш перераспределитель наград и званий, справедливый Робин Гуд нашей критики отнесся бы благо-

склоннее, передарил бы ему отнятое у зазря увенчанного Маяковского? Отнятое у Высоцкого, мы помним, передано было Галичу, но вот и Бродский Иосиф – тоже под асфальтный каток попал, и хоть не насмерть, но все же ногу ему отдавило – кому же достанутся его лавры, ему причитавшиеся и не доставшиеся ласки?

Представьте себе, такой поэт нашелся. При прочих равных – применительно к Маяковскому – условиях, т.е. конформизме, пресмыкательстве перед власть имущими, был он хотя бы в молодости «блестящ» и «служил с чистой совестью правому делу». И «что сказать? Это был настоящий поэт». И стихи его были «настоящие», «революционные», и «он был мужественно красив и читал, благородно грассируя» те лучшие из них, «что сначала и до конца сохраняют простую и строгую форму, и суровую сдержанность, и спокойное мужество, и романтическое благородство – словом, все, что и должно быть в настоящих стихах, написанных так, чтоб не оставалось сомнений: именно это должно в них быть!..» Именно этого всего в помине не было у Маяковского или едва только брезжило в юные годы, и читатель уже томится: да откройте же, кто он, тот, чье место «на нашем литературном празднике... никто другой не займет», наш «любимец, красавец и храбрец, солдат и рыцарь»?

Извольте, читатель, коли сами еще не догадались: Симонов Константин Михайлович. Не верящих отсылаю к статье «...до былой слепоты не унизимся»[12]. Вот кто был, оказывается, Карабчиевскому и поэтическим, и человеческим эталоном. Главное дело – никакой маски!

Однако вернемся на уровень нашей темы, ко Льву Аннинскому. При общем, отнюдь не восторженном его отношении к «Воскресению Маяковского» – и, что несомненно, к главному герою книги – позиция критика не была бы плодотворной, не найди он повода высказаться о книге в сослагательном наклонении, высказать в сущности мечту о ней, какою бы он желал ее видеть:

«Есть в жесткой книге Карабчиевского – под самый конец ее – "мягкое", глубоко созвучное моей душе место. По интонации. Помните? – когда Маяковский стоит на сцене в Политехническом, под рев и гогот издевающейся аудитории, – за считанные дни до самоубийства.

"Жаль нам Маяковского?

Признаемся: жаль смертельно... Испытываешь простое сочувствие к человеку очень талантливому, не очень счастливому

и вот попавшему еще и в такую беду... И уже все то объективно ужасное, что он, конечно же, сделал, как бы отделяется от его фигуры и уплывает в аудиторию, сливаясь с ее идиотским гоготом. И хочется нам вскочить и воскликнуть – не в зал, а куда-нибудь за кулисы: "Отпустите его! Это ведь только подросток. Это же вечный несовершеннолетний, он больше не будет. Отпустите его, ну хотя бы на поруки – к маме, к Брикам, к друзьям..."

Вот *этот* Карабчиевский понятен и близок мне. Если бы в этой интонации была написана вся книга, я принял бы ее и теперь безоговорочно.

Можете считать, что я защищаю Маяковского. Я, который никогда его не любил».

Заметим, что Аннинский не оспаривает и не отрицает «то объективно ужасное, что онà Маяковский, конечно же, сделал», но числит его заведомо, в отличие от автора книги, не в стане палачей, а в сонме жертв. И дело не в «смягчающих вину обстоятельствах», не в том, что перед нами «только подросток», «вечный несовершеннолетний», который «больше не будет», – поэту и положено быть до смерти подростком, несовершеннолетним, – а в том, чтобы, и не любя Маяковского, даже питая к нему чувство на редкость враждебное, все же исполнить по отношению к нему тот завет, какой был некогда адресован Аннинским Гранту Матевосяну: возлюбить врага своего. Тогда становишься хозяином положения, в противном случае – подчиняешься его логике, смешиваешься с ним – и исчезаешь. А теперь спросим – вместе с Аннинским: жаль нам Карабчиевского? Признаемся: жаль смертельно. Жаль от сознания, какая великая книга могла бы быть – и не состоялась. Книга о том, как ложная идея, завладев огромным дарованием, убила его вернее пули Мартынова или Дантеса, а человека, безусловно, самых высоких свойств исковеркала, изуродовала, оставив ему единственное искупление – самоубийство. Стать хозяином положения – значило быть с ним рядом в каждый час его судьбы, с ним радоваться, с ним заблуждаться, с ним плакать и прозревать, с ним вместе ощутить против сердца холодную неотклонимую сталь пистолета. Подчиниться его логике – значило ниспровергать, разоблачать, подозревать, не верить, подсматривать в замочную скважину – и клеймить, клеймить, клеймить...

Разумеется, урок Аннинского усвоить трудненько. «Возлюбить врага своего» – это ведь иной раз означает принять другое мировоззрение, вдобавок переменить свой характер, натуру

свою сменить. И не всякий способен на такой подвиг смирения, просто у Гранта Матевосяна, обыкновенно не слушающего критиков, не приемлющего никаких критических советов, это совпало с собственным движением души. И как же благодатно такая позиция сказалась в его творчестве – о котором, впрочем, следует говорить отдельно. Главный же урок Льва Аннинского, коему неукоснительно следует в первую голову он сам, прост до банальности: все глубокие и плодотворные истины, которые ныне единственно способны изменить лицо нашей литературы, влить в нее новые силы и живую кровь, вот уже скоро перешагнут порог третьего тысячелетия.

[1] Из беседы критика Аллы Марченко с Грантом Матевосяном. – «Вопросы литературы», №12, 1980.

[2] В. Белов. «Жажда лада». – «Книжное обозрение», №12, 1987.

[3] Л. Аннинский. «Локти и крылья». М., «Советский писатель», 1989.

[4] Олжас Сулейменов. «Год обезьяны». М., «Советский писатель», 1968.

[5] Георгий Владимов – Льву Аннинскому. О «Верном Руслане». – «Литературное обозрение», №3, 1990.

[6] «Странный странник», статья об Андрее Битове в сб. «Локти и крылья».

[7] «Критика – это критики? На вопросы "ЛО" отвечают...» – «Литературное обозрение», №1, 1990.

[8] Юрий Карабчиевский. «Воскресение Маяковского». – «Театр», 1989.

[9] «Театр», №12, 1989.

[10] «Жизнь, выраженная словами...» Беседа с Юрием Карабчиевским. – «Литературная газета» от 4 июля 1990.

[11] Юрий Карабчиевский. «В поисках уничтоженного времени». «Гласность» №28.

[12] Юрий Карабчиевский. «...до былой слепоты не унизимся». – «Новый мир», №1, 1989.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Начиная с №66 «Континент» выходит в Москве.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПО ЗАКОНУ КАРМЫ

По этому закону индусской религии все хорошее или плохое, содеянное в прошлом человеком, в конце концов снова, наподобие бумеранга, возвращается к нему же. Поэтому, когда я слышу повсеместные стенания современных националистов – русских ли, грузинских, еврейских или татарских и даже польских – об уникальности трагедий и бед их народов, меня не оставляет желание посоветовать им обратиться в поисках виновников не к чужой, а прежде всего к своей собственной истории и в ней поискать ответы на снедающую их боль.

Ах, как комфортно и легко чувствовать себя жертвой политических обстоятельств, чужеземного насилия или мирового заговора и вообще, как поется у Окуджавы, ни в чем не виноватым. Комфортно-то оно комфортно, но, мягко говоря, не совсем корректно, а если откровенно, то и не порядочно.

Среди определенной части русской интеллигенции, к примеру, модно теперь рвать на себе рубаху, каяться и посыпать голову пеплом, обвиняя себя и свой народ во всех грехах тоталитаризма. Что ж, этот нравственный порыв можно только приветствовать: значит, мертвящая идеология не иссушила в душах лучших представителей русского народа ростков совести, чести, великодушия. Если, разумеется, этот порыв достаточно искренен и долговечен. (Слишком уж у меня горький опыт с этими раскаяниями в эмиграции. К примеру, один такой интеллигент, приехав на Запад либеральным демократом с вагоном картин и чемоданом прозы, убедившись, что картины его плохи, а проза еще хуже, тут же за умеренную плату взялся каяться перед украинским народом, но вознаграждение, видно, не удовлетворило его запросов, и он вскоре переквалифицировался в российского шовиниста и антисемита, ведущего публициста «Голоса Родины». Затем вернулся в Советский Союз и пробавляется нынче где-то вокруг «Памяти».) Но будем надеяться на лучшее.

В связи с этим я задаю себе вопрос: а разве интеллигенции других народов, попавших в тоталитарную орбиту, не в чем каяться? Разве их совесть так уж белоснежно чиста перед лицом всего с ними случившегося? Разве не было и нет в этом части их собственной вины?

Но, к сожалению, никто из них (за исключением разве лишь Вацлава Гавела, уже в первой президентской речи призвавшего свой народ принять на себя долю ответственности за общенациональную трагедию), не обнаружил никакой охоты признать факт личного, хотя бы даже косвенного соучастия в преступлениях тоталитарной системы.

Попробуйте, предположим, обвинить грузинскую интеллигенцию в сталинизме. Да что вы, возмутятся ее лучшие сыны, да ни в коем случае, да ни в одном глазу, да никогда в жизни! Но вот, по сообщению «Московских

советей», представители семидесяти восьми городов республики собрались в Гори и создали общество «Сталин» в защиту, как они записали в итоговом документе, «великого борца с фашизмом и сионизмом», и возглавил эту гон-компанию не какой-нибудь полуграмотный Васильев, а действительный член грузинской Академии наук, – но грузинской общественности хоть бы что, как будто так и надо. По всей республике сносятся памятники основоположникам и проводникам системы лжи и насилия от Орджоникидзе до Ленина, но «лучшего друга советских заключенных» не замай, стоит себе в том же Гори на страх врагам, указывая современникам путь в зияющие высоты социального рая.

Не стыдится она, грузинская интеллигенция, и того, что у нее на глазах иные соотечественники создают политбюро международной коммунистической партии, в состав которого входят все оставшиеся еще в живых ископаемые тоталитарной идеологии от Фиделя Кастро до Нины Андреевой включительно. Не мешает ей спокойно спать и то обстоятельство, что под приказами об уничтожении миллионов ни в чем не повинных людей, выдворении целых народов с родной земли, международных авантюрах стоят грузинские имена и фамилии. Но зато она всегда готова повозмущаться «русским империализмом», «русификацией», «русской оккупацией», тщательно стараясь не замечать, что этой самой «русской оккупацией» командовал Киквидзе, а политически ею руководил Орджоникидзе и что поддержана эта оккупация была грузинскими большевиками во главе с не худшими из них вроде Окуджавы, Орахелашвили и Мдивани. А вот уже из новейших времен: скажите, под какими пытками заставляли грузинских мастеров культуры (и опять же далеко не худших!) подписывать гнусности против Сахарова и Солженицына? И какими мотивами руководствуются иные из них, сочиняя и публикуя расистские, в духе нашей «Памяти», изыскания о малых народах своей республики – абхазах, осетинах, месхах и лаках, подкрепляя эти изыскания местными кровопусканиями?

Нельзя ждать и требовать от других того, на что не способен сам.

Я горячо приветствую стремление народов Прибалтики к полной независимости и готов всячески, в меру своих возможностей содействовать этому процессу. Но, обвиняя русский народ во всех смертных грехах, интеллигенции прибалтийских стран не следовало бы забывать и о своих. Не следовало бы забывать, что их довоенные лидеры в отношениях с никем не избранным советским правительством вели себя не самым мужественным образом, что, судя по кинохроникам тех лет, оккупантов с Востока встречали восторженные толпы (не сгоняли же их в те поры силой! Или это были переодетые русские?) и что после оккупации партийные, советские и карательные органы комплектовались не только из русских. К примеру, мой отец – простой рабочий, русский, в тот год отбывал наказание в бухте Нагаево по обвинению в троцкизме, а отец в высшей степени уважаемого и ценимого мною выдающегося литовского эмигранта Томаса Венцловы приехал в Москву в составе литовской делегации проситься в состав СССР. Так кто же из

нас больше виноват? Я принимаю на себя вину за оккупацию Прибалтики полностью, но, может быть, и большому литовскому поэту стоило бы часть этой вины принять на себя?

Да и нынешние лидеры независимости Прибалтики, которых в их намерениях я всячески поддерживаю, насколько мне известно, вплоть до перестройки по лесам с автоматами не бегали и в лагерях не сидели (тех, кто сидел, я среди них, к сожалению, не вижу!), а делали вполне конформистскую советскую карьеру. Или это уже не считается теперь соучастием? Да и в травле Сахарова и Солженицына прибалтийская интеллигенция (тот же Межелайтис!) тоже участвовала не под страхом смерти или концлагеря.

Бывая, например, в Латвии в Доме творчества, я частенько слышал от аборигенов сакраментальное: «Мы вас сюда не звали!» На это я всегда отвечал и отвечаю: «А разве мы звали латышей в Москву спасать большевистское правительство 6 июля 1918 года? Разве приглашали мы их в коммунистическую партию и карательный аппарат России? Разве заставляли в течение стольких лет пресмыкаться перед Москвой?» Ведь, согласитесь, нынешний латвийский президент Горбунов, позицию которого в наши дни я всецело поддерживаю, попал в свое кресло не из Лефортовской тюрьмы?

Не мешало бы прибалтийской интеллигенции покаяться за иных своих соотечественников и в тяжком грехе антисемитизма. В списке разыскиваемых до сих пор военных преступников (я знакомился с этим списком в связи с публикацией в «Континенте» по делу Демьянюка) представители прибалтийских народов, увы, занимают, мягко говоря, далеко не последнее место.

Сколько покаянных статей можно найти сейчас о Бабьем Яре или Катыни, но я почти не встречал в литовской печати (во всяком случае на русском языке) упоминаний о 200 тысячах евреев, уничтоженных в Литве руками самих литовцев безо всякого вмешательства гитлеровцев и лишь при молчаливом их одобрении. А когда известный литовский правозащитник, бывший политзаключенный Антанас Терляцкас в №21 «Континента» и Томас Венцлова в западной печати пытались призвать свой народ осудить этот прискорбный факт, их призыв встретили ругань соотечественников в эмиграции и гробовое молчание на родине. А ведь речь идет, повторяю о двухстах тысячах человеческих жизней, то есть почти о каждом десятом жителе республики.

Видно, в таких случаях иные деятели культуры предпочитают оценивать свой народ по соцреалистическому идеалу: не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким тот хотел бы себя видеть.

В свете этого принципа и собственные палачи выглядят порою вполне респектабельно. И вот уже сталинский сатрап в Узбекистане Икрамов (ему, кстати, принадлежит и самое омерзительное по своему холуйству последнее слово на бухаринском процессе) под умелой рукой его сына превращается в эдакого «святого Себастьяна» на восточный манер; организатор и проводник голодного геноцида на Украине Постышев в безгрешного ангела, а полуграмотный Скрыпник в выдающегося украинского просветителя и гуманиста – только потому, что они не понравились Сталину.

К слову, об украинцах. Недавно я прочел в «Литературной газете» статью замечательного публициста Анатолия Стреляного об имперской психологии русской интеллигенции. Я предлагаю автору полистать эмигрантскую (а в наши дни и не только ее!) периодику любой национальной принадлежности. Почти вся она годами только и занята перекраиванием отечественной географии, разумеется, не в пользу своих соседей. К примеру, в кабинете господина Куропаса – советника бывшего президента США Форда по проблемам национальных меньшинств (заметьте, не человека из толпы, а политика, интеллектуала с университетским образованием!) в Белом Доме висела карта, на которой Украина простиралась аж до Урала, а по мнению довольно влиятельных украинских кругов в эмиграции, она включает в себя также и Сибирь по той простой причине, что ее первооткрыватель был украинцем. Так что уж, дорогой Анатолий Иванович, по чужие беды ходить – со своими бы разобраться!

Так мы снова вступаем в заколдованный круг морального релятивизма, из которого нет выхода. Разве лишь в бездну.

Если же перешагнуть советские рубежи, то хочешь – не хочешь, картина вырисовывается примерно та же. Я благодарен Польше за многое: печататься как прозаик я начал там, польская критика первой поддержала меня; в эмиграции самыми последовательными моими союзниками оказались друзья из авторитетнейшего польского журнала «Культура». Я же первый и написал текст воззвания по поводу Катыни «Оглянись в раскаяньи», которое (в первый и, наверное, в последний раз на Западе) подписали представители практически всех направлений русской политической и культурной эмиграции. Но это и дает мне право быть здесь абсолютно откровенным.

Велика вина старой России перед Польшей, а вина послереволюционной России еще больше. Тем не менее, меня обескураживают многие факты ее новейшей истории. Почему, задаюсь я вопросом, великий Пилсудский не нашел общего языка с правительством Юга России, изначально признавшим польскую независимость, но предпочел договориться с бывшим уголовником Мархлевским, которого Тухачевский вез в своем обозе на смену польскому маршалу? Почему по окрику из советского посольства независимое польское правительство запрещало русским культурным деятелям-эмигрантам, в частности Ивану Бунину, читать лекции на территории своей страны? Почему Польша первой, упредив Молотова и Риббентропа, заключила пакт с гитлеровской Германией? И что уж так не терпелось Миколайчику, уже после вероломного четвертого раздела, о чем-то договариваться со Сталиным? И разве русские убивали в полицейских участках активистов «Солидарности»? Разве русские запытали насмерть отца Попелюшко? Разве только русская пропаганда оболванивала польский народ на протяжении сорока лет?

Русские, олицетворяющие, к сожалению, для наших собратьев по соцлагерю всю тоталитарную систему, были лишь вооруженной гарантией существования местной партийно-государственной олигархии и ее приверженцев. Не менее, но и не более того. Но сама система держалась на местном приспособленчестве и оппортунизме.

То же самое можно сказать и о Чехословакии. С первого дня своего возникновения ее правительство повело откровенно промосковскую политику. Если помните, в тридцатые годы Бенеш даже не постеснялся взять на себя более чем сомнительное посредничество в передаче Сталину сфабрикованных гитлеровской разведкой документов о «военном заговоре» в СССР. В феврале 1948 года без всякого вмешательства чужеземных танков определенная часть чехословацкого общества сама, своими руками задушила представительную демократию в стране. В этом преступлении перед историей и народом самое активное участие приняли многие будущие лидеры «Пражской весны», к примеру, Смрковский, Дубчек, Пеликан и ряд других. Они же, эти лидеры, равнодушно, а то и с одобрением отнеслись к подавлению венгерской революции и расстрелам польских рабочих в 1956 году. Прозрели они (да и то не все) лишь после 1968 года, когда уже было слишком поздно. Но и после этого 25% (двадцать пять процентов!) взрослого населения страны состояло в коммунистической партии, причем при вступлении в нее «неофит» был обязан заявить о своем одобрении «братской помощи».

Пора бы нам всем уяснить очень простую истину: чужеземные танки на улицах родной страны – не причина, а результат собственной капитуляции. В признании этой истины и проявилось величие Вацлава Гавела как политического деятеля.

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой...

Я уже не упоминаю здесь о Румынии и Албании, где после войны вообще не ступала нога советского солдата, а режим оказался еще преступнее сталинского, или Восточной Германии, руководство которой, судя по недавней публикации в «Московских новостях», проявило себя по отношению к собственному народу гораздо беспощаднее самого Лаврентия Берии. Тем не менее, и в этих странах многие готовы отнести свои нынешние несчастья за счет все того же «русского империализма». «Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом...»

Та же афганская война возникла не только в результате волевого решения из Москвы. Прямо скажем, у меня лично нет никаких причин испытывать по отношению к Афганистану чувства вины, ибо я был одним из первых, выступивших в поддержку афганского Сопротивления. Я был и в группе тех (Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Арман Малумян, Ольга Свинцова, Людмила Торн), кто помогал этому Сопротивлению и политически, и морально, и материально, кто организовывал эвакуацию из Пакистана советских военнопленных и по мере возможности обеспечивал их безопасность в плену. Поэтому в беседе с одним из ведущих лидеров афганской оппозиции доктором Раббани в Париже я позволил себе откровенно поделиться с ним своими недоумениями: почему на протяжении стольких лет все правительства этого, как его называют теперь многие советские публицисты, гордого и свободолюбивого народа послушно шли в фарватере московской политики, безропотно поддерживая во всех международных

организациях все, даже самые сомнительные ее акции? Почему выдавали своему северному соседу поголовно всех его перебежчиков? Почему все вывески в крупных городах страны писались на двух языках - по-афгански и по-русски? Почему с таким воодушевлением строили «Дорогу дружбы», по которой в 1979 году к ним и двинулись наши танки? Почему всем учебным заведениям в мире предпочли советские, где им и вылестовали на их голову собственных палачей? Почему, наконец, уже теперь, когда практически советских солдат нет на афганской земле, весьма значительная часть «гордого и свободолюбивого» народа не спешит разбежаться из-под знамен поносимого всеми Наджибуллы, а шесть оппозиционных партий не могут договориться о совместных действиях? Или снова будем объяснять это происками традиционного «русского империализма»?

К чести доктора Раббани, он согласился со мной, признав, что вся политика предыдущих правительств в Афганистане и не могла не привести ни к чему иному, кроме оккупации. Нельзя быть гордыми и свободолюбивыми за счет гордости и свободолюбия соседа.

А под конец совсем уже из другого ряда. Пусть попробуют ответить мне любители разгадывать загадки истории с помощью нехитрого русофобского ключика: по какой причине, в силу каких исторических традиций каждый четвертый (а еще совсем недавно каждый третий!) свободнорожденный итальянец, уже знакомый с практикой идеологического тоталитаризма и имеющий доступ к любой информации по этой проблеме, до сих пор так же, как и Нина Андреева, не хочет «поступаться принципами» и аккуратно на каждых выборах голосует за коммунистов? Это ровно столько же, сколько и в России на выборах в Учредительное собрание. Да еще в экстремальной ситуации социального, экономического, политического и военного кризиса, в условиях еще никем не проверенного эксперимента, – итальянцы же голосуют, когда результаты этого эксперимента уже налицо.

Суммирую.

Я, русский писатель Владимир Максимов, сын и внук рабочих-коммунистов, представитель самого большого народа в тоталитарной системе, готов принять и принимаю самую большую часть вины за ее преступления и сделаю все от меня зависящее, чтобы эту вину искупить. Но если мои собратья по несчастью – от грузин и украинцев до евреев и армян – не захотят, каждый в свою меру, разделить со мной эту ответственность, то нам просто не о чем разговаривать. И в таком случае любые разговоры о свободе, демократии, независимости и национальном возрождении я буду вправе считать бесстыдной и самоубийственной демагогией, которая, в чем я убежден, кончится только кровью, причем еще большей, чем предыдущая.

И тогда пусть мертвые хоронят своих мертвецов, и каждый – по закону кармы – заслуживает своей участи!

НАША ПОЧТА

В ПОГОНЕ ЗА «БОЛЬШОЙ ПРАВДОЙ»

В 63-м номере «Континента» Юрий Идашкин вступился за своего старого сотоварища Всеволода Кочетова, возглавлявшего журнал «Октябрь» в 1961–1973 гг. Строго говоря, намерение защитить «доброе имя Кочетова» в плане личных отношений возражений вызывать не должно. В самом деле, Идашкин работал у Кочетова. Их связывала, очевидно, тесная дружба, известное единомыслие. И позаботиться о сохранении памяти усопшего друга – святое дело. Однако есть все признаки того, что Идашкин оказал Кочетову «медвежью услугу». Всякий непредвзятый взгляд подивится углу зрения сегодняшнего Идашкина, чистосердечно убеждающего нас, что Кочетов был... в числе гонимых. Факты? Пожалуйста! Оказывается, главный редактор «Октября» был делегатом партийных съездов, но... в состав Центрального комитета его, беднягу, так ни разу и не избрали. В руководство российской писательской организации входил, а в число секретарей Союза писателей СССР – нет. Трижды Кочетова награждали за общественно-литературную деятельность орденами, из них дважды высшими, а вот Сталинской и Государственной премий так ни разу не получил. Да, издательские дела Кочетова складывались прекрасно – его книги издавались многомиллионными тиражами, а вот последние его романы, и в первую очередь «Чего же ты хочешь?», вышедший 100-тысячным тиражом, – замалчивались (!).

Если кто-то думает сегодня, что фантастическое тиражирование повестей и романов Кочетова – следствие его верноподданнических взглядов, то, по Идашкину, это есть самое настоящее заблуждение и неправда. Что вы, совсем наоборот: Кочетов, оказывается, дудел совсем в другую дуду, чем Центральный комитет партии. Более того, Цека разошелся во взглядах с Кочетовым и ленинским курсом. И Цека не любил Кочетова за то, что тот был честный, порядочный, прямой, строптивый, несговорчивый и независимый. Когда же читаешь историю со звонком из Цека главному редактору «Октября», припоминаешь о собрании, посвященном критике, на котором подчиненные выступали с отчаянной смелостью: «Мало вы нас, товарищ директор, критикуете! Говорим вам это с партийной прямотой и откровенностью, в глаза, без всякого страха...»

Впрочем, оставим пока без комментариев утверждения Идашкина, будто Кочетов служил, но не прислуживал, что он обладал какой-то там непререкаемой самостоятельностью суждений, не знал альтернатив, не способен был отказаться от убеждений... Сосредоточимся на главном – на попытке вернуть писателю Кочетову его имя приверженца реалистического искусства. Будущие «кочетоведы», конечно, обратят внимание на подлог,

ибо писать и издавать книги – еще не значит быть писателем. Как, впрочем, покупать и читать книги – это тоже еще не значит быть взыскательным читателем, умеющим отличить произведение искусства от подделки.

Итак, Идашкин пытается убедить нас, что Кочетов – не типичный номенклатурный советский литератор известной эпохи, а писатель, которого читал и любил народ, писатель самостоятельный, хотя и занимавший (как видится, увы, теперь Идашкину) позиции, во многом противоположные потребностям общественного прогресса. Да, каждый новый роман Кочетова вызывал резонанс и общественную полемику. Это правда. Кочетова в стране читали. Не намерены мы оспаривать и утверждение Идашкина, что Кочетов был порядочным человеком в частном общении. Глава несимпатичного нам направления мог вполне быть таковым, как, впрочем, в той же мере глава симпатичного нам направления мог вполне оказаться непорядочным. Тут – та же подмена предмета спора, как и утверждение, что Кочетова читали, потому что он был хорошим писателем. На самом же деле кочетовские произведения никак нельзя отнести к достижениям литературы даже в историческом плане. «Теркин» и «Журбины» никогда не стояли на одной линии. Статья же Идашкина в защиту Кочетова – это, по сути дела, попытка оставить на периферии дискуссии слабость художественной стороны романов Кочетова и то место, которое он занимал как глава направления. И тут уж без цитирования кочетовской прозы нам никак не обойтись, хотя мы ни на минуту не будем упускать исторический взгляд на идеи направления, во главе которого стоял Кочетов.

Итак, Кочетов за два десятка лет написал и опубликовал восемь романов объемом в несколько сот страниц каждый, регулярно выступал с путевыми заметками, очерками, публицистикой. Кочетов был лидером литературного течения, провозгласившего своей задачей отображение «Большой правды» и создание «идеального героя», – течения, которое наиболее ярко выражало себя в журнале «Октябрь». Оно было продолжением все той же концепции, связанной с приукрашиванием действительности, лакировкой ее, только слегка подновленной. Скажем, на смену теории бесконфликтности приходил конфликт между идеальным героем и подлецом, между дураком и умным, правильным и неправильным, честным и лживым, советским и несоветским и т.д. Ну и, соответственно, «Большую правду» составляли достижения общества, руководимого Сталиным, а «Малую правду» составляли ошибки, «последствия» культа Сталина, о которых уже все сказано, которые преодолены и должны быть забыты навсегда. Все противоречия были неантагонистическими. Правда, картину несколько портили «инакомыслящие». Но борьба с ними – не задача литературы, а задача органов. Литература же должна разрабатывать все того же идеального героя. Соответственно и официальная критика продолжала испытывать литературных героев на «положительность» и «отрицательность», причислять писателей, выступающих за «Большую правду», к передовым социалистическим реалистам – а других отлучать от «передового метода» за приверженность «Малой правде» и «правде жизни». Понятное дело, процветали деятели искусства Страны Советов, которые умели извлекать из жизни «Большую

правду». Ибо за «Большую правду» боролась Партия. Она же выбирала себе и подручных. Романы Кочетова – яркий пример того, что делает тоталитарное государство с художественным творчеством, как подчиняет литераторов идеологии, подменяет культуру эрзацем. Литератор, изображавший доступными ему средствами линию Партии (искренне или неискренне – неважно), нарекался званием «партийный писатель» в пику всем остальным – в лучшем случае непартийным, в худшем – антипартийным. Соответственно литераторы опасались критиковать «партийного писателя», ибо он уже отождествлялся с Партией. Партийная тема давала «фору». Никогда и никто не смел сказать про Кочетова, что он не писатель, ибо его романы сражались за «Большую правду» партии, за Идеального героя социалистического реализма. Как на практике решал эту проблему приверженец «реалистического» – по Идашкину – искусства, нам и предстоит проследить.

В романе «Братья Ершовы» – положительно прекрасный герой актер Гуляев прямо заявляет: «Говорят, что нет идеального героя. Что он вреден, что он ослепляет и усыпляет. А я считаю, что если бы его и не было, то искусство обязано его выдумать. Без идеалов жить нельзя. Искусство не фотография, оно все может, и оно обязано было создать идеального героя». Критик В. Друзин, исследовавший творчество Кочетова в те годы, нашел, что «образцы подлинных положительных героев, борцов за новые коммунистические идеи – наибольшие творческие удачи писателя».

Ну что ж, посмотрим, чем живут и за что борются эти самые «образцы подлинных положительных героев», пропущенные, по выражению их создателя, через «магические кристаллы творчества». Итак, к барьеру.

Жизнь персонажей Кочетова полна забот о «дальнейшем» подъеме сельского хозяйства и промышленности, о благе народа. И с этой стороны к ним, на первый взгляд, не может быть никаких претензий. В романе «Товарищ агроном» любимый герой Кочетова секретарь райкома Карабанов «никого не распекал, не разносил, только разбирался в делах, только давал советы, умные советы, не последовать которым было невозможно». Приезжая в район, он «ночевал по очереди то у секретаря партийной организации, то у председателя, то у бригадира, в семье доярки, пахаря, огородника или пастуха». Ну, ночевал так ночевал! С гостиницами на селе туго. Нахлебничал поочередно! Но какие же разговоры вел секретарь партии? Вот ночная беседа в доме агронома: «Люди – главное, – говорил он, прихлебывая чай. – Людей, людей изучайте... Смелее вторгайтесь в жизнь, окружайте себя людьми, вместе с ними ворочайте эту жизнь...» В доме председателя колхоза Карабанов говорит: «Очень хорошо, что вы боретесь за высокий доход. Продолжайте эту борьбу. Добивайтесь отличных урожаев на своих полях, отличных удоев на животноводческих фермах, отличного сбора меда на пасеке. Механизируйте полевые работы. Вот наша дорога к коммунизму».

Может, Карабанов говорил иначе на охоте? Нет, ничего подобного. «Партия не требует от коммуниста, чтобы он был каким-то диетическим сухариком. Она требует, чтобы коммунист был прежде всего человеком. Она,

наша великая партия, худосочных не любит. И я тебе скажу: никогда не бойся проявлений жизни, горестей и радостей».

Лишь окончательно оболваненный соц-артом читатель мог принимать подобные примеры «образного мышления» за литературу... Но поглядим далее. Может быть, в последующих романах партийные работники, пропущенные через «магические кристаллы творчества», отличают задушевную беседу за чашкой чая от разговора с широкой аудиторией? Может быть, они все же заговорят иначе?

Вот секретарь обкома в одноименном романе рассуждает о себе: «частичка сердца» его, Василия Антоновича Денисова, ушла на завод – врачи решили, что оно пошаливает, «сплетение нервов», – на строительство жилого сектора - врачи говорят об их функциональном расстройстве. Животноводство, зерновое хозяйство, сады, огороды, оказывается, «пьют кровь Денисова - врачи утверждают, что холестерина в крови прибавилось, печень не так уж образцово работает...» Но «никаких недомоганий Василий Антонович не чувствует». Вот такой «физиологический» портрет секретаря обкома!..

Речь его изобилует газетными призывами вперемежку с фразеологией обитателей скотного двора. За обеденным столом Денисов преподает парторгу азы политграмоты, сообщая ему, что «сейчас мы имеем мощную индустриальную базу, мы – второе по экономической мощи государство в мире. Недалек день, будем первым государством».

Открытие картинной галереи в деревне секретарь объявил новым шагом по пути к коммунизму, только жаль, что туда никто не ходит. Молодой поэт, выступавший в клубе, по выражению секретаря, «жеребятину несс». Кому-то Денисов бросает по-свойски: «Жмот!» Кому-то говорит: «Пусть смотрят и облизываются». Сестру жены обозвал «финтифлюшкой», а директор музея у него «старикашка». Секретарь райкома Карабанов ударяет по «женской части». Он кричит: «Привет девчатам. Невест сколько. Да и какие невесты! Был бы я на твоем месте, Петр Дементьевич, – не растерялся б». Другой секретарь, Артамонов, гнет в том же духе... при вручении колхозу переходящего знамени обкома: «Будь такая возможность, обнял бы каждого. Но ведь вас не один и не два. Да и девушки есть, еще застесняются. А мужья, те и вовсе начнут ревновать!..»

Эти маленькие «вожди», между тем, спрашивая себя, кто они, отвечают себе: «Винт. Важный, но только винтик в большой машине» (секретарь обкома Лаврентьев). Так и говорит себе: «Товарищ Винт, вам подкрутили гайку!» А вот другой секретарь, из другого романа, после XX съезда КПСС стоит перед портретом Сталина в домашнем кабинете с женой: «Нет, я его судить не могу. Его может судить партия, народ, история. Но не я, Василий Денисов. Отдельно взятый, я мал для этого, Соня, ты можешь меня понять или нет».

Нет, мы совсем не намерены эти слова приписать автору романа. Но согласитесь, вложенное в уста положительно прекрасных героев искусства

«соц-арта» в известной мере говорит о мировоззрении его создателя – или хотя бы о направлении его мыслей. И это несколько отличается от того Кочетова, которого нам хочет теперь представить Идашкин.

Глазами нынешнего читателя все положительно прекрасные партийные работники, созданные Кочетовым в его повестях и романах, выглядят отнюдь не положительными. Но не потому, что Кочетов писал их черными красками. Просто угол зрения читателя поменялся на 180 градусов. И то, что было в те времена положительно прекрасным, сегодня выглядит карикатурно. Мир убедился, что не существует никакой партийной, революционной правды, морали, красоты. Существует одна мораль, одна правда, одна красота, одна нравственность на все человечество. Существует одна общечеловеческая культура.

Если «идеальный» Денисов тащил за собой по служебной лестнице негодного работника, зато друга и товарища, то этому явлению одно название – протекционизм, а не верность дружбе. Если секретарь обкома не хочет разоблачать соседнего вельможу, скупающего скот в других областях, и наносит вред государству, то это не «порядочность», а что-то противоположное. Если руководящие и партийные работники Кочетова годами не бывают в кино, не ездят в театры, подписываются на собрания сочинений, чтобы просматривать оглавления, если дом регулярно загромождают нечитанными книгами, которые продавщица из книжного киоска при горкоме оставляет секретарю, это говорит не о занятости, не о том, что «всю жизнь без остатка они отдают работе», а о дремучем невежестве.

Когда же Кочетов пропускает через «магический кристалл творчества» своих рабочих и пытается лучших из них представить образованными представителями авангардного класса, тут уж все вопиет против такой «художественной правды». В «Братьях Ершовых» заезжий писатель поехал смотреть домашнюю библиотеку рабочего Дмитрия. «Неужели вы и это читали», – спрашивал он, листая страницы толстого труда по истории русского искусства. «Читал», – отвечал односложно Дмитрий. «И это читали?» – в руках писателя были песни Беранже. «Читал», – ответил Дмитрий. «И это?» – писатель взвешивал на руке объемистые «Русские былины». «Читал и это». Вот такой рабочий-энциклопедист на фоне голубятников, кролиководов, цветоводов и... дремучих руководителей. Вот такой роман, отвечающий установке партии на создание произведений, воспевающих положительно прекрасное в рабочем классе.

Но, быть может, честный взгляд Кочетова видел в жизни вредность всяких «курсов партии на дальнейший подъем благосостояния народа»? Ничего подобного. Он шел, что называется, нога в ногу с требованиями партии, ноздря в ноздрю с «очередными ошибками». Никогда не посягал он на «святое» – линию партии, куда бы она ни вела. Многочисленные авторские отступления в романах и повестях Кочетова, его очерки, путевые заметки, выступления пронизаны верноподданническими заявлениями. Стояла животрепещущая проблема отношения средств производства и производства предметов потребления накануне XX съезда КПСС. Высказывания кочетовских героев на этот счет вполне однозначны: «А то ведь всякое болтали...

дескать, настала пора, когда уже можно отдать предпочтение легкой промышленности, производству средств потребления, а не средств производства. Даже в печати статьи такого рода нет-нет, да и появлялись. Путали какие-то люди головы народу, свои домашние рассуждения выдавали за теоретические открытия, за политику партии». Секретари горкомов и обкомов кочетовских романов приводят доводы в пользу создания совнархозов, за насильственную культивацию кукурузы. Положительные герои, когда того требовала партия, призывали рубить дачные участки, «и рубить безжалостно». Рабочий Демешкин «выродился», по Кочетову, в хапугу и кулака только потому, что продавал на рынке... выращенные им яблоки, ягоды, цветы. Он задавал вопрос секретарю обкома Денисову: «Так куда же их девать?» – и получал ответ: «Просто столько не выращивать, чтобы не было товарных излишков. Самый простой путь».

Нет, не все писатели и в то время были послушными подручными партии. Были такие, кто не славословил, не кричал об «эффективности мер», а рискуя, пробовал разобраться, изучить действие тех или иных «рычагов». Увы, в их числе не было самостоятельно мыслящего (по Идашкину), честного и неподкупного Кочетова. Нет, не было его среди тех, кто шаг за шагом, отметая политическую трескотню, привлекал внимание к болезням села, не скрывал противоречий, а докапывался до их корней, упрямо и всему наперекор. В те самые годы, когда один за другим выходили «честные» романы Кочетова, прикрывавшие просчеты достижениями, убаюкивающие общественное мнение, «бесчестные» Валентин Овечкин, Ефим Дорош, другие «деревенщики» вызывали «огонь на себя». В романе Кочетова «Товарищ агроном» положительно прекрасный герой проповедует не хуже горьковского Луки: «Поискать – найдете колхоз с театром. С кино говорить не приходится. Поискать – найдете колхоз с филиалом научно-исследовательского института, колхоз с кандидатом сельскохозяйственных или биологических наук во главе..» И это в первые послевоенные годы! В деревне, кое-как начинавшей оправляться от разрухи. Разве что образцово-показушные хозяйства могли утешить мечтающих о богатой и культурной жизни колхозников Украины, Алтая, Кубани...

Чуть позже, в пятидесятом году, в романе «Журбины» жена рабочего Ильи, многочисленная семья которого, как и миллионы других, живет в старой халупе без ванны и водопровода, без газа и прочих удобств, тем не менее рассуждает: «Были бы мы завистливые, как некоторые, у нас не то что рояли, люстры бы в каждой комнате висели из хрусталя. А мы этого шику-блеску не любим. Нам давно велят в новую квартиру переезжать, за Варяжку. Отец не хочет, и дед против. Обжились, говорят, старого гнезда жалко. Не красна изба углами...» Мало того, Алексей, сын Журбина, только думал еще жениться, а завком выделяет ему одному отдельную квартиру из двух комнат, молодому-то, бессемейному. Нет, этот не стал отказываться, поехал в новый дом. И хотя с женитьбой не получилось, квартиру не отняли. Тут двойная неправда. По Кочетову получается, что людям строят жилья так много, что бери – не хочу. И это при жесточайшем жилищном кризисе, из которого страна не выбралась по сегодняшний день. На самом деле, порой

люди боялись бросать свои бараки потому, что рядом был огород, без которого семье не прокормиться. Многоэтажки разом ставили проблему: чем жить. Вот почему метались новоселы. Честный же, неподкупный взгляд Кочетова на людей, так свыкшихся с жизнью в свинарнике, что им (к восторгу романиста) другого не надо, вновь уводит читателя от суровой действительности к той самой «Большой правде», которая и возможна лишь при Большой лжи. А уж какая это ложь – намеренная, продуманная или от заблуждения, от нежелания вникнуть в происходящее, от фанатизма, – ей-Богу, не имеет значения.

В рамках «Большой правды» рушатся связи между героями, мотивы их поступков, обнажаются схемы-примитивы, в которых можно найти лишь две краски – черную и белую. И вся эта несваренная каша приправляется резонерством авторских отступлений от действия. В романы и повести введены, впрочем, полчища склочников, стяжателей, карьеристов, интриганов, дураков. С ними успешно борются умные, честные люди. Исход этой борьбы, понятно, предрешен. Впрочем, есть тут место и интеллигентам. Образы их написаны безо всякого сочувствия. Перед читателем проходит целая галерея отпетых мерзавцев из числа деятелей кино, театра, литературы, ученых, художников. Художественная интеллигенция сплошь поражена ревизионистскими настроениями.

Отрицательный герой – режиссер областного театра по фамилии Томашук борется за право постановки пьес, разоблачающих культ личности. Ему, однако, противостоит актер Гуляев, мечтающий играть героические характеры, ставить пьесы на трудовые и производственные темы. За счет добропорядочного Гуляева отрицательному Томашуку достаются все черты подонка, который, «даже будучи в гостях, преследовал под столом ногу любовницы Орлеанцева, да еще при этом смотрел на кого угодно, только не на нее». Достается и единомышленникам этого «барбоса» и «старого хамилы». Художница «вещала скрипучим голосом – будто терлась деревяшка о деревяшку, лицо у нее было несколько косоватое, поэтому личная жизнь вещуньи сложилась, видимо, тоже с перекосом, озлобило обладательницу деревянного голоса и этой лошадиной физиономии, такой желтой, будто сквозь поры кожи у нее проступают капельки желчи». Сполна получает и «несогласный» поэт Птушков. Этот «певец постельной лирики» несет идейное знамя: «Бомб нет, знамен нет, классов нет. Что же есть? Постель, обожательницы, коньяк...»

Для «сюжетной остроты» Кочетов вплетает в действие понятную его поколению романтику смерти и всяческих несчастий. Болезни, роковые страсти сотрясают судьбы героев кочетовских романов и повестей. Никак не может расстаться с агрономом Лаврентьевым любящая его врач Любовь Кирилловна. Лишь заболев крупозным воспалением легких, в тяжелейшем состоянии, она призывает к себе Лаврентьева, убеждается, что надеяться не на что, и уезжает навсегда. Лаврентьев же встречается со своей будущей женой Клавдией на лесной тропинке, когда та идет... с вывихнутой ногой. Сам Лаврентьев по воле романиста попадает на рога быку Бурану. С пробитой брюш-

ной полостью, поврежденным кишечником и сломанными ребрами шесть недель бредит агроном в областной больнице. А рядом с ним Клавдия. В другом городе медсестра Катя Пронина влюбляется в геолога Лаптева, которому после трагического взрыва природного газа где-то в горах Казахстана «опалило легкие раскаленным воздухом, обожгло веки и роговицу глаз». Андрей Ершов во время аварии на доменной печи получает серьезные ожоги и, больным, идет на свидание с Капой, где, падая без сил, решается ей сказать о своей любви.

Вот еще один роман с взрывом на химкомбинате. И здесь оглушенные и покалеченные Майя с Александром признаются в любви. А перед тем жена счастливого Александра попадает под такси, а мама Майи тонет в речке, брат же умирает от сильного воспаления легких. Роман «Молодость с нами» начинается с кровоизлияния в мозг жены директора института Колосова. Тут же фотокорреспондент спасает профессоршу и становится ее мужем. Секретарь райкома и его будущая жена встречаются в заводской поликлинике, куда Федор Иванович пришел, когда ему под веко попала острая железная соринка. И вот Аля Егозихина, извлекая соринку, становится фединой женой. Варин отец сильно разбился, упав на камни с баржи. У художника Козакова мама погибла от взрыва примуса. Загорелось платье, ее всю обожгло, и она умерла после трех недель страшных мучений. Отец запил и однажды зимой, заснув в сугробе, схватил такое воспаление легких, что вылечить его уже не могли. Романтика смерти требовалась, чтобы поддержать сюжет.

Впрочем, не стоило бы так подробно разбирать произведения Кочетова – время уже определило их место на книжной полке, приговорило к безвестности, – если бы не попытка Идашкина представить автора «Чего же ты хочешь?» как жертву, а не как творца времен застоя, жертву, которую третировали официальные власти. Правда же состоит в том, что один из последних романов Кочетова сделал его имя нарицательным среди молодежи и интеллигенции.

Проблема «отцов и детей», как и проблема положительного героя, всегда была животрепещущей для русских литераторов. Тургенев, скажем, представил в литературе тип «нигилиста», которому не симпатизировал. Но, встав у истоков разлада между поколениями, того разлада, от которого, по выражению Д. Писарева, часто гибнут молодые жизни и от которого постоянно кряхтят и охают старички и старушки, не успевающие обработать на свою колодку понятия и поступки своих сыновей и дочерей, Тургенев увидел в нигилистах черты положительного вопреки непривлекательности их идей, неприемлемости их философии. Чутье художника чудесным образом помогло Тургеневу преодолеть соблазн оклеветать нарождавшееся поколение. Тем и определены были успех и живучесть «Отцов и детей». Роман, написанный по горячим следам, дал основания Писареву восхищаться именно художественной отделкой: «Характеры и положения, сцены и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный

отрицатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение, которого не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительной верностью основных идей». И еще: «Автор сам не отдает себе отчета в своих чувствах, не подвергает их анализу, не становится к ним в критические отношения».

«Чего же ты хочешь?» Кочетов тоже писал по горячим следам событий, но сразу вынес в название вопрос-упрек новому поколению и запричитал совсем как те «старички и старушки». Впрочем, и тут настоящий художник, будь у него честные намерения, мог бы поставить вопрос и отойти в сторону. Взамен ответа читатель с благодарностью принял бы художественную картинку, раскрывающую жизненную правду. Но тут уж наша застарелая болезнь – давать ответы на все вопросы. Собственно, и читатель ждет, ищет в литературе именно ответов. Не потому ли очередной положительно прекрасный писатель в романе заявляет: «Пусть мои романы гибнут в бою, как рядовые. Лишь бы сражались». Поспешив с ответом, Кочетов смирился, видимо, что его романы погибнут, но надеялся, что они послужат «идее»! Не сумев овладеть материалом, не переварив его, он по сути скрыл внутренние мотивы поступков нарождавшегося поколения. И вот уже вместо художественных картинок мы снова видим схемки и обрывки голых идей, обывательских суждений о молодежи, окрашенных слепой неприязнью ко всякого рода вольным раздумьям, поискам и отклонениям от «р-р-революционных традиций». Ату их, разрушителей «идей», и все тут!..

Видимо, все-таки Кочетов подозревал в себе плохого писателя. Но тогда тем более нет повода говорить о его порядочности и чистоте намерений. В рассуждениях народного писателя Булатова, представленного в романе, много здравых суждений: «То, что пишут он и ему подобные, не литература, а просто... агитки за Советскую власть. Критерий таков: за Советскую власть? Хорошо! Не за Советскую власть? Плохо! Вот и вся "эстетика". Так подлинно художественное никогда не создавалось, не создается и не может быть создано».

Так что же, Кочетов все же рассуждал не на свой, а на чей-то счет подобным образом? Тогда остается напомнить его запоздалому защитнику слова Белинского, которые были отнесены к прозаику К. Баранову, опубликовавшему бездарный роман: «...это человек, просто обманывающийся насчет своего призвания... Как можно не понимать того, что творчество есть удел немногих избранных, а не всякого, кто только умеет читать и писать... как можно так смело и безбоязненно отдавать свое имя на позор...»

Нет-нет, не обязательно «выразитель дум и чаяний» должен стоять на передовых позициях. Талантливый художник, субъективно поддерживающий реакционные тенденции, – не такая уж редкость. И не потому мы отказываем Кочетову-литератору в порядочности, что не выражал того-то и того-то, что не «заметил», не «понял» и не «распознал». А потому, что последний напечатанный при жизни роман Кочетова утверждал еще более «правые» взгляды, чем того хотели вожди «застойной» эпохи. Роман слишком уж ссорил этих вождей с некоторыми руководителями братских компар-

тий. И партия поспешила отмежеваться от своего литератора. Сам же Кочетов никогда не отклонялся от линии партии. Наоборот, он всегда подгонял свои произведения под генеральную линию. И лишь раз забежал вперед справа, за что слегка поплатился – роман «Чего же ты хочешь?» издали не в центре, а в Белоруссии. Говорить же о каких-то гонениях на Кочетова в те времена оснований ровно столько, сколько утверждать, что Кочетов был исполнен благих намерений к литературным противникам, что он воздерживался и уклонялся от подписания писем. Для литературного «генерала» это была мышиная возня, в которой он мог позволить себе не участвовать.

Настоящий Кочетов со своей системой взглядов – в его произведениях. Здесь реализовывались литературные претензии воинствующей посредственности – впрочем, как и в руководстве журналом и направлением, которого он не оставлял до самой смерти. В погоне за «Большой правдой» человек, выдававший себя за писателя, был слеп к жизненной правде, глух к художественному слогу. Он был зрячим лишь на партийную точку зрения. Он желал одного – быть писателем всем чертям назло, выпускать свои романы. А выпускать их беспрепятственно можно было лишь будучи у руля. Оттого и не оставлял подлого направления.

Кочетов и журнал «Октябрь» тех лет в истории советской журналистики – одно позорное имя, ибо журнал таков, каков его редактор. И наоборот. Потому о личной порядочности говорить в высшей степени неуместно. Тут надо говорить по меньшей мере о соучастии.

Эдуард Гурвич

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы готовы напечатать и любое иное мнение по поводу статьи Юрия Идашкина «Всеволод Кочетов, каким я его знал», опубликованной в №63 нашего журнала.

Уважаемый г-н редактор журнала «Континент» В. Максимов!

Проживая в Советском Союзе, мы длительное время были оторваны от русского зарубежья. По крайней мере, это явление наблюдалось до недавнего времени. Скажем так, не имели доступа к литературе эмиграции. Желая восполнить свой пробел, я хотел бы уточнить у Вас следующее:

1) Могу ли я подписаться на Ваш журнал?

2) Какова периодичность журнала?

3) Какова стоимость журнала?

Хотелось бы также узнать, где можно приобрести Ваш роман о Колчаке?

Если Вас не затруднит, прошу направить ответ на мой адрес:

349306, Луганская область, г. Кр асный Луч, ул. Красноармейская, 17-А.

С уважением

Александр Дейнега

Уважаемая госпожа Полторацкая!

Написала Вам тут же ответ, как Господь на душу положил. Но потом множество мыслей, беспокоящих меня, крутились в голове, и я решила написать поподробнее. Но по истечении некоторого времени подумала, что это все же письмо, а не статья, и нечего так подробно там пояснять свои мысли и чувства. Поэтому извините меня за задержку, но я решила послать то первое, с ходу написанное короткое письмо.

Благодарю Вас за подробное письмо, отвечающее в некоторой степени на мою обеспокоенность нынешней ситуацией вообще и в частности с «Континентом».

Чтобы Вам было яснее, придется сделать небольшой экскурс в прошлое. Дело в том, что хоть я и ваша недавняя подписчица (по не зависящим от меня обстоятельствам), но давняя читательница. Не будем вдаваться в подробности, они похожи у многих – у одних больше, у иных меньше. И как раз в то время, когда я добралась до возможности подписки на «Континент» (а это лучший журнал зарубежья), меня очень обеспокоило и огорчило предложение Москвы и, как я полагала, «добро» Владимира Емельяновича.

Конечно, я понимаю и резоны членов редколлегии, и желание каждого русского писателя или издателя, чтобы его книги дошли нормальным путем до читателя, чтобы не «перебиваться», как до сих пор было, тайной передачей на сутки-двое самиздатом... Но я не верю и никогда не поверю партаппаратчикам вроде Горбачева до конца! И я боюсь, всегда боюсь, что за это придется крупно платить – хочешь того или не хочешь. Обстоятельства заставят... Я боюсь, таким образом, что любая договоренность будет обязывать журнал к непредсказуемым шагам. Эйфория здесь не лучший советчик – точно так же, как и желание контактов и так называемое «новое мышление». Хотя, слов нет, в отношении гласности (увы, далеко не полной) стало несравненно лучше.

Советский читатель уже давно понял, что то, что ему сейчас «открывают», уже давным-давно известно на Западе. Очень многие слушали много лет зарубежные радиостанции, и, несмотря на мощные глушения, многое люди знали. Конечно, определенный слой. Но ведь и московское издание журнала тоже не может быть рассчитано на очень широкого читателя. У них там что ни день происходят события, одно лучше и интереснее другого, и это освещает неплохо некоторая советская пресса. Люди там оглушены, и ту, даже не полную, гласность еще не скоро широкая публика «переварит». А те, кто слушал радиостанции, рассказывал это другим... Так что кто хотел верить, а не изображать патриота ложного – знали и ждали нынешнего часа и всех нынешних событий. Или почти всех.

Конечно, очень престижно печатать и продавать «Континент» в России. Но мне кажется, что должны быть не выпуски последних лет, а с обозначенным годом выпуска именно старые номера.

Я бы еще прибавила, что материал нужно не просто перепечатывать, а те, кто будет этим заниматься, должны его комментировать именно в том направлении, о котором Вы пишете. И номера должны быть выборочными. Может быть, тогда этот «альянс» себя и оправдает.

Письмо это к Вам лично, это мой ответ на Ваше любезное послание. Но если Вы или кто-нибудь в редакции найдете полезным его опубликовать - можете распоряжаться этим письмом как своей собственностью, что и есть на самом деле.

С наилучшими пожеланиями Вам лично и любимому «Континенту».

Серафима Михайловна Юрьева

5 августа 1990

В «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО» И «КОНТИНЕНТ»

Уважаемая редакция!

Статья И. Суслова и С. Резника «Наш контингент» («НРС» от 19 июля 1990 года) удивляет своей предвзятостью к Владимиру Максимову, писателю, который достаточно долго и хорошо известные большинству из нас как борец против тоталитаризма. Может ли кто-либо из нас положа руку на сердце упрекнуть Максимова или «Континент» в антисемитизме? Думаю, что честный и психически здоровый человек этого сделать не в состоянии.

Статья основана на утверждении Максимова, что антисемитская «Память» не пользуется поддержкой большинства населения. Опровергая это, авторы приводят статистику из «Московских новостей», согласно которой более четверти населения СССР негативно относятся к евреям.

Во-первых, эта статистика верна не только для СССР. Изучая документы социологических исследований США семидесятых, я нашел примерно те же цифры. Изменилось ли отношение американцев к евреям за последнее десятилетие? Боюсь, что не в лучшую сторону. Но в Америке, в отличие от СССР, евреи и другие национальные меньшинства охраняются законом. В этом и есть суть проблемы жизнеспособности «Памяти» и других неонацистских групп Советского Союза.

Во-вторых, позиция Максимова может быть достаточно легко объяснена чисто психологически. Помню, как в прошлом году в Париже мы обсуждали с Владимиром Емельяновичем разные аспекты жизни в Союзе. Никогда не забуду, как изменился его голос, когда разговор зашел о «Памяти».

Чтобы понять чувства Максимова, не нужно быть гением. Этот русский и верующий человек глубоко переживает сам факт существования «Памяти». Ему так же больно слышать об антисемитизме в России, как больно было грузинам, когда начался массовый исход евреев из Грузии, страны, не знающей погромов, как больно еврею, когда его народ, вписавший незабываемые страницы в историю русской культуры, сегодня кто-то пытается обвинить в ее разрушении и русофобии.

И уж совсем непонятны намеки авторов на сотрудничество Максимова с черносотенцами. «Есть, например, писатель Максимов и писатель Рас-

путин, – пишут Суслов и Резник. - Один из журнала "Наш современник", а другой - из журнала "Континент". Правда, что-то неуловимо и неумолимо сближает их в последнее время». Прочтя это, я достал последнюю, 63-ю, книжку «Континента». Из 23-х авторов девять с типично еврейскими фамилиями!!! Побольше бы таких антисемитских журналов.

Макс Ройз
главный редактор канадского еженедельника «Наша газета» и политический обозреватель «The Ottawa Sun»

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Не так давно Вы обратились к читателям «Континента» с предложением высказать свое мнение о возможном издании «Континента» в России. Я и читатель «Континента», и один из его авторов. Поэтому я решаюсь высказать Вам свое предположительное мнение по этому вопросу.

Конечно, никто не может знать, как Вы, ни положения, ни перспектив журнала, тем более, что Вы побывали и в Союзе. Но я пристально слежу за происходящим там, и у меня сложилось следующее впечатление: было бы, конечно, очень большим достижением тиражировать и распространять журнал и в СССР, но основную редакцию и издание некоего количественного ядра тиража каждого номера, на мой взгляд, предпочтительно оставить в Париже.

Вы сами и в Москве, и по возвращении несколько раз отметили далеко не полную предсказуемость последующего разворота событий внутри страны. Не исключено, что «Континент» снова будет играть свою многолетнюю роль наиболее представительной трибуны свободного русского слова, если события в СССР потекут не так, как нам хотелось бы. Поэтому, повторяю, мне видится наиболее целесообразным тиражирующий филиал в Москве с прежним редакционно-издательским центром в Париже, если для этого есть финансовая возможность.

Вот всё, что я считаю своим долгом Вам высказать.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Дора Штурман

23.7.1990

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Дорогой Владимир Емельянович!

В №64 «Континента» была опубликована большая статья Льва Наврозова «Стремление Кремля к мировому господству и его глобальная страте-

гия». Опуская доказательства автора по существу затронутой им темы, остановлюсь на ряде сомнительных и совершенно неверных его утверждений.

1. Л. Наврозов трижды утверждает победу Советского Союза в Афганистане. Так, он пишет: «Покорение Гиндукуша, одна из самых эффективных военных операций в истории войн» (с. 228). И далее: «Одна из причин, почему советская империя выиграла войну в Афганистане, – неприхотливость советского населения, и следовательно – советских солдат...» (с. 238). И наконец, еще дальше: «Не проиграли ли США войну во Вьетнаме, а советская империя войну в Афганистане выиграла?» Победой автор считает якобы устойчивый просоветский режим в Кабуле, игнорируя при этом, что до предела вооруженная Советская армия за 9 лет боев не смогла справиться и победить разрозненные группы и отряды афганского Сопротивления, и потому, как и по ряду других обстоятельств, с позором вышла из войны и убралась из Афганистана, потеряв тысячи убитыми и искалеченными, не говоря о потерянных в этой проигранной войне миллиардах рублей. К тому же Л. Наврозов умалчивает и о главном: ожесточенные бои между армией просоветского кабульского режима и афганским Сопротивлением продолжаются, и определяемая Л. Наврозовым «устойчивость» просоветского режима в Кабуле не только сомнительна, но и само его существование стоит под угрозой.

2. Говоря о «финляндизации» Запада, Наврозов в сноске на стр. 248 пишет: «...триумвиры располагались в таком порядке: Ленин, Троцкий, а потом Сталин, наименее из них троих бесчеловечный». Не стоит говорить о человечности двух первых, организовавших ЧК, «красный террор» в годы гражданской войны. Но разве все это может идти в сравнение с бесчеловечным террором Сталина в 30-е годы, созданием им искусственно голода, уничтожением миллионов русских крестьян при т.н. коллективизации, да и террора в послевоенные годы, во время которого расстреливались тысячи людей, а миллионы отправлялись в архипелаг ГУЛАГ. Вряд ли кто-нибудь сегодня в мире может отрицать, что наиболее бесчеловечным из всех диктаторов в истории человечества был именно Сталин. Это стало аксиомой.

3. По поводу создания в США первой атомной бомбы, план разработки которой являлся секретнейшим из секретных, под кодовым наименованием «Манхэттенский проект», к которому был допущен ограниченный круг ученых (Оппенгеймер, Теллер, немец фон Браун и другие). Мог ли в этом проекте участвовать русский эмигрант Георгий Гамов, как об этом пишет Наврозов? Весьма сомнительно, хотя бы уже потому, что теперь, спустя более 45 лет, когда все участники «Манхэттенского проекта» стали известны, имя русского эмигранта Гамова нигде, насколько известно, не фигурирует.

4. О таком пассаже Л. Наврозова: «Сталин... аннексировал Молдавию и Западную Украину до войны». Если автор ведет речь о 2-й Мировой войне, то в Западную Украину Красная армия вступила 17 сентября 1939 года, т.е. полмесяца спустя после начала 2-й Мировой войны, а в Бессарабию вступила в 1940 году, когда костер 2-й Мировой войны уже пылал в половине Европы. Если автор имел в виду войну между Германией и Советским Союзом,

следовало бы это оговорить и сослаться на секретный протокол Молотова–Риббентропа от августа 1939 года о разделе сфер влияния.

5. Далее в статье Л. Наврозова о всё той же финляндизации, теперь уже Германии, читаем: «А в 1990 году переговоры идут, и на эти переговоры окажет решающее влияние население Германии, большинство которого, возможно, готово последовать примеру Финляндии, Австрии, Швеции и Швейцарии, то есть "нейтральных стран", процветающих под дулом советского револьвера» (с. 253). Здесь Наврозов сразу делает, мягко выражаясь, две грубейшие ошибки. Судя по его словам, статья им писалась в феврале 1990 года, т.е. спустя полгода после начавшейся революции в ГДР снизу, когда на ее объединение с ФРГ Москва давно высказала свое «добро». Весь вопрос тогда упирался (в феврале 1990) в членство объединенной Германии в НАТО. Л. Наврозову должно быть известно, как после разрушения Берлинской стены желание 16 миллионов восточных немцев воссоединиться с ФРГ выражалось в массовых манифестациях и митингах, и ни о каком компромиссе, в том числе и о нейтралитете объединенной Германии, не могло быть и речи. Мало того. Публикующемуся в американской прессе Л. Наврозову должно быть известно и заявление канцлера ФРГ Гельмута Коля, сделанное им еще в январе 1990 года и поддержанное правительствами Англии, США и Франции: «Объединенная Германия желает стать стабилизирующим фактором в центре Европы, а ее нейтралитет вызовет только лишь дестабилизацию». Это заявление Коля публиковалось во всей мировой прессе и не могло быть неизвестным Л. Наврозову. По всему видно, что упомянутые факты он умышленно игнорирует, чтобы найти какое-то еще подтверждение для своих неверных посылок.

Не говоря об Австрии, Швеции; а о Швейцарии становится смешно, когда ее нейтралитет автор берет в кавычки. С каких это пор, как пишет Наврозов, Швейцария «находится под дулом советского револьвера»? Традиционный нейтралитета Швейцарии получил мировое признание. Сегодня в ней расположены многочисленные международные организации, включая и филиалы ООН. Нейтралитет Швейцарии при захвате почти всей Европы не посмел нарушить даже Гитлер. Мало того, Швейцария традиционно предоставляет убежище всем политэмигрантам, начиная с большевиков во главе с Лениным, кончая бывшими советскими диссидентами сегодня, как и невозвращенцами, более сотни которых без всякого страха и какого-либо риска живут сегодня в Швейцарии. Стали бы они оставаться в ней, если бы она находилась, по Л. Наврозову, «под дулом советского револьвера». Среди них шахматист Корчной, врач Корягин, писатель Краснов-Левитин, пианист Ашкенази и многие другие. Вообще по поводу сказанного Наврозовым о Швейцарии становится как-то неудобно за него. Интерес Советского Союза к Швейцарии ограничивается лишь ежегодной в ней продажей от 18 до 20 тонн золота в слитках, чтобы покрыть свои долги Западу и что-нибудь еще прикупить. Не буду подробно останавливаться на Швеции, которая тысячам граждан прибалтийских республик предоставила убежище еще в годы войны и продолжает предоставлять это убежище тысячам политических беженцев из стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

6. Говоря о военном перевороте в Румынии, Наврозов пишет: «О нем было известно Кремлю за шесть месяцев до него». И в сноске: «Относительно чего имеются неопровержимые документальные данные» (с. 253). Из уважения к читателям «Континента» надо бы все же автору привести эти данные (если они имеются в его распоряжении). Иначе это заявление выглядит явно голословным. И последнее.

7. О КАМАЗе Л. Наврозов пишет: «Разве грузовики самого большого в мире завода, производящего дизельные моторы и построенного крупной буржуазией США на Каме, не внесли свою лепту в покорение дикого Афганистана?» (с. 255; опять, уже в четвертый раз, по Наврозову, Афганистан уже покорен!) Здесь он делает сразу два ляпсуса. Первый: все оборудование автозавода в Набережных Челнах поставлено и монтировано не американскими автоконцернами или «крупной буржуазией США», а совместно французскими автоконцернами «Ситроэн», «Рено» и «Пежо» с участием итальянского автоконцерна «Фиат». Второй ляпсус автора: КАМАЗ вовсе не является «самым крупным в мире автозаводом по производству дизельных моторов». Крупнейший в ФРГ и Европе автоконцерн «Даймлер-Бенц» ежегодно выпускает 550 тысяч грузовиков с дизельными моторами, а такое количество КАМАЗу никогда даже не снилось. (Попутно замечу, что в 1989 году Советский Союз произвел 1,2 миллиона автомобилей всех моделей, а в ФРГ было произведено 5,5 миллиона.) Но эти ляпсусы автора можно списать за счет дезинформации советской прессы о т.н. «стройке века на Каме» в бытность Наврозова еще в Москве.

В заключение несколько слов о нескромности автора статьи. За частыми ссылками на свои же публикации в прессе следует типичное самовосхваление, что он «еженедельно публикует три колонки в прессе США», что «замечательно умная американка, которая взяла у меня интервью по радио...» Затем вклинивается похвала своему сыну, который перевел Пастернака лучше, чем не знающий русского языка какой-то английский автор-переводчик. Подобное самовосхваление не приносит лавров автору статьи. Касаясь столь серьезной политической темы, как глобальная стратегия Кремля, Л. Наврозов примешивает сюда и русофобию и антисемитизм. Причем делает это весьма примитивно, посвящая читателя в спор своих родителей, русского отца и еврейку мать, какое имя дать, русское или еврейское, новорожденному Льву Наврозову. Все подобные смешения умаляют достоинства статьи автора и оставляют о ней несерьезное впечатление. Возможно, подобный стиль мешанины подходит для среднего американца, для которого Л. Наврозов пишет по три колонки еженедельно, но для читателя одного из лучших и серьезных журналов русского Зарубежья, каким является «Континент», этот стиль явно непригоден.

С уважением,

Семен Бадаш
Федеративная Республика Германия

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам кажется, что в письме С. Бадаша эмоции преобладают над убедительностью доказательств. Попробуем ответить автору по его же пунктам.

1. Практически все западные обозреватели предсказывали падение кабульского режима чуть ли не через двадцать четыре часа после вывода советских войск из Афганистана. Увы, пока этого не произошло, хотя со дня вывода этих войск идет второй год. Так что о поражении просоветского Афганистана говорить рановато.

2. Мы не думаем, что двое первых в чем-то отличаются от третьего, но последний хотя бы, в отличие от своих предшественников, придал террористическому беспределу большевиков внешне законную форму.

3. Участие Георгия Гамова в Манхэттенском проекте общеизвестно. Отсутствие соответствующей информации у автора – еще не доказательство его правоты.

4. Разумеется, Л. Наврозов имел в виду начало 2-й Мировой войны для СССР, поэтому упрек в его адрес со стороны автора письма представляется нам эмоциональной натяжкой.

5. Автор живет в Германии, и ему, как никому другому, известно, что немецкие социал-демократы всегда выступали за объединение Германии на основе ее нейтрализации. Давайте зададимся вопросом: что будет с современной Германией, если, придя на очередных выборах к власти, эта партия проведет свой замысел в жизнь? Что же касается нейтралитета Швейцарии, то ее нейтралитет в годы 2-й Мировой войны, когда решалась судьба демократической цивилизации, когда гибли миллионы людей, а шесть миллионов из них были отправлены в газовые камеры, выглядит сегодня с чисто моральной точки зрения более чем сомнительным: Да и что осталось бы от нейтралитета Швейцарии, если бы Гитлер победил? То же самое можно сказать и о предоставлении ею убежища политическим беженцам. Такое убежище, к сожалению, получают в этой стране только наиболее знаменитые из них, что лишь служит украшением ее международной репутации. Но общеизвестна позорная роль правительства этой страны, выдавшей Сталину в с е 1 0 0 п р о ц е н т о в советских беженцев после 2-й Мировой войны и его столь же позорная роль по отношению к оказавшимся на территории Швейцарии советским военнопленным в Афганистане: ни одному из них, кроме тех, кто женился на швейцарках, так и не было предоставлено политическое убежище.

7. На наш взгляд, не так важно, какая именно фирма поставляла оборудование этим советским предприятиям, а важно, что поставки эти осуществлены фирмами демократического Запада.

В связи со всем вышеизложенным мы никак не можем согласиться с пафосом автора письма в редакцию.

ХОЧЕШЬ ЯБЛОКА НОЧНОГО?..

Эта книга с печальной обложкой – словно бы кто-то заглянул – снаружи ли, изнутри – в странное окно, в одном из половинок которого – полная луна, а в другом – какое-то хаотическое нагромождение вещей, угол разбитой картины, спинка кровати, паук, свисающий над полупогасшим семисвечником. Эта книга – «Две короткие пьесы» Олега Юрьева – совсем недавно вышла в Ленинграде.

Две пьесы, представленные в сборнике, и в самом деле вполне короткие. Одна из них, «Мириам», определена автором как «народная комедия», другая, «Песенка песенок», – как «представление в одном явлении».

Сразу оговорюсь, что реальная подоплека, историко-бытовой материал, который присутствует в обеих этих пьесах (действие «Мириам» происходит в еврейском местечке во время гражданской войны, действие «Песенки песенок» – во время 2-й мировой) отнюдь не является для автора предметом серьезного исследования. Это скоре «условно-исторический фон», как он сам определяет фон действия «Мириам».

Сюжет этой пьесы выполняет, пожалуй, чисто прикладную, структурную задачу, задачу организации замкнутого пространства драмы, помогающую понять ее высокий смысл.

Три героя – Офицер, Атаман, Краском – по очереди попадают в дом Мириам (через ее местечко проходят одна за другой белая, зеленая, красная армии). Каждый из них домогается Мириам, но тщетно; в самый, казалось бы, ужасный момент, когда героине уже угрожают оружием, за окном слышатся выстрелы, крики, конский топот – приближается новая армия. Недавний герой мечется в страхе, Мириам прячет его в шкаф.

В конце пьесы, когда в этом шкафу сидят уже трое, на местечко наступает некая новая армия. Какая? Важно ли это? С точки зрения историко-бытовой – может быть. Но к пониманию пьесы это явно ничего не прибавляет.

Ибо в противном случае «Мириам» будет прочитана если не как анекдот, то по меньшей мере как история из жизни еврейского местечка времен гражданской войны. Пьесы на эту тему известны, к ним привыкли и театры, и зритель, и читатель. И, кстати, при таком прочтении отношение к пьесе и ее персонажам будет иметь характер оценки: главная героиня – явно положительная, а трое остальных героев – явно отрицательные. Тогда как оце-

---

Олег Юрьев. Две короткие пьесы. Л., 1990.

нивать их как-либо – с исторических, социальных, национальных позиций – представляется неуместным. И исторический, и поверхностно-этнографический интерес тут явно ни при чем. Пьеса, как я уже сказала, не об этом.

Сюжет «Мириам» прост и бесхитростен, но вещь эта исполнена тайны. И это главное ощущение от нее.

В чем же тайна? В том, во-первых, что трое действующих лиц пьесы – Офицер, Атаман и Красном – на первый взгляд суть лица более живые, конкретные, более действующие. Мириам – опять же на первый взгляд – лицо скорее пассивное.

Но тонкость заключается в том, что, не совершая решительно никаких поступков, а только защищаясь, выскальзывая, отбиваясь, изворачиваясь, то есть производя впечатление лица страдательного, а отнюдь не действительного, героиня по сути – единственное одушевленное лицо в пьесе.

Ведь эти трое – только знаки экзистенциальной безвыходности, постоянного повторения бессмыслицы, напоминающей героев Беккета или Ионеско. Это куклы, которых, когда они сыграют свои роли, можно запихнуть в пыльный шкаф.

Очевидно, этот гротеск нужен автору, чтобы подчеркнуть, зафиксировать духовное, человеческое, даже, может быть, божественное в героине.

Пьеса начинается с того, что Мириам рассказывает сказку своему засыпающему ребенку. В конце пьесы выясняется, что сына убили еще вчера утром.

Может быть, именно этот убитый ребенок и есть главнвый герой пьесы. Может быть, именно его смерть есть знак победившего хаоса, торжества возбужденной кукольной толпы.

Эта авторская недоговоренность, исполненная высокого такта, есть, по-моему, главная удача пьесы, которая сообщает ей новый смысл, словно бы уводя в другой, более значительный план, в иное пространство.

Стихотворение, читаемое под занавес, в самом конце пьесы, – стилистически почти детское, нарочито наивное, но страшное стихотворение о мире перевернутой действительности, где поменялись местами верх и низ, живое и неживое, о мире с выдышанным воздухом, о мире, где много чего есть и нет самого важного.

...Дождь идет по ветхим кронам;
Конь стоит по-над рекой;
Лён идет полком зелёным;
Конь стоит по-над рекой.

Стол идет на все четыре;
Конь стоит по-над рекой;
Стул шагает по квартире;
Конь стоит по-над рекой...

Чьими глазами увидено все это? И читателю, и зрителю – в силу их фантазии, образованности, иных возможностей восприятия – предстоит строить свои версии.

Надо сказать, что неожиданные концовки, при которых всегда меняется ракурс, происходит выход в другой план, и впечатление от действия становится несколько иным, как бы приподнятым над прежним, словно взгляд обращен сверху, – это излюбленный прием Олега Юрьева.

В целом этот прием характерен скорее для поэзии, чем для драматургии, – тем необычнее и ярче он проявляется в этих пьесах.

Действие «Песенки песенок», «представления в одном акте», происходит, как я уже сказала, во время последней войны. Эта пьеса тоже предельно лаконична, в ней действуют всего два персонажа – Женя и Митя.

В том, кто же это такие, что свело два эти «человеческие существа» в подвале школы в еврейском местечке под Минском, мы пытаемся разобраться в течение всего действия. Здесь реальный план более сложен и прихотлив, и мы с состраданием и жалостью следим собственно за тем, что же привело наших героев в этот злополучный подвал, что случилось им пережить, что, возможно, ожидает их после.

Но суть дела в том, что внимаем и сострадаем мы не только реальному мальчику Жене Когану и его сводной сестре Суламифи, детям репрессированного, только что погибшего на войне отца. Неспроста звучат в этой пьесе контрапунктом мотивы соломоновой «Песни песней».

То блеснет во тьме подвала пушкинская гипсовая маска, а Митя вспомнит библейские стихи Пушкина: «Вертоград моей сестры, вертоград уединенный...» То откупоривает Митя спрятанное после выпускного бала шампанское, а в руках у Жени появляется большое яблоко... «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоком, ибо я изнемогаю от любви...»

Вчитываешься в «Песенку песенок», и вспоминаются мандельштамовские строки:

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму...

...Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Зарасничная страна, –
Там ты будешь мне жена...

Но всё перевернуто с ног на голову в этом мире, в мире, где никто никому не верит, где брат не знает сестры и принимает ее за немецкого шпиона, где что только не доведено до абсурда: даже яблоко, «такое большое и

круглое, что почти кубическое», даже дневной свет, «такой белый, что синий».

В пьесе, со всей ее изысканной аллюзивностью, создается тонкий психологический рисунок – не только из реплик, рассказов, недомолвок, но и из пауз.

Эти паузы создают некий воздух, держащий сложное и хрупкое строение пьесы, все примиряющий и собирающий в ней всеедино: пафос и иронию, отчаяние и мудрость, простодушие и трагизм.

История, уже воспринимаемая как миф, как бы воплощается сейчас, в некий момент, а потом снова распадается. Кто эти старик и старуха, увиденные нами в самом конце драмы, в полосе дневного света, озаряющего сцену, – «такого белого, что синего»? Сколько лет они были в этом подвале? Да и что это за подвал? Не есть ли он символ укрытия от этой страшной жизни, от хаоса, воцарившегося еще в первой пьесе – в «Мириам»?

В «Песенке песенок» речь, конечно, о любви. И о том, что живая душа, со всей ее тысячелетней древней памятью, – в силах победить мировое зло.

То, о чем размышляет Олег Юрьев, чего он касается в своих пьесах, суть вещи значительные и труднодоступные для воспроизведения. Но именно эта его способность говорить просто о самых сложных вещах, сохраняя при этом естественную напряженность, легкость и своеобразие интонации, сообщают его драматургии абсолютно свой, высокий, таинственный свет.

Светлана Иванова
Ленинград

ДЕМОКРАТИЯ! ДЕМОКРАТИЯ?

Несколько лет назад, размышляя о творчестве Достоевского, И. Бродский писал: «Если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем следовало бы признать первым сюрреалистом. Я говорю первым, несмотря на Кафку, ибо сюрреализм – отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства, продукт психологии тупика».

Иосиф Бродский. «Демократия!» – «Континент» №62. Отдельное издание на русском и французском языке (перевод Вероники Шильц) – «Демократия!» («Democratie!»), Ed. A DIE, 1990.

«Форма философского бешенства, продукт философии тупика». Не эта ли формула, между прочим, определяет характер новой пьесы самого И. Бродского – произведения, соединившего в себе элементы реализма и фикции, тонкой игры слов и казенных штампов, глубоких размышлений о государстве и обществе наряду с плоскими репликами героев, чей культурный кругозор не выходит за рамки ликбеза и определяется как бы инстинктами политических неандертальцев?

Графическое изображение слова не всегда эквивалентно тому смыслу, который придает или хочет придать ему автор. Именно поэтому, прекрасно чувствуя такую языковую «недоустроенность», поставив восклицательный знак после «всемогущего» термина – назвав одноактную пьесу «Демократия!», – И. Бродский, как мне представляется, уже этой интонационной деталью (некая плакатность здесь также налицо) выразил к нему свое отношение. Ирония же, переходящая то и дело в сарказм – именно она, естественно, имеется в виду, – пронизывает все произведение, действие которого происходит в одном из европейских уголков современной коммунистической империи, переживающей катаклизм, характер которого весьма ясно передает одно из действующих лиц: «Демократия вводится – танки выводятся».

Пьеса «Демократия!» не рассчитана на внешние эффекты – ни на сцене, на за кулисами, например, нет массовок, пений, выстрелов и т.п. (эпоха «Дней Турбиных», «Оптимистической трагедии» и «Десяти дней, которые потрясли мир», приказала долго жить). Глубоко философская, даже несколько камерная вещь с элементами, присущими памфлету, в сценическом плане она представляется мне связанной с классикой: с одной стороны, с «Ревизором» (прочитанным и понятом в контексте сегодняшнего дня, где, допустим, роль Хлестакова могла быть поручена «госпоже Демократии»), с другой – тяготеющая к моделям театра Эжена Ионеско, Вацлава Гавела, в еще большей степени, может быть, Сэмюэля Беккета.

Трудно провести в ней водораздел между наивным и серьезным, между смехом и слезами. Горько-смешны имена действующих лиц: глава небольшого социалистического государства – Базиль Модестович, министр внутренних дел и юстиции (поистине замечательное совмещение) – Петрович, министр финансов – Густав Адольфович, министр культуры – Цецилия (для нее не нашлось даже отчества, и данное имя скорее похоже на кличку, подходящую для уличной девки), секретарша – Матильда...

Что мы знаем об этих людях? Из их реплик, клочковатых разговоров нетрудно понять, что прежде всего перед нами существа убогие духовно, всю жизнь привыкшие служить тому или иному режиму, а коммунистическому или фашистскому – не принципиально. Если же в кабинете, где они находятся, стоит чучело медведя, на которое они по привычке, выработанной за несколько десятилетий, оглядываются, – нетрудно догадаться о нынешнем хозяине. Впрочем, духовная убогость не является помехой этому групповому «мозгу государства», откуда «шесть часов поездом – и Чехословакия. Либо Венгрия» – автор намеренно избегает точных указаний на этот счет, тем

самым еще больше обобщая портрет и географию действующих лиц – они великолепно ориентируются в кулинарных делах, знают толк в качестве наручников (предпочитая американское производство отечественному), превосходно владеют искусством демагогии.

Впрочем, при всем своем презрительном отношении к этим персонажам автор не опускается до роли обвинителя или моралиста. Нет у него, допустим, даже намека на гнев такого типа, что когда-то был сформулирован известным поэтом: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Эта фраза как-то невольно всплывает, когда начинаешь знакомство с текстом пьесы, то есть с этого диалога:

Ничего рябчик, а?
Рябчик что надо.
Главное, подлива.
Подлива замечательная. Это в ней что? икра?
Ага, подлива с икрой. Астраханская, что ли?
Гурьевская.
Гурьев-Гурьев-Гурьев... Это где у них? В Европе или в Азии?
На Урале. Пиво у них там хорошее. Молодое. Ноги вяжет, особенно летом.
Рябчик тоже, между прочим, из Сальских степей.

Итак, жратва. Рассуждения на тему «они» и «мы» становятся фоном и одновременно камертоном пьесы. Скучновато... И вдруг:

Одно слово – Евразия.
Лучше Азеопа. Учитывая соотношение.

Это уже другой уровень юмора. Слышится Бродский... Как веселящийся от сцены, за которой сам наблюдает словно со стороны, пустив своих персонажей выговариваться, раскрывать себя перед теми, кто делит с ним этот спектакль, автор еще не раз даст знать о себе, но сделает это, конечно, почти незаметно, и нам останется лишь догадываться, где мы его пропустили. Либо тешиться мыслью, что все-таки заметили. Так будет, видимо, в ироничном диалоге о бэконе, который в энные времена данное государство отправляло в Англию; и в виртуозном диалоге о крови и молоке; и в рассуждениях государственных мужей на музыкально-патриотические темы, вроде: «Гимн? Гимн, Базиль Модестович, был не Бог весть что. Можно было петь на мотив "О май дарлинг Клементайн" или "Кукарачи". Как "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес"».

Впрочем, подчас нет большой надобности задумываться над тем, кому принадлежит та или иная реплика. Да и столь важно ли это, предположим, в таком случае:

Спички шведские.
Духи французские.
Сыр голландский.
Табачок турецкий.
Болгарский: Джебел.
А-а, то же самое.
Овчарка немецкая.
Право римское.
Всё заграничное.
Н-да, конвой вологодский...

Не случайно в авторском примечании И. Бродский указал: «Реплики не маркированы. Актерам и режиссеру следует самим определить, кто произносит что, исходя из логики происходящего». Что это – своеобразная игра в «демократию»? Или подобный либеральный жест имеет свою смысловую основу? Если учесть, что в принципе у И. Бродского в творчестве вообще не бывает случайностей, тут, пожалуй, прежде всего – подчеркнуто безразличное отношение к многоликому внешне и однотипному по сути собранию фигур, где одна словно дублирует другую либо предстает зеркальным ее отражением. В самом деле, принципиальна ли разница в том, кто произносит такой каламбур: «Понятно, господин Генсек. То есть товарищ Президент. То есть товарищ Генсек. То есть господин Президент». А вот в другом месте, где, казалось бы, все более-менее ясно с распределением ролей, мы опять вдруг улавливаем авторскую интонацию:

Тебе же легче, Петрович, будет: при демократии я имею в виду. Работы меньше. Сначала тех, кто за демократию, выпустишь. Это тебе на несколько лет хватит. Потом тех, которые против, хватать – это ж совсем бей лежачего. Старая гвардия и т.д. – да ты их и знаешь лучше.

Все равно против. Потому что выпущенные во Дворец попрут, и нам – кранты.

Потому-то ты и должен голосовать за. Чего им во Дворец переть, если мы – за. За то, за что и они. Если во Дворце меньшинство большинству подчиняется? Ведь это их голубая мечта и есть. Да не выпускай ты их всех сразу. По одному.

Все равно попрут. Одно слово – демонстрация.
Да, от слова «демон».
Я думала, «монстр».
«Демос», Цецилия, «демос». Народ по-нашему.

Съеден, уже, видимо, рябчик. На столе арбуз. Плод весьма символичный: зеленый («пацифистский») снаружи, красный, как кровь, внутри. По-

явление десерта – свидетельство того, что постепенно (в прямом и переносном смысле) трапеза подходит к концу. Так автор незаметно ведет нас и своих героев в течение времени. Однако, позволив актерам и режиссеру самим разобрать реплики, вроде одежды в раздевалке, он, оказывается, отнюдь не предоставил им полной свободы, дал в определенный момент сингал: вам остается полчаса. Обратим внимание: с того момента, как Базиль Модестович получил указание из Москвы о введении в его государстве демократии, – новость эту решено было объявить через полчаса на пресс-конференции (которая, таким образом, должна стать финальным актом режима). Почему же автор взял именно полчаса, а не, допустим, минут сорок пять? Чуть больше или меньше? Принципиально ли это?

Думаю, да.

«Но это же поворот на 180 градусов», – слышится чей-то голос (речь идет о повороте государственной политики). Минутная стрелка, пробегающая половину циферблата, также описывает 180-градусный угол. Вот в чем суть! Кривая эта, между прочим, отмечается в пьесе не один раз, при этом по соседству с магической цифрой 180 возникает другая – 360. «Да хоть на 360, Петрович», «Так что на 180. Матильда, а ты на все 360 хватила»...

Лучшее объяснение на этот счет находим у самого Бродского, который, говоря о своем ощущении тех перемен, что происходят в России и Восточной Европе, так сформулировал свою мысль: «Представим себе, что там воцарится демократический строй. Но в конце концов демократический строй выразится в той или иной степени социального неравенства. То есть общество никогда, ни при какой погоде счастливым быть не может – слишком много в нем разных индивидуумов. Но дело не только в этом, не только в натуральных ресурсах и т.д. Я думаю, что счастливой экономики не существует, или она для данного общества может носить чрезвычайно ограниченный, изолированный характер. Благополучие может испытать семья, но уже, скажем, не квартал – в квартале всегда возникнут разнообразия. Поэтому я просто боюсь, что в состоянии эйфории те люди, которые предполагали, что производят переворот на 180 градусов, могут довольно скоро обнаружить, что поворота на 180 градусов не существует, потому что мы человечество. В определенном социальном контексте любой поворот на 180 градусов – это в конце концов всегда поворот на 360 градусов».

Не будем, конечно, хронометрировать и геометрически измерять пьесу по тем же меркам, которыми измеряется история. Но тот факт, что «Демократия!», художественная ткань которой соткана из многочисленных нитей, вытаскивать которые из плотного контекста не всегда просто да и не нужно, – является не просто «откликом» И. Бродского на конкретные события в коммунистической империи; но результат его глубоких раздумий, философских обобщений, связанных по существу с характером всякой утопии, – налицо.

Представляя идею «демократии» как одну из форм всеобщего блаженства (хотя бы в сравнении с деспотией), с некоторой долей риска, как мне ка-

жется, можно вывести эту проблему в более абстрагированную или, если угодно, высокую сферу размышлений. Допустим, о Рае и Аде. Но и на этом уровне И. Бродский дает ответ: «Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос, – в связи с чем вводится понятие вечной жизни. То же относится к Аду».

Невеселый итог: 180-градусный поворот стрелки часов Истории совершается на 360. Идея Рая равняется идее Ада. Идея Демократии?..

Возвращаясь к пьесе, пытаясь определить отчетливее ее родословную, мы, таким образом, должны еще раз прислушаться к Нобелевской лекции, многочисленным его выступлениям и интервью. В плане же творческом, видимо, поставить рядом «Представление», а, отправившись в более далекие времена, добраться до «Мрамора», «Горбунова и Горчакова», «Речи о пролитом молоке»... То есть, очевидно, что «Демократия!» – это не случайная работа в его творчестве: «памятник лжи» (тот самый, о котором поэт писал три десятилетия назад) наконец поставлен. Написана антиутопия.

Виталий Амурский

О ВЫСОКОМ ДИАЛОГЕ

«Высокий диалог» – так называется книжка стихов поэта Кирилла Ковальджи. Автор более чем десяти сборников стихов, начавший свое творчество в конце 50-х, Ковальджи – типичный поэт-шестидесятник, поэт «Медного века». Только за иными громкими именами его как-то не заметила критика (в отличие от читателей). В чем же его печать шестидесятничества? Как и в творчестве многих его ровесников, в стихах Ковальджи сильна та полемика, которая сегодняшнему читателю покажется странной, если не знать обстановку конца 40-х – начала 60-х годов, когда с разной степенью интенсивности от поэтов требовали «гражданственности» (читай – «газетности»), а лирика находилась под ударом разной силы – от исключения из комсомола и университета в конце 40-х до критических упреков в «буржуазности и мелкотемье» в начале 60-х. Тем, кто это забыл, пафос многих стихов Кирилла Ковальджи может показаться направленным против призраков...

Кирилл Ковальджи. Высокий диалог. М., «Библиотека "Огонька"», 1988.

А ведь поколению нашему и вправду приходилось нешуточно сражаться, чтобы отстаивать право Человека... нет, тогда – не на демократические свободы, а всего лишь на обычную ЛЮБОВЬ, не заляпанную грязными лапами парткомов, не засвистанную патетикой «персональных дел», которые так много радости доставляли всесветному мещанину, любителю копаться в грязном белье... Лихой лозунг «Кто изменяет жене, тот изменяет Родине» был не в шутку: случалось, подводили под статью и – в ГУЛАГ лет на сколько-то...

Мы молчали. Плескалась волна на причале.
И опять заметалась, и от боли слепа,
О своей бессловесной печали
Одиноко трубила труба.
Что ж ты хочешь от нас? Разве мы виноваты?
Разве мы отказались кому-то помочь?
Разве мы не страдали когда-то?
Разве мы виноваты, что счастье нашли в эту ночь?

Какое время! Счастье, словно украденное у государства, нуждается в оправдании поэта! Какой жалкой покажется эта тема читателям уже через несколько лет! А мы, поэты тех времен, вызовем лишь недоумение! Ну, за что они воюют, спросит тот, кто не знает многого? В чем трагедия? А трагедия была. Разве забыта трагедия Пастернака, травимого (еще задолго до романа) лишь за то, что он лирик, за то, что в силу этого позволил себе написать «Какое, милые, у нас, тысячелетье на дворе?» А ждановское шаманство и судьба Ахматовой? И все это происходило в мире, в котором:

Венценосцы, ваши величества,
это очень хитро.
Зло – ведь просто вопрос количества:
много зла
переходит в добро.
.....
Но сверху срываются изредка,
и на плаху падают в обмороке,
но снизу врываются изверги,
и на троны садятся оборотни.

Мне близка поэзия К. Ковальджи именно этими чертами, которые сегодня вполне справедливо могут показаться устаревшими – вот этими двумя чертами 60-х, нашего «медного века»: отстоять свои права на личность (прежде всего путем отвоевания права на любовь и права писать о ней), а ведь право это равновелико и вообще праву быть поэтом!)

И вторая черта – та самая «фига в кармане», тот самый эзопов язык, проходивший сквозь редакторские (так называлась цензура самая главная, доцензорская) рогатки...

Впрочем, у Ковальджи есть и такие строки (я бы сказал – формулировки, да непоэтично), как в одном из лучших его стихотворений «Потребители»:

Воспевая в гармонию веру,
потребляет нас некая власть,
составляет себя, как химеру,
отдирая от каждого часть.
Погрустишь, коль поставлен на место,
похрустишь – да в прокрустову щель...
Если каждый для каждого – средство,
изгоняется средствами цель.

Вот тут уже поэт посягнул на основы марксизма-ленинизма с позиции человека! Так сказать, «буржуазного, гнилого гуманизма». (Заметим, что все социалистические штампы всегда содержат, кроме существительного, непременное прилагательное в своем составе, оно-то и меняет смысл существительного в ту сторону, в какую «партия прикажет»).

Точность формулировок в стихах Ковальджи не случайна. В этом смысле он противоположен Тютчеву, утверждавшему, что «мысль изреченная есть ложь». Впрочем, и все наше поколение **формулирует** в стихах нередко... И у Ковальджи тоже – изреченная мысль тем правдивее и вернее, чем точнее сформулирована. Этим, возможно, объясняется его тяга к антиподу Тютчева М. Волошину, который явно – один из учителей Кирилла Ковальджи:

В прах превращусь. Но я-то не из праха
Был сотворен. Душа – не из огня.
Мне кажется, что смерть – всего лишь плаха,
Где отсекают тело от меня.

И так же чувствуется: за всеми стихами Ковальджи стоит многовековая культура, его не поймут те, кто ищет «песенок попроще». Он не идет на поводу ни у какого читателя, оставаясь, если перефразировать Пастернака, «собой и только. До конца». И он остается собой. Таким, каким я знал его еще в годы нашего учения в Литинституте...

Василий Бетаки

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Круг общих интересов

Обычно иллюстрированные издания, подобные «Кругу», обзоров не публикуют. Эта продукция считается скоропреходящей, поверхностной, рассчитанной на слишком взыскательного читателя. Как говорят западные журналисты: что было в еженедельнике - через неделю не было.

На первый взгляд, израильский «Круг» мало отличается от своих собратьев: злободневная информация, скадальная хроника, детективы, стихи, проза и, разумеется, иллюстрации - как цветные, так и черно-белые. По Окуджаве: все поровну, все справедливо.

И все же есть в этом журнале что-то такое, чего вы чаще всего не встретите в иных, внешне схожих в ним изданиях: мировоззренческая последовательность, при почти немыслимой в наше время политической и эстетической широте. Подчеркиваю, не всеядности, но широте.

Целенаправленно отстаивая свои позиции, «Круг» отдает практически равную площадь оппонентам, оставляя читателю самому вынести собственное суждение. И от этого, по-моему, выигрывает и журнал, и читатель.

Беру наугад всего один номер - 693.

В номере вы найдете, как я уже сказал выше, авторов диаметрально противоположных взглядов. Даже еженедельный комментарий главного редактора Георга Морделя дается под рубрикой «Точка зрения». Здесь и интервью с директором крупной строительной компании, и полемический материал о южноафриканском политическом деятеле Нельсоне Манделе, и материал, посвященный проблеме военного переворота в СССР, не говоря уже о самой разнообразной информации со всего света, по множеству самых разнообразных проблем современного мира.

Но что меня, как русского читателя, особенно привлекает в «Круге», так это его неизменная привязанность к нашей отечественной литературе. Журнал регулярно печатает как российских классиков, так и современных русских писателей. В рецензируемом номере опубликован один из лучших, на мой взгляд, рассказов в русской литературе вообще: «Адам и Ева» покойного ныне Юрия Казакова. Прямо скажем, надо обладать похвальным литературным вкусом и доброй памятью о покинутой стране, чтобы настойчиво поддерживать в своих читателях привязанность к культуре, из которой они все вышли.

В условиях жесточайшей конкуренции, при крайне ограниченном рынке «Круг» сумел за годы своего существования не только найти собственного и отнюдь, несмотря на характер издания, не бульварного читателя, но и сохранить и приумножить его.

Пожелаем же «Кругу» с каждым годом становиться во всех смыслах все шире и шире.

Л.С.

КОРОТКО О КНИГАХ

Б. Сарнов

Кому улыбался Блок
М., «Библиотека "Огонька"», 1988.

Книга Бенедикта Сарнова «Кому улыбался Блок» имеет подзаголовок «Полемические заметки». Остро полемизировать Б. Сарнов всегда умел. И вот здесь во всех четырех статьях книжки он полемизирует с разными авторами, с критиками, поэтами, а главное – с авторами так называемых «писем читателей». Так называемых, потому что, как говорит нам более чем полувековой опыт чтения газет и журналов, письма эти принято «организовывать». Впрочем, в наши перестроечные дни и организовывать не надо, зав. отделами писем избавлены от лишних хлопот – активность (и как правило, сопутствующая ей агрессивность) иных «читателей» вполне достаточна. Иное дело отбор – какие письма публиковать, а какие – в корзину. Вот тутто и проявляется лицо того или иного журнала...

Как известно, самым активным читателем (не в смысле того, что много читал, а в смысле того, что быстро откликается даже на то, что **не читал**) всегда был галичевский герой Клим Петрович Коломийцев. Уж он-то не преминет всадить «свое рабочее слово» куда надо и куда не надо. Чаще – куда не надо. Именно антикультурный, антиинтеллектуальный пафос иных читателей, критиков, а порой даже и «поэтов» – вот адрес, по которому Бенедикт Сарнов обрушивает свою полемику.

В первой, главной, статье книги «Борьба за право писать плохо», он, напоминая о постановлении от 9 мая 1925 года «О политике ВКП(б) в художественной литературе», показывает, с каким пафосом и ненавистью пролеткультовские критики типа Вардина душили так называемых попутчиков. Кто же эти попутчики? Имена писателей, обратившихся с жалобой на травлю пролеткультовским журналом «На посту» русской литературы Сарнов приводит: «достаточно сказать, что среди них были С. Есенин, А. Толстой, М. Зощенко, О. Мандельштам, М. Волошин, И. Бабель, М. Пришвин, Б. Пильняк, В. Катаев, Н. Тихонов, В. Каверин, В. Иванов, В. Шишков, В. Инбер, М. Шагинян, О. Форш... Имена самых видных "напостовцев" решительно ничего не скажут современному читателю». И далее, рассказывая о травле всей, по сути дела, литературы «воинами пролеткульта», критик приходит к весьма простому выводу: пролеткультовцы, с позиции своей «рабочей правды» отстаивали доносами и погромами свое право писать плохо, возводить в закон свое бескультурье, выряженное в одежды «пролетарской», «классовой» истины.

И вот крыловское «беда, коль пироги начнет печи сапожник», соединяется в моей памяти при чтении этой статьи с простыми и точными слова-

ми Наума Коржавина о том, что суть советской политики в литературе, науке, любой области **знания** или **творчества** состоит в том, чтобы последовательно заменять «тех, кто умеет и знает, теми, кто не умеет и не знает». В этом аспекте пролеткультовцы и отвоевывали свалившееся на них буквально с неба «право писать плохо» и устранять всех конкурентов, пишущих хорошо. Причем вражда их ко всякой культуре истинно геббельсовская («когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за пистолет»). Но беда в том, что пролеткультовцы 20-х годов, так же как и «рабочие писатели» 40-х, хватались за пистолет буквальнее, чем Геббельс! Сколько «космополитов» пошло в лагеря и под расстрел? И когда говорят, что это, мол, была сталинская антисемитская кампания, – не согласен, не точно это: это лишь часть, **одна из сторон** просто обскурантской, **антикультурной**, антиинтеллигентской войны все тех же Климов Петровичей, чудом, как некий Бабаевский, попавших на «вершины» официальной литературы и зубами и доносами отстаивавших свое право писать плохо.

Не зря приводит Б. Сарнов слова «критика» пролеткультовца И. Вардина: «Было бы нелепо от класса, только что вышедшего из подполья, требовать гениальных писателей»; или слова С. Родова (имя это всплывает в памяти благодаря Маяковскому – помните, «Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов – какой одНАРобразнейший пейзаж!»): «Если мы бы решили подходить к литературе только с той точки зрения, насколько то или иное произведение талантливо, нужно было бы собираться не здесь, – говорит он. И далее: – Должен быть классовый подход к той или иной литературе». Вот эта конкуренция тех, кто «не умеет и не знает», с настоящими писателями и стоит в центре всей книжки Б. Сарнова. Сегодня также имеют место попытки отстоять свою кормушку со стороны некоторых писателей. Вот почему и происходят шабаши вроде «российского» 6-го пленума с мракобесием С. Воронина, М. Сазонова, Т. Глушковой и прочих нынешних пролеткультовцев... Вот слова Вардина, которые цитирует критик: «Попутчики опираются на гигантское культурное прошлое, а мы в этом отношении нищие. Какое же может быть равенство условий?» Вот оно! Равенства знающих и не знающих, равенства таланта и бездарности захотели Климы Петровичи!

В статье «Кому улыбался Блок» критик высмеивает письмо «рабочего» читателя, утверждающего, что строка Ахматовой «несоветская»: «Тебе улыбнется **презрительно** Блок». Авторы таких писем, не столь давно еще под страхом политических кар заставляли всех повторять, что, мол, Блок не мог **так** улыбаться! И читатель этот, несущий «свое рабочее слово» в литературную критику, опять-таки ничем ни от пролеткультовца 20-х годов, ни от галичевского героя не отличается. А отсюда вывод – спекуляция на классовости нанесла нашей культуре больше вреда, чем любые войны... И война против рукописей, которые, как известно, не горят, и ранее, и сегодня – это война бездарностей, за журнальную площадь, которую «отбирают» Булгаков, Бабель, Пастернак, Пильняк, Замятин, а также нынешние, жи-

вые, но в свое время загнанные в молчание писатели: В. Аксенов, В. Войнович, Г. Владимов, И. Бродский, В. Максимов, А. Солженицын... Не будем всех перечислять, но если не находится места для, к примеру, Вильяма Козлова, то он и воюет за место. А вот читал ли его когда-нибудь и кто-нибудь – это вопрос другой... Так Сарнов и замечает, что критик В. Бондаренко сознательно смешивает перестройку и приспособленчество, утверждая, что «Платонов или Пастернак не перестраивались», а вот Эренбутг перестраивался. «За всеми суждениями такого рода лежит подспудное желание, чтобы в искусстве нашем и в литературе **ничего не менялось»**, – обобщает Б. Сарнов.

В статье «Да здравствует самовыражение» он хлестко пишет о таких поэтах, как С. Куняев, который с единонеделимской позиции прославляет колонизаторские подвиги ген. Скобелева, к примеру, забывая о том, что Скобелев был героем Шипки. Замечает критик и то, как Куняев пытается (весьма натужно, кстати) чуть ли не сравнить св. Сергия Радонежского со... Сталиным! И приводит цитату о том, каким должен быть «народный вождь»:

Чтоб твой язык и твой размах
Был кровен вожаку,
Чтоб мог осаживать вожак
Тебя на всем скаку.
.....
...И потому вождей держись
И не порочь имен.

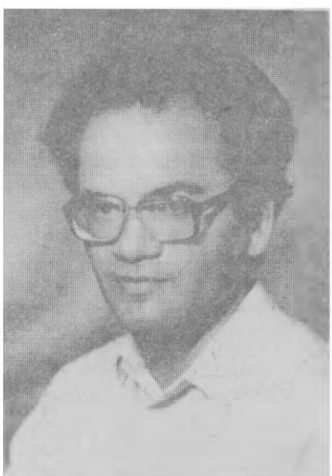
Как справедливо комментирует Б. Сарнов, «преподобный Сергий, как известно, никого на всем скаку не осаживал... И вообще Сергий Радонежский тут совершенно ни при чем».

Именно охранительный пафос заставляет многих критиков, по мнению Сарнова, критиковать Дудинцева, Рыбакова, Шатрова и других писателей, бегущих чуть ли не впереди паровоза... Но дело ведь, добавим, не в том, за перестройку они или против, – дело в том, что они на самом деле – бульварное чтиво, а не литература, и если бы мы взялись их отстаивать от критики, как это делает, к сожалению, Б. Сарнов в полемическом задоре, то мы бы опять подход к литературе **по уровню** подменили подходом по идеям и позициям, против которого Б. Сарнов воюет, и вполне справедливо. Так что отстаивать этих писателей – в любом качестве – дело, по-моему, мертвое. Иной разговор, что на них действительно многие критики, желающие, чтобы ничего не менялось, нападают, но ведь, написав плохо, эти писатели сами себя подставляют под удары как консерваторов, так и перестройщиков в равной мере, только за разное...

В.Б.

«ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ – ВОТ ЧТО НЕОБХОДИМО СЕГОДНЯ МИРУ»

Беседу с Александром Кушнером
ведет журналист Виталий Амурский



– Александр, вам принадлежит такая фраза: «Интонация – душа поэзии». Что именно означает это в вашем творчестве?

– Интонация – самое неподдающееся толковому определению слово в стиховедении, и специально говорить о нем трудно, потому что, знаете, тут можно было бы говорить о таких специфических вещах, как повышение и понижение тона. Интонация для меня, и не только для меня, связана со смыслом стиховой речи. Это – тень, которую отбрасывает стихотворение, и по этой тени мы можем судить о стихотворении, как можем судить о предмете, о дереве... Без интонации, без этого мелодического образа стихи немыслимы, и я думаю, что этот особый звуковой образ стиха возникает еще до его написания. С него всё начинается. Если этого нет, стихи оказываются мертворожденными, вымышленными, не пропущенными через то, что мы называем в просторечии душой.

– Иосиф Бродский, который является вашим большим другом и который любит вас как поэта, сказал однажды, что стихи к нему приходят из шума. Судя по вашим словам, ваши поэтические образы имеют схожий источник...

– Да, пожалуй. Только я не шумом бы это назвал, а скорее чем-то напоминающим, может быть, музыкальную фразу. Но именно музыкальную фразу в исполнении голоса. Это – озвученный шум.

– Мандельштам формулировал: «шум времени». Кстати, мне несколько раз приходилось слышать такие слова: «Кушнер – современный Мандельштам». Я понимаю, что это вызывает у вас улыбку. Однако хотелось бы узнать, как вы относитесь к такому определению?

– Ну, я бы возражал против такой формулы! Не по чину. Знаете, Мандельштам – великий поэт XX века, гений, и всякие сопоставления такого рода кажутся мне невозможными. Нет, нет!.. Вообще надо прожить свою жизнь, надо сделать то, что ты можешь сделать, а результаты подводить при жизни художника не следует, по-видимому. Вообще лучше держаться подальше от таких сопоставлений. Но, разумеется, Мандельштам мне очень много дал. Я думаю, что вообще ни один современный поэт не может обойтись без того, что сделал Мандельштам в русской поэзии. Без этого опыта дальнейшее существование в поэзии невозможно. Но для меня чрезвычайно важен и Анненский с его психологизмом, и – разумеется – Кузмин, Ахматова, не говоря уже о Тютчеве...

– И Баратынский, видимо, тоже?

– И Баратынский! Но прежде всего я хочу сказать о Тютчеве. Иногда мне кажется, что Тютчев – наш современник.

– В чем же, на ваш взгляд, особая актуальность Тютчева?

– Наверное, в том, что он, как никто другой, ощущал катастрофичность жизни: «О, как убийственно мы любим...», или «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Он видел эти оползни, обрывы, кризисы на всех уровнях жизни. И, между прочим, то же самое – в письмах. Вообще я думаю, что письма Тютчева – это великая проза. Мотив катастрофичности, необратимости, дистанциональной странности жизни – главная тема этих писем: идет ли речь о разлуке с любимым человеком, или о внезапной гибели в сражении Андрея Карамзина во время Крымской войны, или о франко-прусской войне... Известно, что его друзья опасались за его разум во время революций 1848 года в Европе – им казалось, он сходит с ума. Такова была втянутость в политику этого философического поэта.

Вообще только люди, не понимающие, что такое темперамент, какую роль он играет в поэтическом творчестве, представ-

ляют себе поэта существом, оторванным от реальности истории. Тютчев актуален. Это он в одном из писем писал, что великие кризисы и кары наступают, как правило, не тогда, когда беззаконие доведено до предела, а когда на царстве во всеоружии силы бесстыдства. Он говорил, что взрыв разражается по большей части при первой попытке возврата к добру. Мне особо дороги его слова о том, что когда-то Людовики Шестнадцатые расплачиваются за Людовиков Пятнадцатых и Четырнадцатых. Почему мне это дорого, почему для меня это важно? Да потому, что мы сегодня присутствуем примерно при том же процессе в нашей стране.

– То есть, если я правильно вас понял, вы считаете, что те изменения, которые сейчас происходят в стране, в какой-то мере являются возвратом к добру и в то же время привели к взрыву, точнее, к взрывоопасной обстановке?

– Именно так. Вот то самое нетерпение, которое всегда путало карты и возвращало Россию к исходному, тяжелому состоянию, наблюдается и сегодня. На мой взгляд, нам необходим эволюционный долгий процесс привыкания к демократии, созидательная, тактическая работа по осуществлению демократических преобразований. Между тем, очень многие в стране сейчас настроены слишком рьяно и горячо, желают ускорить процесс, отказываясь при этом от поддержки Горбачеву. Вместо него выдвигают каких-то других деятелей, на мой взгляд, достаточно сомнительных, – это нетерпение и нетерпимость могут привести к очень тяжелым последствиям. Я боюсь, что на Горбачева взваливают вину за Людовиков Четырнадцатых и Пятнадцатых...

– То, что вы говорите, кажется мне весьма интересным уже хотя бы по той причине, что вы смотрите на события, на людей в широкой исторической перспективе. Если же мы все-таки немного сузим такой диапазон и вернемся к вашему личному опыту, опыту человека вообще и поэта, я позволю себе задать такой вопрос: ощущаете ли вы некую связь между хрущевской эпохой, эпохой начала десталинизации страны, и эпохой нынешней? Ведь именно на 60-е годы выпал момент вашего выхода в литературу... Есть что сравнивать...

– Связь, конечно, есть между той эпохой и нынешней. Но есть и глубокое различие. В те послесталинские годы Россия, сознание большинства были не готовы к подлинным преобразованиям. Падение Хрущева поэтому оказалось не случайным. Он был обречен. Он и сам был готов перейти к новой реакции – «зак-

ручиванию гаек», культу личности. Власть обычно выражает настроение в обществе, отражает состояние общества. Как ни печально в этом признаться и с этим согласиться, но стране требовалось 10–15 лет такого периода, который мы сейчас называем «застоем». Поле отдыхало. Россия приходила в себя. Медленно, тяжко накапливала новое сознание. Отсутствие массовых репрессий, разложение властью, упадок экономики – все это способствовало созреванию нового мышления. Перестройка началась не в 1985 году, как об этом говорят, а значительно раньше. И началась она в сознании людей. Достаточно вспомнить те анекдоты, которые ходили в брежневскую эпоху, – страха уже не было. Смех заменил страх. И если сегодня мы сталкиваемся с диким авантюрным сопротивлением, косностью, инерцией, то можно себе представить, какими бы они были в середине 60-х годов!

Что касается моей поэтической работы, то в те 60-е, 70-е годы доминантой была неосознанная, инстинктивная скорее всего, забота о превращении внутренней свободы. Я писал то, что мне хотелось, утверждая лирическое сознание наперекор сознанию эпическому, которого требовали от нас не только власть, но, кстати сказать, общественное мнение. Требования власти по отношению ко мне выражались в объявлении моей поэзии «камерной», «негражданственной». Уже первая моя книга, вышедшая в 1962 году, вызвала грубую проработку в прессе. Ленинградская газета «Смена» маленькой книжке начинающего поэта посвятила две разгромные статьи. Соответствующая статья появилась и в журнале «Крокодил» под рубрикой «Таланты и поклонники».

Всю жизнь меня держали на десятых ролях, помещали в самый конец списка, ни одной книги до сих пор у меня не издано в Москве. Можно вспомнить, как в 1976 году первый секретарь Ленинградского обкома Романов на общем собрании творческих союзов города прочел мое стихотворение «Аполлон в снегу» и заявил: «Если ему здесь не нравится, пусть уезжает!» Стихи мои были названы антипатриотическими, антисоветскими. На том же собрании, помню, Романов топтал еще Алексея Германа и Сергея Юрского. То есть для проработки были выбраны поэт, кинематографист и актер. Так сказать, от каждого творческого союза. Возможно, это было связано с бегством на Запад Корчного. Сейчас не берусь утверждать точно, надо бы уточнить. Но я тогда во всяком случае ощутил в этой истории привкус антисе-

митизма. Юрский переехал в Москву, а Герман и я остались в Ленинграде.

Ну, можно вспомнить, что под занавес «застоя», в 1985 году, появилась проработочная статья обо мне в «Правде». Статья была зубодробительная, но времена уже были не те. В тот день мне звонили знакомые и незнакомые люди, человек пятьдесят. Публикация в центральной газете вызвала возмущение и сопротивление. Начиналась перестройка. Все, о чем я сейчас рассказываю, по правде говоря, мне не нравится. Не потому, что потеснения были унизительны, а потому что я не люблю жалобы и делаю это, кажется, в первый раз в жизни. У прозаика Валерия Попова, моего друга, одна из книг называется «Жизнь удалась». Так вот, моя жизнь, я считаю, удалась. Я прожил свою жизнь, а не чужую. В моей жизни были любовь, книги, друзья, стихи, русская природа, трагический опыт, да мало ли что!.. Самое главное – мне посчастливилось реализовать свои способности. Именно в этом я склонен видеть не только Божий промысел, но и свою заслугу.

На пути реализации своего дара человека подстерегают соблазны: ложные шаги, требования государства, «передовая» общественность, советы друзей, навязывающих нам собственное поведение как единственное достойное и возможное. Как мне понятен Сезанн, говоривший, что никому не даст себя закрючить! В то же время, поверьте, в этих моих словах нет самодовольства. Более того, горький осадок чувства вины не отпускает меня. Я не решился на прямой поступок, не стал на путь борьбы с ложью и насилием, не вышел на площадь, не ударил кулаком по столу. Единственное, что меня успокаивает и в какой-то степени оправдывает, – это сознание того, что мне удалось все, что я думал и чувствовал, сказать в стихах. Не только в неопубликованных, пролежавших в столе 10–20 лет, но и в опубликованных. «Цензура – дура, читатель – молодец», – так я бы сказал, перефразировав полководца. Чуткая цензура сбивалась со следа, теряла нюх. Ей, делающей стойку на голое публицистическое слово, поэзия все-таки оказалась не по силам, не по зубам.

Здесь я еще хотел бы заметить, что не только власть, но «передовая» общественность давит на поэта, нередко смыкаясь с властью в требованиях гражданственности, идейности, прямого слова. Она получила то, что хотела в лице своих громогласных певцов, и если в конце концов разочаровалась в них, то сама виновата. Поэзия гражданственна в каждом своем слове в том

смысле, что отвечает за каждое слово. В этом смысле стихи того же Тютчева о роковом любовном поединке больше говорят о смысле жизни, ее трагической подоплёке – ближе к истине, истории, даже политике, чем политические стихи, написанные им. Все вещи, явления этого мира связаны. Корневая система, ветвящаяся на глубине, – общая для них всех. И поэтическая интонация (то, о чем был ваш первый вопрос) говорит нам больше, чем прямое называние предметов. Больше и точнее. Иногда едва ли не вопреки намерениям пишущего. Так «Сестра моя жизнь» Пастернака – памятник несбывшимся надеждам русской интеллигенции летом 1917 года. Хотя в этих стихах речь идёт всего лишь о грозах и дождях.

– Из того, что вы сейчас сказали, мне хотелось бы выделить несколько моментов. Например, ваше сравнение цензуры с собакой, которой все-таки не удалось справиться с поэзией. Поэзия, как вы заметили, оказалась ей не по зубам. Как мы помним, упомянутый уже Мандельштам писал о своем веке как о волкодаве. Век этот – наш век – подходит к концу. Как бы вы определили его нынешнюю сущность?

– Сегодня это век-волк, но с выпавшими зубами. Он при последнем издыхании. Я считаю, что моему поколению повезло. Разве можно сравнить то, что выпало на нашу долю, с тем, что выпало на долю людей, живших в 20-е, 30-е годы. Я не представляю себе поэзии, существующей вне века, но я хочу сказать, что все-таки поэзия не принадлежит современникам. Она смотрит дальше, в будущее. Так она устроена. Я бы сказал, в стихах существует настоящее время глагола, но вечно-настоящее. «Выхожу один я на дорогу...» То есть когда? А – всегда. И в прошлом веке, и сегодня. Это сделано на века. Мы попадаем поэту в объятья в это вечное мгновение. Поэзия вообще работает с настоящим временем глагола: «Белеет парус одинокий...» А то и пропускает этот глагол: «Кавказ подо мною...» В стихах мы даже опускаем это настоящее время, настолько оно кажется нам длинным, настолько мгновенны эти ощущения!

– К каким-то специфическим вопросам, связанным с вашим творчеством, с вашим философским и художественным ощущением мира, я, если позволите, вернусь чуть погодя. А сейчас мне опять хотелось бы спросить вас вот о чем: вспомнив о давнем выступлении Романова на собрании творческих союзов Ленинграда, вы заметили, что почувствовали в этой истории привкус антисемитизма. Романов, скажем так, – уже прошлое. Однако

проблемы антисемитизма и в вашем городе, и в стране все-таки остаются. Я не буду сейчас рассуждать о том, много или мало антисемитов. Это особая тема. Было бы интересно узнать, как вы сейчас воспринимаете его? Ощущаете ли вы такие самые грязные волны в русском национализме, которые сейчас исходят от «Памяти» и вообще от разных подонков?

– Думаю, что антисемитизм – не самая худшая сфера национализма, что здесь просто нет худших сфер, что он отвратителен и страшен весь – национализм. Он губителен для России, русского сознания, русской культуры. Говорить на эту тему долго не приходится. Невозможно стать на четвереньки и лаять. Да, я сталкивался с антисемитизмом с детства. Мне, с младенчества слышавшему только русскую речь, воспитанному на русских стихах не только матерью и отцом, но двумя деревенскими псковскими няньками, или, как говорили в те годы, – домработницами, Зиной и потом сменившей ее Марусей, – впервые пришлось услышать, что я еврей, в эвакуации, в Сызрани, из уст дуры-воспитательницы, проводившей среди пятилетних детей беседу об интернационализме. «Вот Петя, – говорила она. – Он русский. Вот Павлик – он украинец. Вот Алик, – она показала на меня. – Он – еврей». – «Он не еврей, он ленинградец!» – закричали дети. С тех пор эта ситуация разыгрывалась не раз, например, при поступлении в Ленинградский университет в 1954 году, когда меня не приняли с золотой медалью. Но я умудрялся от эпизода к эпизоду забывать о том, что я еврей. Не потому, что не хочу или стесняюсь быть евреем, а потому что ощущаю себя человеком русской культуры по рождению, воспитанию, образованию. Евреем я становлюсь, сталкиваясь с пошлыми и подлыми носителями национализма. Думаю, что сегодня, родись я в русской семье, все равно бы чувствовал себя евреем по велению совести, внушающей нам быть с униженными и оскорбленными. Русофобия – скверная выдумка негодяев*. Это они стесняются России,

---

* К сожалению, это убеждение бытует среди некоторой части нашей интеллигенции. Общеизвестно, к примеру, что существуют франкофобия, англофобия, германофобия, американофобия (в особенности в Третьем мире) и т.д., и т.д. Национальные фобии, увы, сопутствуют человечеству на протяжении всей его истории. Если русофобии не существует, то к какому

не доверяют своему народу, сомневаются в его и собственных способностях и переносят свой душевный изъян на ни в чем не повинных людей. Мне, пишущему русские стихи, невозможно себе представить крах России, это была бы моя личная драма. Вся моя жизнь – в русском языке. Я больше, чем все антисемиты вместе взятые, заинтересован в вечной жизни русской речи. Это они подрывают ее, пачкая мысль, оскверняя чувства...

– *Читающему ваши стихи, как мне представляется, нет нужды задумываться об их глубочайших русских истоках. Но русская поэзия всегда питалась не только отечественными, но и мировыми богатствами. Богатствами самых различных культур. Как мне кажется, ваши стихи в этом отношении несут на себе отпечаток импрессионизма. Не только музыкального, который по своей сути, может быть, близок поэзии (ведь поэзия – не только слово, но и голос), а импрессионизма живописного. В частности французского.*

– Безусловно. Это великая живопись. Пожалуй, из всей мировой живописи я больше всего люблю именно этот период, этот ее богато-сказочный период, ну и постимпрессионизм, разумеется, тоже. Кстати, я мог бы еще сказать (может быть, это к Европе не относится, но во всяком случае в Америке) русскую живопись знают недостаточно. Не имеют представления о Машкове, Фальке, Альтмане, Лентулове, Куприне, Рождественском, Фонвизине и прочих замечательных художниках XX века. Может быть, несколько больше знают о Шагале, Кандинском, Ларионове, Гончаровой... Я думаю, что русская живопись совершенно прекрасна, и как вообще живопись (и Рембрандта нужно вспомнить, не правда ли, и Вермеера!..), она связана с поэзией. Во всяком случае, как мне представляется, с моей. Признаться, я не

(опубликованные!) одной молдавской поэтессы, мечтающей о том времени, когда кишиневский асфальт обагрится наконец русской кровью, и другой, призывающей в латвийском либеральном журнале «уничтожить Россию» и клеймящей русский народ народом дураков и шизофреников. А как оценит поэт постулат иных украинских националистов: «Нехай живе коммунизм, абы згубились москали!», приведенный Александром Солженицыным в его работе «Как нам обустроить Россию?» Хотелось бы надеяться, что вышеуказанное утверждение – лишь досадная оговорка в его мировоззренческих высказываниях.

знаю, что для меня важнее: проза или живопись? Какое искусство больше дает? Или музыка?.. Затрудняюсь сказать, но без живописи я бы жить не мог.

– Когда я заговорил о живописи, то именно о французском импрессионизме. Мне почему-то вспомнился Моне... Вообще, когда читаешь ваши стихи, часто перед глазами встают холсты именно этого мастера. Однако после сказанного вами у меня возникает ощущение, что я в чем-то ошибся. Может быть, ваша нынешняя поэзия старается расстаться с импрессионистическим началом, условно говоря, взять какой-то другой ориентир?

– Нет, я действительно несколько увлекся, когда стал перечислять русских художников, потому что, разумеется, их люблю. Вот и все. Но импрессионизм, повторяю, мне особенно дорог, может быть, потому, что его установки как-то более профессиональны с точки зрения живописи. Я не скажу – это безыдейная живопись. Но это живопись, которая умеет доверять взгляду, чувству. И не только зрению. Я бы сказал: осязанию. Я думаю, что мы в XX веке слишком много натерпелись от идеологии. На жизнь не следует накладывать схему, она умнее нас, многообразнее, талантливей, и всегда предложит свой выход, который окажется куда более разумным в конечном счете, хотя нам кажется, что мы-то, конечно, умнее... Так вот, у импрессионистов было это доверие к ней. И если я имею право сказать что-то о том, что делаю более или менее серьезно, то мне кажется, мои стихи доверяют жизни. Я не провожу границы между искусством и природой. В конце концов это одно и то же.

– Вам, очевидно, поэтому так дорога тема «меняющейся поверхности», которую вы пытались неоднократно осмыслить и в своих стихах, и в своих литературно-критических размышлениях? Но существует такое суждение, что при всех внешних эффектах импрессионистам не хватало глубины духа...

– Нет, я думаю, этого было достаточно и у импрессионистов. Дело, может быть, в специфике искусства. Поэзия – это не живопись. Живопись действительно имеет больше дела с прелестной поверхностью жизни. Художник может прибегнуть к трагическому сюжету, но тем не менее он обязательно выпишет вам крест или стражника так, что вы увидите, как много времени на это потрачено и как много любви в это заложено. Как много любви нужно просто для того, чтобы написать предмет: дерево, даже кусок дерева, доску!.. Вот художник Фонвизин, очень хо-

роший акварелист, в самые тяжелые для себя годы, когда он лишился работы, был в загоне, тем не менее просил какую-то даму прийти к нему позировать и просил при этом ее не забыть голубую накидку. Ах, понимаете ли, она ему была нужна! Поэзия, говорил Баратынский, более обделена, более трагична по своей природе. Она связана все-таки с человеческой душой, с трагедией мира – непосредственно с ней имеет дело.

Хотя я отметил разницу между поэзией и живописью, тем не менее хотел бы сказать, что поэзия XX века (впрочем, к Пушкину это тоже относится и к Фету – безусловно) чрезвычайно внимательна к вещному миру. Нам рассказывают о каморке с красным померанцем, о том, как женщина входит в комнату со стулом, – в стихи попадает огромное количество предметов, а в результате мы понимаем: это стихи о нежной, преданной, горячей, но не забывающей увидеть мир любви. Это стихи, написанные не голыми словами, а как-то иначе.

– Я говорил уже о впечатлении, которое подчас возникает при чтении ваших стихов, – впечатлении визуальном. Оно, конечно, связано и с ощущением особого отношения к вещам, то есть тем, о чем вы только что сказали, подчеркнув их одухотворенность. Продолжая разговор о вашей поэзии, я также заметил бы, что подчас ловишь себя на мысли: не идете ли вы по следам акмеистов, пытаясь реализовать их идеи на более совершенном уровне, что ли?

– Вы знаете, слово «совершенный» нужно зачеркнуть, потому что в поэзии нет прогресса. Все, что сделано, то сделано. Здесь могут быть только какие-то твои достижения, тебе что-то дающие. Что касается акмеизма в целом, то все-таки это какое-то странное слово – «акмеизм». Случайное, мне кажется. Вообще – разные поэты оказались «накрыты» этим словом. Если разобраться, не так много общего между Гумилевым и Ахматовой, а тем более между Гумилевым и Мандельштамом. Были огромные движения, такие, как символизм, которые захватывали всю жизнь. Акмеизм – это нечто относящееся только к поэзии. Уже странно, не правда ли? Но как какой-то рабочий термин, как рабочее определение это слово может функционировать. И в каком-то смысле – да, я себя в самом деле чувствую человеком, пишущим стихи, близкие к тому направлению, к той точке отсчета, к тому взгляду на мир. Да, пусть в небесах холодно и неуютно. Да, я люблю, как сказал бы Мандельштам, домашнюю ут-

варь. Я не люблю утвари на самом деле! – не в этом дело, но я понимаю, как важен для нас обычный человеческий уют, нормальная жизнь, которая оказалась продута такими страшными ветрами века, что мы наконец-то научились ценить горячий чай, чистое постельное белье, руку, протянутую нам, спичку серную, которая, по словам того же Мандельштама, меня б согреть могла. Грех сбрасывать скатерть со стола. Мне хочется постелить на стол эту скатерть, поставить на нее чашку с чаем. Я думаю, что человечность – вот что так необходимо сегодня миру. И поэзия не может не знать об этом.

– Круг поэтов, имена которых возникли в нашем разговоре, довольно велик. Идя в русле их отдельных открытий, завоеваний, опираясь на имеющийся опыт (даже если все это носит относительный характер), вы все же, думается, не равнозначно оцениваете при этом наследие Баратынского, Фета, Анненского, Мандельштама и т.д.

– Очень трудно ответить на этот вопрос. О каждом из них можно говорить долго, бесконечно. Может быть, следует сказать, допустим, так: мне дорог стих Анненского, его поэтическая интонация, этот надтреснутый голос человека, не уверенного в том, что он знает истину. Голос человека, достаточно замученного жизнью и ее обстоятельствами, – тем не менее знающего, что может быть музыка в этом мире и есть, как он сказал, возможность или намек на счастье. Хотя в своих статьях о Чехове Анненский писал в основном о Достоевском, он, тем не менее, на мой взгляд, чрезвычайно близок Чехову. Своим сознанием. И мне дорога эта линия в русской поэзии, никого не учившая, не поучавшая. Мне дорог человек, живущий рядовой жизнью, независимо от того, каких он способностей и какого дарования. Таким был Мандельштам. Да, он предвидел свою смерть гурьбою и гуртом вместе со всеми, и, несмотря на свою гениальность, прожил жизнь среднего человека эпохи Москвошвея – и умер вместе с нею...

– Привязанность к классике, к классикам у вас очевидна. Значит ли это, что авангард оставляет вас безразличным?

– Если имеются в виду Пушкин, Баратынский, Тютчев, Фет (то, что мы сейчас называем классикой), то я должен сказать, что в их время это именовалось как-то иначе. Вообще, все определения – романтизм, реализм и т.д. – на мой взгляд, почти не

имеют смысла, когда мы говорим о стихах. Когда о прозе – другое дело. Там эти понятия работают. Но поэзию они не покрывают. Они очень условные. И еще мне кажется, что повторения этой русской классики в XX веке быть не может. Может быть лишь опора на нее. Но при этом совершенно невозможно обойтись без опыта поэзии нынешнего века. И здесь я ближе всего к акмеистам. Но поэзия не топчется на месте – опора на традицию обязательно предполагает создание новой поэтики. Надеюсь, здесь мне кое-что удалось сделать.

Что касается авангарда, то это понятие у нас сейчас, на мой взгляд, утеряло всякий смысл. Что это за авангард, растянутый на весь век?! Надо нам найти какое-то новое слово, если существует новизна в самом явлении. Мне же представляется, что настоящий авангард – это Мандельштам, а вовсе не Крученых. Настоящий авангард – это просто подлинная поэзия. Вообще было бы лучше нам не пользоваться всеми этими скользкими определениями, имея в виду, что поэтические школы, как говорил Пастернак, – это пристанище для бездарностей. Имею в виду, что каждый настоящий поэт – явление неповторимое, уникальное, существующее на свой страх и риск.

– Человек большой гармонии, как вы ощутили свою первую встречу с Францией?

– Я всю жизнь мечтал увидеть Францию. До пятидесяти лет у меня не было возможности выехать из своей страны, увидеть мир. Лишь теперь я получил ее. Я побывал в один год в США, в Италии, в Испании, и затем – приехал сюда. Я не верю тому, что происходит. Мне кажется, что это сон. Звучит это банально, тем не менее, это правда. Я всю жизнь, можно сказать, готовился к этой поездке, потому что французская литература нас воспитала так же, как русская. Для меня Монтень, Паскаль, Ларошфуко и Шамфор – это любимые авторы, прочитанные в молодости, и без них не знаю, каким бы я был человеком. И мемуарист Сен-Симон для меня так же дорог, как Ключевский. Но есть еще один автор, без которого я не представляю своей жизни. Я бы сказал, что это не просто любимый мой прозаик. Может быть, это любимый мой поэт – это Марсель Пруст.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

С 14 по 17 октября 1990 года по инициативе Хельсинкского комитета Италии, Независимого университета «Вашингтон-Париж-Москва», «Комсомольской правды», итальянского журнала «Рабочий мир» и «Континента» в Риме состоялась конференция «От гражданской войны к гражданскому миру в СССР», в которой приняли участие деятели культуры Востока и Запада, в частности: Ч. Айтматов, В. Астафьев, Е. Аверин, Г. Бакланов, В. Буковский, В. Быков, И. Виноградов, Н. Горбаневская, А. Дементьев, С. Залыгин, И. Золотусский, В. Крупин, Д. Лихачев, Э. Лозанский, В. Максимов, Л. Плющ, В. Солоухин, А. Стреляный, Ю. Эдлис, А. Блок, В. Страда, К. Страда, П. Унгари, М. Шемякин, М. Хальтер и другие.

Ниже мы публикуем первые документы конференции.

УЧАСТНИКАМ РИМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сегодня на древней земле Италии, давшей жизнь многим достижениям мировой цивилизации, в Риме, где по давней традиции вдохновенно работали выдающиеся мастера российской культуры, начинается, на мой взгляд, знаменательная встреча.

Здесь собрались писатели, общественные деятели – как ныне живущие в СССР, так и выходцы из нашей страны, в самых дальних пределах не забывающие родную землю, боли ее и радости. Собрались те, чье проникновенное, тревожное слово находит отклик в сердцах миллионов соотечественников по разные стороны границ.

В вашем решении встретиться чувствуется искреннее желание собрать, соединить наш многострадальный народ, содействовать гражданскому и национальному примирению в стране, которое необходимо всегда и вдвойне – именно в этот, нынешний, трудный, переломный период перехода к новым, более достойным человека, формам жизни.

Известно, что не только гражданская война, но и гражданский мир зарождается сначала в умах. В том числе – и в творческом воображении художника, которое может дать людям как импульс зла, так и импульс добра. И хочется верить, что ваша встреча, преодолев все предубеждения и препятствия, станет определенным нравственным ориентиром для многих и многих людей, наших соотечественников, поможет делу соединения всех здоровых, здравых сил народа, делу добра и согласия.

Желаю вам плодотворной работы.

М. Горбачев
президент СССР

УЧАСТНИКАМ РИМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗ СССР И РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Уважаемые соотечественники!

Позвольте мне от лица парламента приветствовать вас, деятелей российской словесности, собравшихся на эту встречу.

В России ваш голос и слышнее, и нужнее, чем где-либо на нашей земле. Так было раньше. Так есть и сейчас. Сопричастность к человеческой боли и страданиям людским, обостренная совестливость, нравственные искания были свойственны отечественной литературе на всех этапах ее существования. Нет нужды говорить вам, как нелегка доля российских литераторов. Но они всегда достойно несли свой крест служения русской культуре.

Мы убеждены, что стране сегодня нужны не только экономические и политические реформы. Возрождение России - это прежде всего духовный процесс, в ходе которого будет восстановлена нарушенная связь времен. Я понимаю, насколько сложен этот процесс, как велики препятствия на пути к успеху.

Но я верю, что любовь к России, которая нас объединяет, придаст нам силы для того, чтобы одолеть этот путь.

Уверен, что ваша встреча будет способствовать возрождению русской национальной культуры и откроет новые возможности в сотрудничестве творческой интеллигенции СССР и русского зарубежья.

Б. Ельцин

Чрезвычайно сожалею о своей неспособности принять участие в работе конференции в Риме. Я хотел бы тем не менее сказать следующее.

Распад империи, как учит история, редко бывает бескровным. История также учит нас, что политические события оттесняют литературу на задний план, оставляя ей роль в лучшем случае свидетельницы, а в худшем - плакальщицы.

Мне думается, однако, что на сегодняшний день, когда в распоряжении литературы оказались весьма эффективные средства коммуникаций и массовой информации, существует определенная возможность вывести литературу из подчиненного истории положения, что следует попытаться навязать истории взгляды на жизнь и общественную организацию, присущие литературе.

В частности я имею в виду свойственную литературе мысль об уникальности всякой человеческой жизни, о бессмысленности любого идеала или принципа, требующего для своего осуществления кровопролития.

Мне представляется, что следует использовать любую существующую возможность донести до сознания подданных распадающейся ныне империи идею о том, что зрелость общества, как и зрелость отдельного индивидуума, определяется не исторической, но этической необходимостью, провозг-

лашаемой не с политической трибуны, но со страниц романа или в ритме стихотворения; что оружие и насилие объединяют людей гораздо менее надежным образом и на менее короткий отрезок времени, нежели книга и слово.

Иосиф Бродский
25.9.90
Нью-Йорк

Узнав от Владимира Максимова об идее римской встречи, я сразу же дал согласие на участие в ней. Сегодня, когда социальная, политическая и национальная напряженность в России способствует возникновению в людях далеко не лучших качеств, призыв к взаимопониманию, компромиссу, диалогу между народами распадающейся империи может, при максимальных условиях со стороны деятелей культуры, предотвратить многие и многие грозящие нам теперь испытания и беды. Мы, разумеется, уже не в состоянии остановить наш развод, он, по моему глубокому убеждению, отныне неотвратим, но сделать его, этот развод, менее болезненным и кровавым мы в состоянии. Надо только попытаться объединить усилия тех, кто формирует в стране общественное мнение и пользуется духовным влиянием на ее многомиллионную аудиторию. Я убежден, что слово, наполненное духом добра и справедливости, способно изменять мир.

Я сделаю все от себя зависящее, чтобы хотя бы на несколько часов оказаться среди вас, но если обстоятельства окажутся сильнее меня, заранее желаю вашей поистине исторической встрече самого большого успеха.

Ваш

Мстислав Ростропович
Париж, 9.10.90

Я хотел бы быть сегодня среди вас, чтобы вместе с вами подумать над тем, что мы все – люди, причастные к культуре, – можем сделать для выхода из того трагического положения, в котором оказалась наша страна.

Но, к великому моему сожалению, срочная работа, кстати сказать, тоже имеющая прямое отношение к одной из мучительных проблем России, не позволяет мне вырваться к вам в Рим.

В жизни людей, как и общества в целом, бывают моменты, когда нужно искать то, что объединяет, ибо в нашей стране так много разъединяющего, что проиграть могут все.

С надеждой на вашу мудрость и присущее вам, людям культуры, чувство ответственности перед историей.

Ваш

Эрнст Неизвестный

Только болезнь помешала мне присутствовать на вашей встрече в Риме. Приветствую вас и желаю вам большого успеха.

По-моему, сейчас во всей Восточной Европе, и в первую очередь в Советском Союзе и Югославии, важно избежать гражданской войны, ибо эта гражданская война, если бы она случилась, была бы самой ужасной войной, потому что превратилась бы в религиозно-националистическую.

Я, тем не менее, считаю, что силы в обеих этих странах достаточно мощные, несмотря на свою неорганизованность, и могут сделать такую гражданскую войну невозможной и найти демократический выход из создавшейся ситуации.

Милован Джилас
13.10.90

Поступили также приветственные телеграммы от президента Италии Франческо Коссиги, министра иностранных дел Италии Джанни де Микелиса, мэра Рима Франко Карраро, президента ПЕН-Клуба Георгия Конрада.

РИМСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Мы, писатели и общественные деятели, живущие в СССР и на Западе, собрались в Риме на конференцию «Национальные вопросы в СССР: обновление или гражданская война?» в тот момент, когда заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества и на ее территории возникают новые государственные образования. Мы по-разному объясняем и оцениваем этот процесс, но он уже необратим. Речь сегодня может идти не о предотвращении или консервации происходящего, а только о правовом, демократическом и человеческом решении возникающих в его ходе национальных, социальных, территориальных, политических и прочих конфликтов.

Мы считаем, что основой решения национального вопроса в СССР, как во всем мире, является реальное право на самоопределение путем референдума или решения свободно избранного парламента. Независимо от того, будет ли осуществляться это право в виде отделения республик или сохранения какими-то из них тех или иных форм государственного единства, в любом случае оно предполагает культурную автономию и гражданские права всех национальных меньшинств.

С другой стороны, современное общественное развитие создает потребность и условия экономической интеграции разных стран на основе равноправия, суверенности и уважения взаимных интересов, как показывает пример Европейского сообщества. Мы считаем желательным, чтобы госу-

дарства, которые возникнут в результате этого процесса, добровольно налаживали экономическое сотрудничество.

Все это, на наш взгляд, неосуществимо без полной и окончательной ликвидации тоталитарной системы и без высвобождения возможностей национально-исторического творчества народов теперешнего СССР. Все это также неосуществимо без отказа от имперского, тоталитарного мышления как в целом в стране, так и в республиках, от любого применения насилия – как физического, так и духовного. В том числе – без отказа от разжигания национальной вражды, межрелигиозной нетерпимости, антисемитизма, русофобии, ненависти к «инородцам» и шовинизма любого толка.

И здесь мы видим особую роль интеллигенции, освобождающейся от власти всяческих утопий и обязанной взять на себя ответственность за развитие подлинного диалога народов и национальных культур, ибо любая национальная культура принадлежит всему человечеству и может сдержать нарастание агрессивного национализма. Противостоять моральному нигилизму, который охватил современное общество, и восстановить подлинную иерархию духовных ценностей трудно без возрождения исторического и религиозного сознания и критического мышления, и в этом задача любой национальной интеллигенции.

У нас остается единственная возможность: честный, настоящий диалог. Диалог внутри страны и со всем миром. Диалог на всех уровнях – национальном, политическом, культурном, религиозном. Мы, интеллигенция, должны найти в себе достаточно дальновидности и гражданской решимости продолжать и расширять такой диалог, переводя его в плоскость практических дел.

Евгений Аверин, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Александр Афанасьев, Григорий Бакланов, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Василь Быков, Игорь Виноградов, Наталья Горбаневская, Андрей Дементьев, Сергей Залыгин, Игорь Золотусский, Владимир Крупин, Эдуард Кузнецов, Дмитрий Лихачев, Эдуард Лозанский, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Леонид Плющ, Мстислав Ростропович, Владимир Солоухин, Анатолий Стреляный, Владислав Фронин, Михаил Шемякин, Юлиу Эдлис

К Обращению присоединились:

Милован Джилас, Александр Блок, Серджо Рапетти, Марек Хальтер, Витторио Страда, Клара Страда, Антонио Станго, Феликс Медведев

Список открыт для присоединения

Во время Римской встречи принят ряд конкретных проектов и предложений, в частности учреждение Европейского университета (состоящего из различных национальных колледжей); организация международных ярмарок предпринимателей; создание совместных предприятий по производству детского питания, одежды, медикаментов.

Исполнение проектов возлагается на созданный в ходе встречи организационный комитет.

Все, кто хотел бы присоединиться, могут обращаться в газету «Комсомольская правда» (ул. Правды, д.24, 6-й этаж), журнал «Континент» (16, rue Lauriston, 75116 Paris, France) и Независимый университет (Independent University, 3001 Veazey Terrace, NW, Washington, D.C.20008 USA).

По предложению мэра Ленинграда Анатолия Собчака следующая конференция по проблеме гражданского мира состоится в этом городе в середине сентября следующего года.

В результате состоявшейся конференции создан Комитет национального примирения в составе:

сопредседатели – Василь Быков, Владимир Максимов

вице-председатели – Евгений Аверин, Леонид Плющ

координаторы – Александр Афанасьев, Эдуард Лозанский

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ (1935–1990)

Рушится советская империя. Сатанинская власть отступает, но порожденные ею злоба и ненависть продолжают растлевать души. Жестокость и насилие поражают своей обыденностью, а человеческая жизнь дешевеет с каждым днем. Говорят, что в Москве можно сейчас нанять убийцу за пятьсот рублей (25 долларов по курсу черного рынка), говорят, что самый процветающий в Союзе бизнес – изготовление стальных дверей и решеток на окна, говорят, что цены на оружие неудержимо растут, потому что, видя импотентность властей, граждане предпочитают полагаться на самооборону. Но с каждым днем усиливается озверение, с каждым днем страна все глубже погружается в море невинной крови.

И вот на днях к сонму мучеников прибавился еще один. Трудно и больно, когда умирает друг. Еще труднее и больнее, когда он гибнет от топора убийцы. Я не знаю обстоятельств этого злодеяния, но что обстоятельства – погиб человек, сделавший для Христа больше, чем все советские архиереи, вместе взятые. Безумные правители заставили нашу страну сказать в сердце своем: «Нет Бога», а расплачиваются, как всегда, праведники. Анатолий Марченко, Андрей Дмитриевич Сахаров, отец Александр Мень. Кто следующий?

Человек фантастической образованности, невероятного трудолюбия, человек, полный христианского самопожертвования и любви, священник, теолог, историк, писатель, проповедник, гуманист, отец Александр в первую очередь был миссионером, и его подвиг можно сравнить с подвигом Альберта Швейцера или Дитриха Бонхоффера. По его книгам приходили к Богу и принимали Христа мы, люди, вырванные из христианской традиции, задавленные образованщиной, люди, которых пичкали гнусными виршами Демьяна Бедного и паскудными книжонками всяких Крывелёвых и Ярославских, люди, в головы которых вбивали убожество «единственно научной марксистско-ленинской философии» и так

называемого «научного» атеизма. Я очень хорошо помню годы своей учебы в медицинском институте – можно было не знать хирургии и терапии, прогуливать анатомию и химию, но упаси Бог было навлечь на себя гнев какой-нибудь кафедры истории КПСС. Если ты не умеешь лечить и не способен этому научиться – простят, а вот за идеологическую неблагонадежность вышибут из института в один момент.

Вся система идеологического давления в безбожной стране нацелена на то, чтобы «произошедшего из обезьяны» человека низвести до уровня бессловесной скотины, и прислужники сатаны достигли на этом поприще немалых успехов. Большевики, общество «Память», психиатры, гноящие здоровых людей в сумасшедших домах, начальники, думающие лишь о собственной утробе и живущие по законам воровского толковища, людишки, свистевшие и топавшие на Сахарова, чудовищное хамство, беспросветное воровство и беспробудное пьянство – все это явления одного порядка – силы тьмы и зла имеют достаточно добровольных помощников и слуг.

Отец Александр издал на Западе десять книг. Его таскали на Лубянку, какой-то подонок из процветающих поныне (не помню фамилии, да и разве в фамилии дело – имя им легион) писал статейки, изображавшие отца Александра жуликом, наймитом ЦРУ, агентом мирового сионизма, подпевалой отщепенцев Солженицына и Сахарова. От него требовали назвать имена, имена, имена, чтобы искоренить заразу, выжечь ее каленым железом чекистских щитов и мечей. Кое-кто каялся, кое-кто в страхе замолкал, а кое-кто начинал сыпать телефонами и адресами. Отец Александр молчал. Молчал, когда ему намекали, что, мол, всяко бывает, можно и под машину попасть, да и семья у вас, как бы чего не вышло с семьей-то; молчал, когда ему показывали фотографии безумцев, осмелившихся ходить в его церковь, и говорили: «Ну, они уже все рассказали, так что от вас нужно только подписать вот эту формальную бумажку, что они вас подбивали на нехорошие дела»; молчал и, ожидая обыска, спрятав рукописи, продолжал работать. Написанное им уже стало классикой, а он говорил: «Ну что вы, какой я богослов, я всего лишь миссионер».

Каким-то чудом его не успели засадить в лагерь или в сумасшедший дом. Генсеки стали чередой проваливаться в преисподнюю, и отец Александр как-то выпал из поля зрения родных органов. А потом, когда власть поняла, что воевать с Богом она все-таки не в силах, и верующих более или менее оставили в покое, имя отца Александра стало появляться в советской печати уже не в качестве наймита ЦРУ, а как пример одного из тех, кто пронес через серпасто-молоткастую эпоху знамя Иисуса Христа. Отца Александра стали приглашать на радио и телевидение, перед ним распахнулись двери самых престижных клубов и дворцов культуры, его просили выступать в больницах и школах, библиотеках и институтах, и он ни разу никому не отказал. Его хватало на всё. Он работал по двадцать часов в сутки, писал, выступал, занимался благотворительностью, организовывал воскресные школы и христианские кружки, катехизировал, крестил, причащал, помогал бедным (будучи сам, даже по советским меркам, человеком более чем скромного достатка), а в общем, если выразить все, что он делал, одним словом, – нес Свет Христов, и тьма расступалась перед ним.

В приходе отца Александра можно было встретить цвет московской интеллигенции. Я уверен, что сейчас появится много воспоминаний, написанных знаменитыми писателями, художниками, учеными, почитавшими за честь быть в числе друзей отца Александра, и не считаю себя вправе предварять их, скажу лишь, что слова другого Александра – Александра Галича – «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо», – это слова о маленькой подмосковной церковке и ее священнике, отце Александре Мене, приведшем Галича ко Христу.

О, как много могли бы рассказать об отце Александре Надежда Яковлевна Мандельштам и Варлам Тихонович Шаламов, отец Сергий Желудков и профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов.

С одинаковым уважением к нему относились католики и православные, протестанты и иудеи. Любому, кто не слеп душой, было видно, с каким необыкновенным человеком он имеет дело.

Как психиатр, я могу засвидетельствовать, что отец Александр обладал удивительным психотерапевтическим да-

ром. Люди, страдающие душевным недугом, успокаивались и смягчались в его присутствии, он мог помочь там, где все усилия атеистической медицины оказывались тщетными. Но, в отличие от лжепророков и лжецелителей, которые как саранча набросились на наш несчастный народ, отец Александр всегда говорил, что сам он не может ничего: «Это не я им помогаю, это – милость Христа».

Как-то я спросил его, не хочет ли он уехать на Запад. Он ответил: «А зачем? Если Бог не отвернулся от нас, мы сможем жить и здесь, а если отвернулся – куда же ехать?»

Бог не отвернулся от него. Просто на Руси хороший человек не живет долго, и Господь рано призывает к Себе тех, кого Он любит.

Вадим Молодый

член правления Библейского общества Советского Союза

Международный
неправительственный фонд
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ

MILITIBUS
MEMORIA
AETERNA

International
Non-Governmental Fund
ETERNAL MEMORY TO SOLDIERS

СССР, Москва, Северный, И-204, 1-я линия, дом 1, Тел. 409-97-43, Телекс 412165 COMP SU, Факс 4099650, Телетайп 417142 СЕКТОР
1 Pervaya Liniya, Severny U-204 Moscow, 127204, USSR, Tel. 409-97-43, Telex 412165 COMP SU, Fax 4099650, Teletyp 417142, SECTOR

12 декабря 1989г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

12 декабря 1989 года в Москве создан Международный неправительственный благотворительный фонд "Вечная память солдатам", целью которого является оказание помощи всем страждущим солдатам второй мировой войны, сооружение памятных мемориалов всем погибшим на территории СССР и других стран солдатам, увековечивание их имен, преодоление идеологических и политических последствий второй мировой войны.

Попечителями Фонда стали пятнадцать народных депутатов СССР, среди которых был безвременно ушедший от нас лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Дав согласие возглавить Фонд, Андрей Дмитриевич сказал: "Это святое дело может примирить многие страны и многих людей".

Слова великого гражданина мира стали программой Фонда. В совет его попечителей вошли митрополит Русской Православной церкви и муфтий мусульман Средней Азии, служители Католической и Лютеранской церквей, маршал и рядовой солдат второй мировой войны.

Мы будем оказывать помощь всем пострадавшим во второй мировой войне, собирать информацию о местах захоронений всех солдат, сооружать им достойные мемориалы, обеспечивать их сохранность, уход и беспрепятственное посещение гражданами всех стран.

Мы будем вести культурно-просветительную деятельность, содействующую примирению всех народов, издавать на многих языках мира собственный журнал, высвечивая из тьмы тайные пружины интриг и корыстных расчетов, которые содействовали возникновению самой страшной в истории человечества войны.

Мы будем делать все, чтобы войны навсегда оставили нашу многострадальную планету.

Мы учредили международную премию имени академика Сахарова, которая будет ежегодно присуждаться общественным и государственным деятелям, вносящим большой вклад в дело примирения народов.

Пожертвователями Фонда могут стать все Правительства, государственные, религиозные и любые другие организации, общества и объединения, а также отдельные лица.

Вся деятельность Фонда является открытой и будет проходить под контролем национальных Наблюдательных Советов, состоящих из видных представителей духовенства, науки и культуры.

Попечители Фонда:

Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Юрий Афанасьев, Анатолий Ф.Безуглов, Евгений Велихов, Галина Вишневская, Алексей Елисеев, Марк Захаров, Александр Зварцев, Гавриил Илизаров, Кирилл Лавров, муфтий мусульман Средней Азии Мухаммад-Содик Мухаммад-Юсуф, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, Борис Патон, Мстислав Ростропович, Александр Силантьев, Владимир Тихонов, Владимир Цветов, Владимир Чаенков, Николай Шмелев.

К

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
в фонд Ассоциации друзей «Континента»

Э. Лозанский (США).....2.000 ам. долл.
В. Амурский (Франция) .....300 фр. фр. – гонорар за рецензию в №64 «Континента».
Аноним (США) .....20.000 ам. долл.

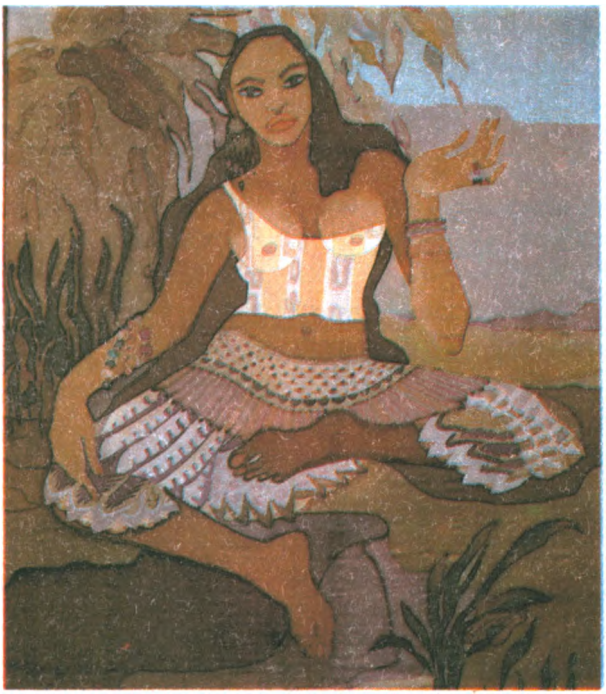
Редакция сердечно благодарит жертвователей.

Подписано в печать 28.11.90. Формат 70x100/32.
Бумага офсетная N 2. Печать офсетная. П.л. 12.
Уся. п.л. 15,6. Тираж 100000 экз. Цена 6 руб. 95 коп.

Кино-издательский консорциум "АВЕРС". 111024, Москва, 1-я ул.Энтузиастов, д.12а.

Тираж отпечатан и изготовлен Московской типографией N 4 Госкомпечати СССР. 129041, Москва, Б.Переяславская ул., д.46.

Зак. 721



Е. Грушина. Часть триптиха «Воспоминания о Гогене». Шелк, ручная роспись. 105 х 66 см

6 руб. 95 коп. ISSN 0934-6317 Prix 60 F